This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4120.6.10

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

БЕЛЛЕТРИСТЫ-НАРОДНИКИ

Ѳ. РѢШЕТНИКОВЪ, А. ЛЕВИТОВЪ, ГЛ. УСПЕНСКІЙ Н. ЗЛАТОВРАТСКІЙ И ПР.

КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

А. Скабичевскаго.

Цѣна 1 р. 50 к.

Того-же автора: «Графъ Л. Толстой, какъ художникъ и мыслитель». Цѣна 1 р

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія В. С. Балашева, Екатерининск. кан., № 78.
1888.

Slav 4120.6.10

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
APR 1 1953

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

I. Живая струя (вопросъ о народности въ литературѣ) 1

II. Чего нужно добиваться реальному поэту (о Рѣшетниковѣ) . . 45

III. Герои вѣчныхъ ожиданій (по поводу «Разоренія» Гл. Успенскаго). 77

IV. Александръ Ивановичъ Левитовъ 125

V. Двѣ замѣтки по поводу наблюденій Гл. Успенскаго деревенской жизни 219

VI. Глѣбъ Успенскій, какъ разрушитель иллюзій 241

VII. Новый человѣкъ деревни 287

ЖИВАЯ СТРУЯ.

(Вопросъ о народности въ литературѣ).

I.

Когда старая система идей смѣняется новою, послѣдняя не сразу обыкновенно подводитъ подъ свои начала всѣ современныя явленія жизни. Люди накидываются прежде всего, конечно, на такіе вопросы, которые стоятъ на первомъ планѣ и болѣе всего привлекаютъ вниманіе. Второстепенные-же вопросы остаются безъ вниманія, и относительно ихъ продолжаютъ придерживаться по привычкѣ старыхъ взглядовъ. Каждому, кто пережилъ сильную умственную ломку въ своей головѣ, навѣрное приходилось находить такіе пробѣлы и противорѣчія въ своемъ мышленіи, побѣдить которыя можно было не иначе, какъ перерѣшивши вопросъ на тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ другіе вопросы давно уже были рѣшены. Такіе же случаи встрѣчаются на каждомъ шагу и въ исторіи человѣчества. Подобный случай произошелъ и у насъ въ послѣднее дѣсятилѣтіе съ вопросомъ о народности въ литературѣ.

Вопросъ этотъ естественно возникъ вслѣдствіе того, что наше образованное общество отдѣлилось отъ народной массы и создало свои особенные нравы и обычаи, свой особенный языкъ подъ вліяніемъ западной цивилизаціи. Но слѣдуетъ замѣтить, что до Гоголя и Бѣлинскаго вопросъ о народности въ литературѣ не игралъ большой роли и не шелъ далѣе очистки языка отъ иностранныхъ вліяній, выбора сюжетами

произведеній крупныхъ явленій русской жизни и русской исторіи, да рѣдкихъ рабскихъ подражаній народнымъ пѣснямъ и сказкамъ.

Въ 40-е годы вопросъ о народности въ первый разъ былъ поставленъ на философскую почву. Въ это время въ оппозицію западникамъ возникла партія славянофиловъ, которая на своемъ знамени крупными литерами написала: народность. Замѣчателенъ тотъ фактъ, что обѣ партіи, на основаніи одной и той же философской системы Гегеля, рѣшили вопросъ о народности діаметрально противоположно: славянофилы оперлись въ своемъ ученіи на то положеніе гегелевской философіи, что каждая историческая народность есть носительница своей идеи, которую она вкладываетъ въ сокровищницу развитія человѣчества; изъ этого они прямо вывели, что увлеченіе идеями и формами чуждыхъ народностей не только безполезно, но и положительно вредно, что оно отвлекаетъ народъ отъ развитія той идеи, которую онъ обязанъ внести въ исторію человѣчества; поэтому, рѣшили славянофилы, мы должны всячески удаляться отъ усвоенія западной образованности, проникаться нашими собственными народными началами, которыя мы готовимся внести въ исторію. Западники въ рѣшеніи вопроса о народности оперлись на то положеніе гегелизма, что народность есть не что иное, какъ индивидуализація общаго, форма, въ которую вкладывается общая идея человѣчества. Форма эта вырабатывается исторіею, природою; она дается намъ помимо нашего сознанія и какихъ-либо стремленій, такъ же какъ и личная наша физіономія; поэтому мы нетолько не имѣемъ надобности стремиться къ народности, напротивъ того, намъ трудно отрѣшиться отъ нея, еслибы мы и хотѣли; примѣромъ этого можетъ служить французская литература XVIII вѣка, которая при всей своей подражательности образцамъ классической литературы, все-таки оставалась народною въ томъ смыслѣ, что выводимые ею на сцену герои болѣе были похожи на французовъ версальской атмосферы, чѣмъ на героевъ древности. Стремиться къ народности, говорили западники, это значитъ стремиться къ формѣ, не заботясь о содержаніи ея; напротивъ того, главное наше стремленіе должно заключаться въ томъ, чтобы вливать въ эту форму общечеловѣческое содержаніе; въ концѣ же концовъ, отрѣшаясь все болѣе и бо-

лѣе отъ временныхъ и узкихъ формъ народностей, человѣчество должно стремиться къ тому, чтобы слиться въ одну общечеловѣческую форму, которая бы носила въ себѣ общечеловѣческое содержаніе.

Въ силу этихъ идей, при оцѣнкѣ тѣхъ или другихъ литературныхъ произведеній, славянофилы имѣли главною задачею рѣшать, на сколько произведеніе проникнуто началами, сродными русскому духу; западники же рѣшили разъ навсегда, что каждое произведеніе, написанное русскимъ, такъ или иначе, непремѣнно народно, непремѣнно выражаетъ ту или другую сторону характера русской народности; главная же забота заключается въ томъ, чтобы опредѣлить, какія общечеловѣческія начала заключаетъ въ себѣ оно.

Философія Гегеля потеряла свое господство надъ русскими умами, въ концѣ 50-хъ годовъ. Она смѣнилась новыми системами, господствующими въ настоящее время подъ именемъ *реализма*. Подводя разные вопросы жизни подъ свои начала, реализмъ прежде всего позаботился перерѣшить вопросъ о цѣли и значеніи литературы въ жизни общества. Это было дѣломъ первой важности въ нашей жизни, обусловливаясь тѣмъ значеніемъ, которое имѣетъ въ нашей жизни литература. Но занявшись подведеніемъ подъ новыя условія вопроса о значеніи литературы вообще, мы сдѣлали огромный пробѣлъ, оставивши совершенно въ сторонѣ частный вопросъ о народности въ литературѣ. Вопросъ этотъ, какъ мы увидимъ ниже, рѣшается самъ собою въ практической сферѣ; въ теоретической же онъ до сихъ поръ почиваетъ на старыхъ гегеліанскихъ началахъ. Ужь не говоря о славянофилахъ, наши самые ревностные послѣдователи реализма не замѣчаютъ; что, реалисты во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, они продолжаютъ оставаться истыми гегеліанцами по вопросу о народности. Когда они начнутъ толковать вамъ о томъ, что литература должна быть реальна, что, не ограничиваясь однимъ созерцаніемъ прекраснаго, она должна служить жизни, отвѣчая на всѣ ея животрепещущіе вопросы, попробуйте замѣтить при этомъ, что не мѣшаетъ также, чтобы она была и народною, я убѣжденъ, что при этомъ вы встрѣтите снисходительную улыбку и услышите совершенно тѣ же самыя слова и выраженія, которыя говорили о народности западники 40-хъ годовъ, опираясь въ своихъ до-

водахъ на гегелевской философіи, доказывавшей, что народность есть не что иное, какъ индивидуализація общаго.

Между тѣмъ, какъ, если вопросъ о народности въ литературѣ мы попробуемъ пересадить на почву реализма и утилитаризма, если мы рѣшимъ его на основаніи тѣхъ новыхъ идей, которыя получили господство у насъ въ послѣдніе годы, мы увидимъ, что это нетолько не излишній вопросъ, напротивъ того, первой важности, вопросъ о судьбѣ всей литературы; имъ обусловливаются какъ истинная реальность, такъ и полезность литературы.

Реализмъ, не строя никакихъ отвлеченныхъ системъ, не гадая о сущности явленій, изучаетъ ихъ, какъ они представляются нашимъ чувствамъ, восходя отъ частнаго къ общему, отъ случайныхъ и отдѣльныхъ, къ общимъ условіямъ, называемымъ міровыми законами. Съ этой точки зрѣнія народность представляется не индивидуализаціею общаго, какъ полагалъ гегелизмъ, а напротивъ того, обобщеніемъ индивидуальнаго. Поселите отдѣльныя, разрозненныя племена подъ общія условія жизни, и они сольются въ одну нераздѣльную народность, какъ слились бриты, англо-саксы и норманы въ англичанъ, а поляне, древляне, сѣверяне и проч.—въ русскихъ, а съ другой стороны—поставьте отдѣльныя части общей народности въ различныя условія жизни, и народность ваша разсыпется на отдѣльныя народности, и послѣднія будутъ группироваться опять-таки по тѣмъ общимъ условіямъ жизни, подъ которыми будетъ жить каждая. Еслибы для каждаго человѣка условія жизни были совершенно отличныя, не имѣющія ничего общаго съ условіями жизни другихъ людей, въ такомъ случаѣ, на земномъ шарѣ не было бы народностей, а была бы одна безконечная индивидуализація. Но кромѣ тѣхъ особенныхъ условій для каждаго человѣка, которыя создаютъ его личную индивидуальность, люди живутъ подъ общими условіями, результатомъ которыхъ и является народность. По отношенію къ расѣ народность является, пожалуй, въ свою очередь индивидуальностью, но по отношенію къ отдѣльнымъ людямъ, она есть общность. Индивидуальная особенность, народность, раса — это три такія условія жизни, безъ которыхъ невозможно изучать человѣка, какъ невозможно изучать растенія и животныхъ, не опредѣляя рода и вида, къ которому они принадлежатъ.

Истинно реальная литература, имѣя дѣло съ изученіемъ жизни людей, конечно, только тогда и будетъ истинно реальной, когда она станетъ изучать жизнь не въ ея отвлеченныхъ сущностяхъ, а въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ она проявляется. Поэзія, построенная на абстрактныхъ началахъ, совершенно пренебрегала этими условіями; она говорила: мнѣ все равно, русскаго, француза или нѣмца вывожу я на сцену; барина или крестьянина, разница между ними только формальная, сущность же человѣческая у всѣхъ у нихъ одна и та же; вотъ эту-то сущность я и имѣю въ виду. Реальный же поэтъ говоритъ: сущности человѣческой я не знаю, а я вижу человѣка не иначе, какъ подъ вліяніемъ разныхъ условій жизни, и я изучаю, какъ представляется человѣкъ подъ вліяніемъ этихъ условій. Поэтъ живетъ не иначе, какъ въ средѣ того или другаго общества, именуемаго народомъ. Онъ изучаетъ индивидуальныя особенности каждаго человѣка не для того, чтобы поглотиться въ массѣ индивидуализма, но чтобы это индивидуальное подвести подъ общее; первыми обобщеніями реальнаго поэта являются, такъ называемые на языкѣ эстетики, образы, типы, сюжеты, болѣе или менѣе общіе; но развѣ можетъ истинно-реальный поэтъ остановиться на чемъ-нибудь? Развѣ есть конецъ тому процессу, который называется реальнымъ изученіемъ? Восходя все выше и выше въ своемъ изученіи, реальный поэтъ поневолѣ придетъ къ той общности, которая называется народностью. Изучить свой народъ во всѣхъ условіяхъ его жизни, во всѣхъ формахъ ея и проявленіяхъ, проникнуться всѣми его общими интересами, его радостями и страданіями — вотъ истинная задача реальнаго поэта. Но достигнуть всего этого, вѣдь это значитъ сдѣлаться поэтомъ народнымъ, въ самомъ широкомъ, истинномъ значеніи этого слова. Такимъ образомъ, понятія о реализмѣ въ поэзіи и о народности совершенно совпадаютъ; разница между ними только та, что реализмъ въ литературѣ есть извѣстный путь, цѣль котораго — народность.

Далѣе, если мы поставимъ вопросъ о народности въ литературѣ на почву утилитаризма, онъ получитъ въ нашихъ глазахъ еще бо̀льшее значеніе. Литература должна быть полезна—для кого? Очевидно, не для двухъ, не для тысячи человѣкъ, а для всего края, для всего народа, на языкѣ

котораго она существуетъ. Литература мечтаетъ о завидной цѣли быть воспитательницею общества, народа, развивать неразвитыхъ, образовывать необразованныхъ, подымать такіе вопросы жизни, которые долго не пошевелились бы еще въ мозгахъ большинства нашихъ соотечественниковъ безъ ея содѣйствія.

При этомъ я прошу читателя обратить вниманіе на завидную роль, которую можетъ и должна играть изящная литература въ этомъ дѣлѣ. Если мы прослѣдимъ наше собственное развитіе, мы увидимъ, что чѣмъ на низшей степени развитія стоитъ человѣкъ, тѣмъ бо̀льшее значеніе въ развитіи его имѣетъ художественная литература. Въ жизни каждаго человѣка былъ такой періодъ, въ который чтеніе его состояло исключительно изъ произведеній художественной литературы; только на извѣстной, значительной уже степени развитія мы начинаемъ мало-по-малу приступать къ чтенію книгъ серьезнаго, научнаго содержанія. Большинство людей даже такъ называемаго образованнаго слоя общества ничего не разрѣзываетъ въ журналахъ, кромѣ романовъ, повѣстей, комедій и стихотвореній. Что́ же сказать о литературѣ, которая, мечтая развивать неразвитыхъ, представляетъ въ своихъ произведеніяхъ такіе образы, и на такомъ языкѣ, что только нѣкоторые избранники, стоящіе на очень высокой степени развитія, могутъ пользоваться ею.

Въ этомъ отношеніи литература, развивая людей развитыхъ, образуя людей образованныхъ, очень похожа на педагогическое заведеніе, которое дѣйствовало бы такимъ образомъ: учителя вмѣсто того, чтобы давать уроки ученикамъ, ограничивались бы тѣмъ, что собирались на педагогическіе совѣты, сообщали другъ другу, что они читаютъ, о чемъ думаютъ, давали бы другъ другу полезные совѣты, читали другъ передъ другомъ блестящія пробныя лекціи; такіе учителя могли бы быть очень полезны другъ для друга; но смѣшны были бы они, еслибы при этомъ воображали, что они въ то же время полезны и для массы учениковъ, пребывающихъ безъ книгъ, безъ уроковъ, въ неподвижномъ невѣжествѣ подъ присмотромъ грозныхъ гувернеровъ, строго-наблюдающихъ за порядкомъ и благочиніемъ въ классахъ. Такое зрѣлище представляетъ литература наша, которая въ послѣднее время постоянно твердила и твердитъ, что глав-

ная ея цѣль—служеніе народу. Подобное положеніе представляется еще неестественнѣе и нелѣпѣе, если подумать, что народъ прямымъ или косвеннымъ путемъ оплачиваетъ существованіе этой литературы, и въ замѣнъ тѣхъ капиталовъ страны, которые затрачиваются ежегодно на произведеніе и изданіе разныхъ эстетическихъ произведеній россійской литературы, получаются книжки, которыя служатъ предметомъ празднаго развлеченія для немногихъ избранныхъ людей. Мнѣ могутъ сдѣлать здѣсь такое возраженіе, что капиталы тратятся не даромъ въ томъ смыслѣ, что раньше или позже народъ когда нибудь да разовьется до пониманія нашихъ изящныхъ произведеній, и тогда воспользуется тѣми продуктами, на произведеніе которыхъ тратятся теперь капиталы. Но, вопервыхъ, ручаетесь ли вы, что для народа будутъ годны всѣ тѣ изящныя произведенія, которыя выходятъ въ настоящее время? Оглянемся назадъ и посмотримъ, сколько различныхъ литературныхъ школъ пало безвозвратно, смѣнившись новыми школами? Что такое паденіе школы, какъ не сознаніе ея заблужденія и не выходъ изъ этого заблужденія на свѣтъ? Неужели народъ долженъ будетъ воспринимать одни за другими всѣ наши старые грѣхи и промахи? Станетъ ли народъ читать, а если и станетъ, найдетъ ли что-нибудь поучительное въ разныхъ произведеніяхъ нашей литературы ложно-классическихъ, романтическихъ, идеалистическихъ и проч.? Что же такое всѣ эти произведенія, какъ не капиталы, безслѣдно похороненные въ архивной пыли библіотекъ? А вовторыхъ, если-бы даже всѣ прошлыя произведенія нашей литературы были поучительны для народа, то какъ же разовьете вы его до пониманія ихъ, если не заговорите съ нимъ языкомъ, вполнѣ понятнымъ и доступнымъ для него, если не снизойдете къ нему? Конечно, подобное снишествіе къ народу должно заключаться не въ видѣ уступокъ разнымъ его вѣковымъ предразсудкамъ, какъ это думаютъ поклонники народности стоглавой Москвы; передавайте народу всѣ ваши глубокія и высокія идеи, заимствованныя съ Запада, но облекайте ихъ въ такой языкъ и въ такіе образы, чтобы онѣ были для всѣхъ равно доступны и понятны. Важное преимущество самобытной народной поэзіи заключалось именно въ томъ, что, не стоя народу ни гроша, она была сокровищемъ, изъ котораго каждый могъ черпать

сколько ему угодно, и только тогда литература будетъ истинно полезна для всего края, для всего народа, когда она снова сдѣлается народною въ этомъ смыслѣ слова.

Но выставленіе подобныхъ требованій отъ литературы, какъ бы оно ни было законно и справедливо, всегда будетъ казаться воздушною мечтою, праздною, неосуществимою утопіею, въ виду современнаго состоянія литературы нашей, если не будетъ указанъ путь, идя по которому, литература могла бы выйти изъ настоящаго своего состоянія и сдѣлаться вполнѣ народною. Вѣдь не могутъ же литераторы наши съ сегодняшняго же дня дать себѣ слово писать такъ, чтобы каждый мужикъ понималъ ихъ отъ строки до строки и интересовался ихъ произведеніями. Въ противномъ случаѣ, они должны будутъ, садясь писать, поступать такъ, какъ поступаютъ разные составители народныхъ книжекъ, то-есть напишутъ фразу и давай думать: «понятна или нѣтъ должна быть эта фраза для простолюдина?» Дикая неестественность такого способа поддѣлыванья подъ народность ярко выставляется въ каждой строкѣ многихъ книжекъ, написанныхъ для народа, особенно въ изданіяхъ Погосскаго; не менѣе смѣшна такая народность въ рѣчахъ разныхъ провинціальныхъ либераловъ, которыя произносились нѣкогда на земскихъ обѣдахъ, дававшихся въ честь сліянія сословій. Очевидно, что не такою народностью должна подарить насъ литература. Истинно-народное произведеніе просто, естественно и непроизвольно выливается изъ-подъ пера писателя; народный писатель пишетъ свои произведенія такъ же, какъ и ненародный, то-есть нисколько не заботясь о томъ, чтобы произведеніе его вышло непремѣнно народно: онъ не имѣетъ ничего инаго въ виду, какъ выразить свою мысль, чувство— и произведеніе его выходитъ народно безъ его вѣдома и желанія. Сдѣлаться народнымъ писателемъ—значитъ, выработать свой языкъ, свои поэтическіе образы, мысли и чувства такимъ образомъ, чтобы писать народною рѣчью о предметахъ, интересующихъ всѣхъ и каждаго, безъ всякихъ усилій и заботъ о популярности. Этого нельзя достигнуть никакимъ скачкомъ, никакою искусственною поддѣлкою. Это достижимо только естественнымъ путемъ. Настоящая статья могла бы, дѣйствительно, показаться праздною фантазіею, еслибы ограничилась выставленіемъ требованія, не опредѣ-

ливши того естественнаго пути, идя по которому, литература можетъ удовлетворить этому требованію. Указаніе этого естественнаго пути и составляетъ главную цѣль моей статьи. И это тѣмъ удобнѣе возможно будетъ сдѣлать безъ всякихъ гадательныхъ и произвольныхъ приглашеній съ нашей стороны писателей идти направо или налѣво, что въ самой литературѣ начались уже инстинктивно, безъ всякихъ теоретическихъ указаній, попытки идти по этому пути. Попытки эти, въ рядѣ разныхъ заблужденій, опошлившихъ и изгадившихъ истинное стремленіе къ народности въ литературѣ, представляютъ отрадную, живую струю, которой готовится великая будущность. Вырвавшись въ 40-хъ годахъ на свѣтъ, струя эта не перестаетъ течь все шире и шире, все глубже и глубже, принимая въ себя разные притоки и готовясь обратиться въ широкую, многоводную рѣку. Дѣло наше будетъ состоять только въ томъ, чтобы опредѣлить направленіе этой струи въ настоящее время, и это направленіе само собою, безъ нашихъ усилій, укажетъ нашимъ писателямъ тотъ путь, который прямо и неуклонно можетъ повести ихъ къ народности.

II.

Славянофилы, сѣтуя на раздвоенность нашего общества, на отсутствіе всякой связи между искусственною поэзіею нашею и народною, причину такого явленія видятъ исключительно во вліяніи на насъ западной образованности и рабской подражательности съ нашей стороны формамъ ея. Въ сущности же существуетъ причина болѣе дѣйствительная и общая, вліяющая на всякое раздвоеніе народа — будетъ ли оно сопровождаться вліяніемъ чуждой цивилизаціи, или совершится домашнимъ образомъ. Мы просимъ при этомъ припомнить, что мы сказали въ первой главѣ объ образованіи народностей: каждый разъ, когда группа людей становится въ какія нибудь особенныя условія жизни, необходимымъ слѣдствіемъ этого является образованіе народности, владѣющей особеннымъ языкомъ и создающей свою особенную литературу. Этимъ обусловливается какъ появленіе нарѣчій, говоровъ, разновидностей одного народа, такъ и то раздвоеніе, какое совершается между массою и образованнымъ классомъ.

Если образованіе разлито равномѣрно по всему народу, и если народъ, во всей своей массѣ, увлечется подражаніемъ какой нибудь чуждой образованности, въ такомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи о ненародности такого движенія: народное движеніе и есть именно такое, въ которомъ участвуютъ массы народа. Если же, напротивъ того, изъ среды народа выдѣлится группа людей, поставитъ себя совершенно въ иныя условія жизни, чѣмъ тѣ, въ которыхъ живетъ большинство населенія края, замкнется въ этихъ условіяхъ и изолируется отъ всего прочаго міра, въ такомъ случаѣ, еслибы не было никакихъ чуждыхъ вліяній, группа эта всетаки создастъ свои особенные нравы, обычаи, языкъ и литературу. Если затѣмъ на сторонѣ этой группы будутъ матеріальныя богатства и умственный досугъ — однимъ словомъ, все, что способствуетъ быстрому развитію образованности, то естественно, что она далеко опередитъ въ своей образованности прочіе классы народонаселенія и создастъ культуру, въ которой ничего не будетъ общаго съ культурою массъ, оставленныхъ ею назади. Если до Петра Великаго наши привилегированные классы представляются вполнѣ сходными въ своей культурѣ съ народными массами, то это потому, что они не успѣли еще создать своей собственной культуры, въ то время какъ рядомъ существовала высокая цивилизація, вліянію которой они и подчинились. Но тотъ уже фактъ, что привилегированные классы подчинились вліянію западной цивилизаціи, а масса не подчинилась, показываетъ, что эти классы представляли уже нѣкоторую особенность сравнительно съ массами, большую умственную гибкость и воспріимчивость. Классы эти стояли во время Петра на томъ пути, что не будь вліянія западной образованности, они раньше или позже по своему положенію создали бы свою особенную образованность и искусственную литературу въ отличіе отъ народной поэзіи массъ. Таково происхожденіе искусственной литературы у всѣхъ народовъ. Какъ только привилегированный классъ выдѣляется изъ массы народа и замыкается въ свой кругъ, онъ быстро создаетъ искусственную литературу въ отличіе отъ народной. Литература эта, игнорируя интересами массы, выражаетъ исключительно ту жизнь, которою живетъ этотъ классъ. Но послѣ быстраго процвѣтанія такая искусственная

литература столь же быстро падаетъ, потому что скоро исчерпываетъ свой матеріалъ; для поэтическаго творчества необходимы новыя впечатлѣнія, страстность которыхъ и возбуждаетъ его; а когда жизнь смыкается въ тѣсномъ кружкѣ въ неизмѣнныя формы, то поэтамъ только и остается, что вѣчно пѣть одну и ту же пѣсню, которая подъ конецъ всѣмъ пріѣдается и дѣлается рутинною пошлостью. Выходомъ изъ такого печальнаго состоянія литературы можетъ быть только какое-нибудь живое, народное движеніе, которое размыкаетъ заколдованный кружокъ образованныхъ классовъ, обращаетъ вниманіе ихъ на интересы массы, на ея нравы, обычаи, вѣрованія и поэзію; изъ самой массы начинаютъ выходить пѣвцы ея жизни и стремленій. Тогда въ литературѣ начинается обратное движеніе отъ искусственной поэзіи къ народной; въ область ея вторгаются новые, живые, свѣжіе элементы, характеризующіе собою движенія народныхъ массъ. Такія два противоположныя движенія литературы и зависимость ихъ отъ общественныхъ условій мы можемъ отлично прослѣдить въ исторіи европейскихъ литературъ въ средніе вѣка. У насъ существуетъ ложное понятіе, что будто въ средніе вѣка литература западно-европейскихъ народовъ стояла постоянно на народной почвѣ, что искусственная литература, прервавшая всякую связь съ народною, началась съ эпохи renaisance. Напротивъ того, мы видимъ, что если было когда либо въ средніе вѣка господство народной поэзіи, то въ началѣ только ихъ, во время движеній народныхъ массъ и завоеваній, извѣстныхъ въ исторіи подъ именемъ великаго переселенія народовъ. Когда же народы успѣли усѣсться на своихъ мѣстахъ и повсюду сформировались привилегированныя, рыцарскія сословія, старинныя эпическія саги и поэмы дѣлаются достояніемъ простаго народа, да предметомъ монастырской учености, занимавшейся собраніемъ и переписываніемъ ихъ. Въ привилегированныхъ же классахъ быстро создается особенная, искусственная литература, извѣстная подъ именемъ провансальской или романтической. Литература эта, воспѣвая подвиги и любовь королей и рыцарей, исключительно терлась при дворахъ и въ зáмкахъ. Самое названіе одного изъ главныхъ родовъ этой поэзіи «sirventes» (отъ слова servire—служить), то-есть служебныя пѣсни, показываетъ, какое значеніе имѣла эта поэзія и какую роль

играли пѣвцы ея—труверы. Отражая въ себѣ жизнь, нравы, стремленія рыцарства, ихъ войны, любовь, любезность и придворное остроуміе, ихъ схоластическую ученость, наконецъ даже и либерализмъ, заключавшійся въ порицаніяхъ пороковъ Рима и духовенства, труверы въ то же время до такой степени игнорировали жизнію и стремленіями народныхъ массъ, что въ своихъ пасторетахъ вмѣсто живыхъ людей изъ народа представляли идиллическихъ пастушковъ и пастушекъ. Провансальская поэзія быстро распространилась по всей Европѣ; всѣ дворы, всѣ замки начали подражать ей, подобно тому, какъ впослѣдствіи совершилось такое же подражаніе въ образованныхъ классахъ Европы французской литературѣ XVIII вѣка. Но если въ другихъ странахъ Европы искусственность провансальской поэзіи соединялась съ подражательностью, то во Франціи и особенно въ Провансѣ она была самобытнымъ явленіемъ, возросшимъ на своей собственной почвѣ, и все-таки она была искусственнымъ цвѣткомъ на этой почвѣ, и послѣ пышнаго процвѣтанія дожна была пасть, потому что кругъ ея былъ слишкомъ узокъ и матеріалъ ея скоро весь былъ исчерпанъ. Хватило этого матеріала всего на 200 лѣтъ (1090—1290); затѣмъ провансальская поэзія хотя и продолжала существовать, но вѣчно повторяла одно и то же въ неизмѣнныхъ формахъ, съ каждымъ вѣкомъ становясь рутиннѣе и пошлѣе. Хотя провансальскій король Рене въ XV вѣкѣ и старался всячески воскресить ее, но безуспѣшно; это было послѣднимъ сверканіемъ потухающей лампы. Если на своей собственной почвѣ романтизмъ такъ неудержимо палъ, то на чуждыхъ почвахъ, гдѣ ему подражали, паденіе его было еще неудержимѣе. XIV вѣкъ представляетъ самое жалкое состояніе искусственной рыцарской и придворной литературы во всѣхъ странахъ Европы. Начавшаяся всѣдъ затѣмъ реформація служитъ точкою поворота для всего умственнаго движенія Европы. Вліяніе движенія народныхъ массъ на литературу въ эпоху реформаціи было такъ сильно, что не смотря на возрожденіе древнихъ искусствъ и увлеченіе ими, въ литературахъ XIV и XV вѣковъ мы видимъ сильное и неуклонное стремленіе къ народности, выдвинувшее во всѣхъ странахъ Европы писателей чисто народныхъ. Вотъ какъ прекрасно ха-

рактеризуетъ это движеніе въ Германіи Шерръ въ своей Всеобщей исторіи литературы:

«Потребность поэтическаго выраженія опять проявилась въ народѣ въ то время, когда городское сословіе и народъ получили то соціальное положеніе, которое до XIV и XV столѣтій занимало исключительно дворянство; когда войны гусситскія, распри нѣмецкихъ городовъ съ разбойничьею шайкою дворянъ, славныя побѣды Дитмарсовъ на сѣверѣ и швейцарцевъ на югѣ Германіи надъ князьями и рыцарями, пробудили демократическое сознаніе. Историческія народныя пѣсни вытѣснили рыцарскую поэзію, превратившуюся въ сухое иносказаніе и панегирикъ. Такія пѣсни весело раздавались въ предѣлахъ Голштиніи и въ Альпахъ. Превосходную пѣсню сочинилъ Гальбсутеръ «von dem stritt ze Lempach»; Фейтъ Веберъ въ концѣ XV столѣтія прославлялъ бургундскія битвы, особенно битву при Муртенѣ; къ нимъ можно присоединить и Мугейма съ его «Tellenlied». Нетолько историческая, но и вообще вся жизнь народа отпечатлѣвается въ тогдашней пѣснѣ. Крестьянинъ пѣлъ за плугомъ о страданіяхъ и радостяхъ своего угнетеннаго состоянія, мельникъ сопровождалъ стукотню своей мельницы звучною риѳмою, ратникъ сокращалъ себѣ путь воинственными гимнами и сатирическими пѣснями, юноша и дѣвушка раскрывали другъ другу сердечныя тайны въ пѣсняхъ, часто удивительно задушевныхъ; не отставали отъ нихъ монахъ и монахиня, странствующій ремесленникъ означалъ свой приходъ и уходъ въ привѣтственныхъ и прощальныхъ пѣсняхъ, благочестивою пѣснію привѣтствовалъ богомолецъ священныя мѣста, огорченный изливалъ въ пѣснѣ свою грусть, веселый—радость; охотникъ, извощикъ, нищій, угольщикъ, рудокопъ, пастухъ, садовникъ, виноградарь—всѣ они выражали въ пѣсняхъ все, что ихъ занимало, все, что они испытали и сдѣлали въ жизни. Кѣмъ сочинены эти пѣсни—неизвѣстно, и потому о нихъ можно сказать то же, что о вѣтрѣ—мы чувствуемъ ихъ вѣяніе, но не знаемъ, откуда они приходятъ и куда уходятъ. Лимбургская хроника мѣтко характеризуетъ эту народную любовь къ пѣснѣ: она говоритъ о народныхъ пѣсняхъ и приводитъ такія, «которыя ко всеобщей радости, распѣвались, и насвистывались во всей Германіи». Число историческихъ народныхъ пѣсенъ необык-

новенно умножилось, когда во времена реформаціи народная жизнь получала все большее и большее развитіе и когда политическія событія стали возбуждать къ себѣ все болѣе живой и рѣшительный интересъ и въ низшихъ сословіяхъ. Предметомъ ихъ были особенно герои и событія реформаціи и крестьянской войны, раздоры князей между собою и съ императоромъ, итальянскія распри Карла V и Франциска I и турецкія войны».

Относительно Англіи достаточно упомянуть имя такого титана, какъ Шекспиръ, чтобы ясно и наглядно видѣть, какое движеніе въ пользу народности произвела въ литературѣ реформація. Особенно заслуживаетъ вниманіе то, что въ одно время съ Шекспиромъ жилъ Бенъ-Джонсонъ, который все время воевалъ съ Шекспиромъ, будучи увлеченъ классическою драмою съ тремя единствами; самъ Шекспиръ не былъ чуждъ нѣкотораго увлеченія классицизмомъ, выразившагося въ его драмахъ изъ греческаго и римскаго міра; но народность взяла перевѣсъ въ трагедіяхъ великаго драматурга и громы Джонсона не помѣшали Шекспиру быть въ свое время любимцемъ лондонской публики и въ особенности простаго народа.

Во Францію реформація вторглась въ самой своей дурной формѣ кальвинизма и коснулась преимущественно привилегированныхъ классовъ, но и во Франціи новое движеніе умовъ вызвало Рабле, который подготовилъ умы своихъ соотечественниковъ къ воспринятію реформаціонныхъ идей, осмѣявши своимъ чисто народнымъ, реальнымъ смѣхомъ все старое общество съ его ханжествомъ, схоластикой и напыщенною неестественностью романтизма.

Даже въ Испаніи, гдѣ реформація была потушена въ своихъ зачаткахъ, появился Сервантесъ—и осмѣялъ падающее рыцарство съ его истощенною литературою. Но значеніе Донъ-Кихота заключается не въ одномъ смѣхѣ, а и въ тѣхъ чисто-народныхъ элементахъ, которые внесъ Сервантесъ въ свой романъ въ оппозицію выдохшемуся содержанію романтической литературы.

III.

Совершенно такое же явленіе мы можемъ прослѣдить въ нашей жизни за послѣдніе 200 лѣтъ. Отчужденность нашихъ

образованныхъ слоевъ отъ народныхъ массъ была столь сильна, что не такъ давно еще подъ словомъ «русское общество» разумѣлось небольшое меньшинство народа, исключительно образованный слой его, а подъ словомъ «русская жизнь»—разумѣлась жизнь этого слоя. Все, что не принадлежало къ этому меньшинству, какъ будто не существовало, все это крестилось общимъ именемъ «подлой черни, грубой массы, мертваго прозябанія». Когда литература наша послѣ упадка новаго романтизма встала на реальную почву, начала изображать окружающую ее жизнь, она занялась изображеніемъ жизни и нравовъ одного образованнаго меньшинства, въ средѣ котораго вращалась. Когда появились на сцену Онѣгины, Печорины, Рудины, Лаврецкіе и проч., тогда по этимъ именамъ начали судить и умозаключать о жизни и характерѣ нетолько русскаго человѣка вообще, но даже всего славянскаго племени, какъ-будто все славянское племя состояло въ то время изъ нѣсколькихъ тысячъ говоруновъ, читавшихъ Гегеля отъ нечего дѣлать. Правда, иногда наши писатели 30-хъ годовъ выводили на сцену личности изъ простаго быта (Полевой, Лажечниковъ, Загоскинъ, Вельтманъ), но эти личности или похожи были скорѣе на аркадскихъ пастуховъ и пастушекъ, чѣмъ на живыхъ людей, или это были жалкія пародіи на мужиковъ, въ которыхъ народъ продолжалъ играть ту шутовскую роль, которую игралъ онъ въ глазахъ высокообразованныхъ предковъ нашихъ XVIII ст., любившихъ похохотать надъ смѣшнымъ невѣжествомъ подлой черни.

Литература могла ограничиваться такою исключительностью до тѣхъ поръ, пока интересы меньшинства, въ средѣ котораго она вращалась, не выходили изъ его замкнутаго круга. Но когда они расширились, когда на первый планъ встали вопросы о судьбѣ той самой массы, о которой прежде рѣдко кто помышлялъ, литература не могла болѣе сосредоточиваться въ своемъ узенькомъ мірѣ, она должна была заняться изученіемъ жизни и нравовъ той самой массы, которою прежде она такъ гнушалась. Отсюда естественно возникли стремленіе литературы къ изученію народа во всѣхъ его слояхъ и проникновеніе интересами народа.

Первыми нашими изучателями народнаго быта были, конечно, славянофилы. Но для того, чтобы изучать что-нибудь,

надо приступать къ предмету изученія, какъ къ сырому, невѣдомому матеріалу, безъ всякихъ предвзятыхъ теорій и предразсудковъ. Въ этомъ заключается истинный реализмъ всякаго изученія. Таковы ли были наши первые изучатели? Нѣтъ, они шли изучать народъ съ заранѣе уже a priori задуманными мнѣніями о немъ. У нихъ въ головѣ сидѣлъ идеалъ русскихъ богатырей, готовыхъ закидать шапками гнилую Европу, и они шли поучаться у геніальнаго народа неизрѣченнымъ глаголамъ. Вслѣдствіе подобныхъ заранѣе составленныхъ предубѣжденій, они умилялись, прислушиваясь къ каждому слову, произнесенному простолюдиномъ, и повсюду открывали доблести русскаго духа и чудеса русской геніальности. Это возведеніе въ идеалъ народной жизни, какова она есть, безъ всякаго анализа ея, послужило оправданіемъ всевозможнаго обскуратизма во имя народности. Рядомъ съ дѣйствительными, реальными симпатіями и антипатіями народа, выходящими изъ различныхъ условій его быта и отношеній его къ разнымъ слоямъ общества, существуетъ у народа рядъ предразсудковъ, выработанныхъ исторіею; предразсудки эти давно отжили, народъ не особенно ими и дорожитъ, заявляетъ нерѣдко даже и протесты противъ нихъ, но масса продолжаетъ держаться ихъ по старой рутинѣ. Очень часто случается и такъ, что свои реальныя симпатіи или антипатіи народъ облекаетъ въ разныя ветхія формы своихъ предразсудковъ. Такъ, онъ начинаетъ особенно чествовать и чуть не обоготворяетъ личности, которыя дѣйствовали въ его пользу; напротивъ того, въ личностяхъ, ненавистныхъ ему по тому злу, которое онѣ производили, онъ видитъ или нехристей, измѣнившихъ православной вѣрѣ, или злыхъ колдуновъ, продавшихъ душу чорту, и даже антихристовъ. Вмѣсто того, чтобы отдѣлить реальныя симпатіи и антипатіи народа отъ призрачныхъ, наши поклонники народности нетолько что смѣшиваютъ безразлично все это въ одну массу, но очень часто въ призрачныхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ именно и видятъ всю суть народныхъ стремленій. Такъ, напримѣръ, самъ по себѣ народъ нисколько не чуждается западной образованности; едва только позволяетъ достатокъ, простолюдинъ не прочь обзавестись разными заморскими диковинками и даже перемѣнить свою сермягу на европейскій костюмъ; народъ нисколько не чуждается иностранцевъ, если они являются

передъ нимъ не въ видѣ нѣмца-управителя фабрики или имѣнія; посмотрите вы на русскихъ матросовъ, которые зачастую братаются и пьютъ вмѣстѣ съ англійскими и голландскими матросами. Но тотъ же самый народъ недовѣрчиво смотритъ на каждаго образованнаго человѣка, носящаго европейскій костюмъ. Такая недовѣрчивость происходитъ изъ причинъ самыхъ реальныхъ, въ родѣ разныхъ сословныхъ предразсудковъ, основанныхъ на отжившемъ уже крѣпостномъ правѣ; нашимъ же поклонникамъ народности кажется, что народу не нравится, зачѣмъ это образованные люди одѣваются поевропейски, читаютъ иностранныя книги, водятся съ иноземцами, зачѣмъ они не носятъ бородъ, не пьютъ квасу и не парятся на полкѣ въ банѣ, зачѣмъ они, однимъ словомъ, измѣнили русскимъ народнымъ обычаямъ и нравамъ и увлеклись иноземщиной. Если всѣ эти причины возбуждали въ народѣ вражду, то это было уже очень давно при Петрѣ I, 200 лѣтъ тому назадъ. Въ эти 200 лѣтъ масса народа если и не успѣла еще пріобрѣсти никакой образованности, то во всякомъ случаѣ хоть на одинъ куриный шагъ подвинулась впередъ сравнительно съ массой временъ Петра I; подвинулась на столько, что не смотритъ уже, какъ на измѣнника православной вѣрѣ, на человѣка, брѣющаго бороду и ходящаго въ сюртукѣ, и если до сихъ поръ еще сохраняются среди раскольниковъ такіе изувѣры, то сами раскольники въ большинствѣ начинаютъ смотрѣть гораздо снисходительнѣе и на иностранные обычаи, и на самихъ иностранцевъ.

Нагляднымъ примѣромъ возведенія въ идеалъ разныхъ народныхъ предразсудковъ могутъ служить повѣсти Кохановской. Писательница эта обладаетъ замѣчательнымъ талантомъ и знаніемъ народной жизни, и тѣмъ болѣе становится жалко, что пойдя по ложной дорогѣ, она погубила свой талантъ, который могъ бы принести большую пользу. Возьмите вы какую угодно повѣсть ея, и рядомъ съ истинными и несомнѣнными фактами народной жизни, вы увидите пошлыя и вопіющія натяжки для того, чтобы подвести эти факты подъ славянофильскія тенденціи и пропитать ихъ запахомъ деревяннаго маслица.

Возьмите вы, напримѣръ, повѣсть ея «Послѣ обѣда въ гостяхъ». Въ этой повѣсти всего ярче выступаютъ передъ

вами съ одной стороны живые факты народной жизни, а съ другой неестественный, очевидно придуманный конецъ повѣсти для того, чтобы возвеличить такъ-называемыя народныя начала и совершить передъ ними земной поклонъ. Въ повѣсти этой писательница описываетъ бытъ захолустнаго города XVIII столѣтія, когда подобные города мало еще чѣмъ отличались отъ деревень, когда по улицамъ ихъ водили еще хороводы. Героинею является Любовь Архиповна, дѣвушка съ характеромъ сильнымъ, живымъ, натура художественная, удалая. Сюжетъ самый простой и общенародный. Дѣвушка любитъ молодаго, но бѣднаго горожанина Чернаго, а мать приневоливаетъ ее выходить замужъ за стараго и некрасиваго коммиссіонера. Здѣсь вы найдете нѣсколько сценъ, въ которыхъ чрезвычайно живо и вполнѣ въ народномъ духѣ представленъ протестъ молодой жизни противъ зла и насилія, губящаго эту жизнь. Когда Любовь Архиповну повѣнчали съ противнымъ ей коммиссіонеромъ, ей захотѣлось отпраздновать въ послѣдній разъ праздникъ молодости:

«Ну, какъ я тебѣ сказала, матушка, что сердце у меня закаменѣло, говорила она: — такъ оно у меня и осталось. На мужа-то я не гляжу и не вижу его; матушка мнѣ какъ чужая стала, одно только то, какъ погляжу на сестеръ, кажется бы я имъ душу свою горькую отдала! Вотъ-то положили намъ на завтра выѣзжать, я говорю послѣ обѣда матушкѣ: «Утопили вы мою голову на вѣки-вѣчные; пусть же я въ послѣдній разъ оглянусь на свою радость дѣвическую, на долю мою молодую безвозвратную. Идите себѣ, куда знаете, на вечеръ и его берите съ собою. Чтобъ его духу тутъ не было. Я хочу проститься съ своими».

— Что же матушка? спросила я.

— Да ничего, сказала Любовь Архиповна. Она стала тихая такая да смирная; все на меня смотритъ. «Любаша моя, Любаша! Ну, Богъ съ тобой, говоритъ, дѣлай, какъ знаешь! Развѣ я тебѣ худа желаю?»

— То-то до добра и довели, говорю. Берите же его съ собою, чтобъ мои глаза его хоть съ часъ мѣста не видали.

— А онъ, Любовь Архиповна? спрашивала я.

— Что онъ, матушка? Мнѣ о немъ и заботы не было. Я и звать-то его иначе не называла, какъ *онъ*, да *его*. «Что жь!

гогорю развѣ вы все будете такъ за мною слѣдомъ ходить? Идите себѣ съ матушкою, а я останусь свой послѣдній пиръ пировать. Вы со мною не жили, дѣвичьей моей доли и воли вы не дѣлили, стало вамъ нечего и быть тутъ, какъ я стану прощаться со всѣмъ тѣмъ». Поплелся онъ, матушка, а я протопопскимъ барышнямъ велѣла сказать, чтобъ онѣ, черезъ своего философа, всѣхъ нашихъ господъ оповѣстили, что я всѣхъ жду свой послѣдній пиръ пировать».

Затѣмъ слѣдуетъ сцена этого пира, по истинѣ трагическая. Страшно щемитъ за сердце хороводъ и пляска молодыхъ людей, въ то время, какъ у всѣхъ на сердцѣ скребли кошки: «Я подъ собою земли не слыхала», говорила Любовь Архиповна. Никогда въ жизни, ни прежде, ни послѣ она звонче не пѣвала и не плясала такъ... «Я будто и пріустану немного, и хороводъ словно начнетъ ослабѣвать у насъ, такъ нѣтъ! Черный, какъ зальется, засвиститъ съ стиха и громче своимъ голосомъ—и словно онъ силою какою могутною двинетъ насъ! Опять хороводъ ожилъ, встрепенулся, и я пошла съ нимъ, съ Чернымъ, въ одиночку плясать...

— Наконецъ, матушка! сказала Любовь Архиповна: — отплясала я всѣ свои пляски и перепѣла всѣ мои пѣсни. Начала было эту послѣднюю:

Изъ-за лѣса, лѣса темнаго
Вылетало стадо лебединое;
А другое—гусиное.
Отставала лебедушка
Прочь отъ стада лебединаго,
Приставала лебедушка
Что ко стаду ко сѣрыхъ гусей...

И такъ дальше: что отставала такая-то прочь отъ красныхъ дѣвушекъ и приставала она къ молодымъ молодушкамъ, я, матушка, не кончила. «Будетъ! говорю, пѣсня кончена... Попрощаемся, мои барышни, на разставаньи. Гдѣ я съ вами пѣла и плясала, тамъ вы меня обнимите и отпустите отъ себя, мои бѣлыя лебедушки!» И словно съ меня силу мою всю какъ рукой сняло. Прислонилась я къ дереву, чтобъ устоять мнѣ... И дерево это, я какъ сейчасъ помню, большая верба у матушки середи двора была. Мы ее сколько разъ обхватывали въ хороводъ, а еще плясать подъ нею такъ чудно было. Вѣтки большія всѣ въ инеѣ, наклономъ

наклонились: мы какъ двинемъ подъ нихъ хороводъ и зальемся нашею пѣснею, такъ вся верба шорохомъ шорохается и сверху инеемъ осыпаетъ насъ... Такъ вотъ къ вербѣ-то своей я прислонилась, матушка, и стою, не двигаюсь. Барышни всѣ, одна по одной, подошли ко мнѣ, поцѣловали меня, и всякая мнѣ низко поклонилась. Я имъ слова никакого не молвлю; стою, поглядѣла вокругъ по одну сторону, онѣ отошли, столтъ, мои голубочки, по другую сбились въ кучу наши добрые молодцы... «Ну-те; а вы же что? говорю, развѣ я вамъ не хорошо пѣсни пѣвала, или не весело плясала съ вами, что, таковы молодцы, вы и попрощаться со мною не хотите?» Черный, матушка, слова не сказалъ, подошелъ первый ко мнѣ; наклонился, крѣпко поцѣловалъ меня, а слезы у него какъ брызнутъ, такъ и задали мнѣ лицо... Я посмотрѣла ему вслѣдъ. «Прощай добрый молодецъ!» говорю, онъ и не оборотился; пошелъ прямо къ воротамъ и только назадъ рукой махнулъ. Такъ они всѣ подошли ко мнѣ и попрощались со мною. Философу нашему послѣднему пришелъ чередъ. Онъ и приступилъ ко мнѣ; но видно, взглянувши на меня поближе, какъ всплеснулъ руками. «Ахъ, братцы мои, сестрицы голубочки! завопилъ голосомъ: Любовь Архиповна совсѣмъ умираетъ».—«Не бось, сказала я. Еще поживу, и пошла отъ него въ домъ».

Такъ совершилось одно изъ тѣхъ наглыхъ, гадкихъ безчеловѣчныхъ убійствъ молодой жизни, убійствъ, которыя совершаются на каждомъ шагу совершенно безнаказанно во имя такъ-называемой старческой опытности и желанія блага своимъ дѣтямъ. Что́ же оставалось болѣе дѣлать Любовь Архиповнѣ, какъ не увядать въ тяжкой неволѣ, и что́ оставалось писательницѣ какъ не закончить этимъ старую, и въ то же время вѣчно новую исторію. Но писательницѣ вздумалось во имя христіанскихъ идей мало того, что оправдать, — чуть не обоготворить дѣло, въ которомъ нетолько и тѣни не было чего-либо христіанскаго, но и вообще человѣческаго. Далѣе она разсказываетъ, какъ Любовь Архиповна долго жила съ мужемъ, будто съ чужимъ, не говоря съ нимъ ни слова и не глядя на него, и потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего подъ обаяніемъ свѣтлаго праздника нашла на нее божественная благодать, она умилилась, залилась слезами, кинулась на шею къ мужу, облобызала его и—по-

любила!... Вотъ что называется ткнуть пальцемъ прямо въ небо! Что-жь остается, прочтя повѣсть Кохановской, какъ не преклониться передъ народными началами, которыя совершаютъ такія неизрѣченныя чудеса!... И вотъ такія прелести вы найдете въ каждой повѣсти Кохановской. И чѣмъ болѣе писала она, тѣмъ болѣе и болѣе подливала деревяннаго маслица въ свои повѣсти; наконецъ дописалась она до «Недавней встрѣчи», въ которой уже нѣтъ ни образовъ, ни лицъ, а вы найдете цѣлый потокъ мистическихъ разглагольствованій о суетѣ міра сего въ духѣ «Переписки съ друзьями» Гоголя. Такъ палъ талантъ по истинѣ замѣчательный, и не мудрено: даже такой геніальный талантъ, какъ Гоголь, и тотъ погибъ, едва вступилъ на этотъ путь.

IV.

Но, рядомъ со всѣми этими заблужденіями, опошлившими стремленіе литературы къ народности, въ 40-хъ и 50-хъ годахъ уже начали появляться время отъ времени попытки изучать бытъ народный и выводить на сцену людей изъ разныхъ слоевъ общества — вполнѣ реально, не какъ образцы величія русскаго духа и не въ видѣ гороховыхъ шутовъ для праздной потѣхи, а какъ живыхъ людей, имѣющихъ свои достоинства и пороки, радости и страданія. Всѣ писатели того времени: Тургеневъ, Писемскій, Островскій, Григоровичъ заплатили свою посильную дань этому новому направленію литературы. Правда, эти первыя попытки были крайне несовершенны; если нѣкоторыя изъ нихъ и высоко стоятъ по своей чистой художественности, то во всякомъ случаѣ далеко не представляютъ того глубокаго знанія народной жизни, какая требуется отъ русскаго писателя. Вы видите по этимъ попыткамъ, что писатели приступаютъ къ предмету, который до тѣхъ поръ былъ совершенно чуждъ имъ и который они только-что начинаютъ изучать. Вслѣдствіе плохаго знанія жизни, которую берутся они изображать, они часто вносятъ въ нее элементы той жизни, которою сами живутъ и которая хорошо имъ знакома. Вы можете въ этомъ обвинять тѣ обстоятельства, которыя довели нашихъ писателей до такого исключительнаго, замкнутаго состоянія, что

имъ былъ знакомъ одинъ только маленькій уголочекъ русской жизни. Но не будемъ обвинять въ этомъ самихъ писателей; не будемъ упускать изъ виду того, что одного желанія изобразить жизнь какую-либо мало: надо еще знаніе этой жизни; а для знанія нужно изученіе, а изученіе дается только временемъ и обстоятельствами, способствующими къ этому. Не могли же писатели наши сразу, какъ только захотѣли изображать народную жизнь, такъ и начать изображать ее во всей глубинѣ. Во всякомъ случаѣ, мы должны быть благодарны писателямъ, сдѣлавшимъ первую попытку изображать народъ, какъ живыхъ людей, безъ излишняго поклоненія и безъ высокомѣрно-презрительнаго отношенія къ нему.

Но и въ этомъ ряду первыхъ попытокъ, мы видимъ уже степени бо́льшаго или меньшаго знанія народной жизни. Такъ напримѣръ, крестьяне въ «Запискахъ охотника» Тургенева являются болѣе похожи на дѣйствительныхъ крестьянъ, чѣмъ въ романахъ Григоровича. «Подлиповцы» Рѣшетникова, очерки Левитова, «Торговая Волга» Зарубина, «Порѣчане» Помяловскаго, «Записки изъ Мертваго дома» Ѳ. Достоевскаго, очерки В. Слѣпцова, Н. Успенскаго, П. Якушкина, Марка-Вовчка и многія другія произведенія современной литературы представляютъ новыя явленія въ этомъ родѣ. Но, несмотря на относительную вѣрность изображенія народнаго быта, всѣ упомянутыя нами произведенія далеко еще не могутъ быть названы народными. Для того, чтобы писателю сдѣлаться народнымъ, необходимы нѣкоторыя особенныя условія, о которыхъ мы теперь поговоримъ.

Когда человѣку представляется рядъ разнообразныхъ предметовъ для изученія, и человѣкъ начнетъ изучать ихъ, то очевидно, что первое вниманіе его будетъ обращено на разные конкретные подробности и факты, особенно выдающіеся; человѣкъ начинаетъ вглядываться въ каждый предметъ отдѣльно и каждый предметъ изучать безъ связи его съ другими предметами. Затѣмъ мало по малу начинаютъ слагаться въ умѣ человѣка первыя обобщенія и классификаціи предметовъ, и то поверхностныя, шаткія и невѣрныя. Такимъ путемъ шли всѣ науки, начиная описаніемъ конкретныхъ фактовъ. Такимъ путемъ идетъ и наше изученіе народной жизни. Всѣ наши повѣсти, разсказы, очерки, комедіи изъ

народной жизни стоятъ еще на степени болѣе или менѣе конкретныхъ изображеній. Писатели наши берутъ обыкновенно какой-нибудь уголокъ народной жизни, подмѣченный въ жизни фактецъ, и этотъ фактецъ или представляютъ читателю, какъ онъ есть, въ сыромъ видѣ, или разомъ подводятъ подъ какой-нибудь общечеловѣческій законъ жизни. Такія изображенія народной жизни очень напоминаютъ описанія разныхъ отдѣльныхъ травъ въ старинныхъ лечебникахъ, безъ всякаго стремленія обобщить эти травы въ различныхъ классификаціяхъ. Чтеніе подобныхъ очерковъ для человѣка, незнакомаго съ народною жизнію, очень похоже на разсматриванье въ микроскопъ листочка въ то время, какъ нетолько что не имѣешь никакого понятія о родахъ и видахъ растеній, но не знаешь, съ какого дерева сорванъ листокъ. Смотришь въ микроскопъ, ну и ничего, любопытно; а перестанешь смотрѣть, что̀ останется въ головѣ? конкретный, безсвязный образъ листка, какъ онъ представлялся твоему глазу подъ микроскопомъ.

Въ этомъ отношеніи на низшей ступени знанія народродной жизни мы должны поставить Н. Успенскаго. Писатель этотъ въ своихъ очеркахъ представляетъ ту степень знанія, на которой человѣкъ не имѣетъ еще никакихъ понятій о тѣхъ предметахъ, которые онъ наблюдаетъ; передъ нимъ представляется пестрая смѣсь конкретныхъ явленій, и онъ каждое разсматриваетъ отдѣльно, безъ связи съ другими, обращая вниманіе на одну внѣшность наблюдаемыхъ предметовъ. Большинство очерковъ Н. Успенскаго представляется случайно-схваченными изъ жизни сценками и анекдотиками: какой-нибудь разговоръ на постояломъ дворѣ, разсказъ проѣзжаго мужика, купца или бабы — все, что̀ удалось Н. Успенскому мелькомъ увидѣть или услышать — все это онъ такъ и передаетъ, какъ оно есть. Ограничиваясь фотографическими снимками случайныхъ сценъ жизни, Н. Успенскій думаетъ, можетъ быть, что онъ этимъ вполнѣ выполнилъ задачу реализма. Но если реализмъ требуетъ, чтобы художникъ изображалъ жизнь, какъ она есть, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы онъ допускалъ художнику теряться въ въ массѣ конкретныхъ фактовъ. Обобщать эти факты, изслѣдовать ихъ причины и слѣдствія, переходить къ общимъ условіямъ отъ частныхъ явленій — вотъ чего требуетъ ре-

ализмъ, какъ отъ науки, такъ и отъ искусства. И въ этомъ отношеніи разбираемые нами очерки стоятъ на самой низшей ступени реальнаго изученія быта народа, такъ-сказать, передъ самымъ входомъ въ это зданіе. Во-первыхъ, вы видите въ разсказахъ Н. Успенскаго полное отсутствіе того, что̀ называется типами. Когда писатели наши начинаютъ изображать хорошо извѣстный имъ бытъ образованныхъ слоевъ общества, посмотрите, какъ тщательно стараются они обрисовать различные характеры своихъ героевъ, какъ тонко анализируютъ каждый психическій оттѣнокъ, каждое біеніе чуть замѣтной жилочки, и все это съ цѣлію представить вамъ въ своемъ героѣ общій типъ цѣлой массы людей подобнаго рода. Посмотрите, какъ заботливо старается очертить въ своемъ разсказѣ «Саша» тотъ же Н. Успенскій молодую дѣвушку, которую родители приневоливаютъ идти замужъ за немилаго, какъ силится онъ представить трагическую борьбу, совершающуюся въ душѣ его героини. И тотъ же Н. Успенскій, когда дѣло касается простаго народа, не идетъ въ своей обрисовкѣ далѣе пестрой смѣси мужиковъ и бабъ. Иногда, чтобы отличить одного героя отъ другаго, писатель одному пожалуетъ рыжую бороду, другому — черную, третьему — приставитъ какую-нибудь уродливую шишку къ виску, четвертаго — заставитъ повторять на каждомъ словѣ какую-нибудь поговорку — и внѣшность готова. Затѣмъ, каждый мужикъ непремѣнно или воръ, или пьяница, или такой дуракъ, какого и свѣтъ не производилъ; каждая баба — такая идіотка, что ума помраченіе. Далѣе слѣдуетъ подборъ фактиковъ, сценокъ и анекдотовъ для того, чтобы показать, какъ русскій мужикъ невѣжественъ, дикъ, смѣшонъ, какъ онъ загнанъ, забитъ, какъ тонетъ онъ въ грязи невѣжества, суевѣрія, пошлости. Забитость, тупоуміе, отсутствіе всякаго человѣческаго образа и подобія въ герояхъ Н. Успенскаго — одуряютъ васъ, когда вы читаете очерки его. Вы видите передъ собою людей, которые въ жизни своей ничѣмъ болѣе не руководствуются, какъ только грубою, скотскою чувственностью, ни къ чему не стремятся, какъ только къ тому, чтобы нажить копейку или спустить ее въ кабакъ; да и въ этихъ стремленіяхъ, что шагъ ступятъ они, то сдѣлаютъ какую-нибудь невообразимую глупость.

Я вовсе далекъ отъ того, чтобы идеализировать русскаго мужика, какъ это дѣлаютъ славянофилы. Я согласенъ съ Н. Успенскимъ, что мужикъ забитъ, загнанъ, что онъ невѣжественъ и суевѣренъ, но въ то же время, я убѣжденъ, что какъ бы ни былъ человѣкъ задавленъ, на какой бы низшей степени образованности онъ ни стоялъ, а все-таки онъ человѣкъ — и все-таки онъ страдаетъ, если къ нему относятся не почеловѣчески, и эти страданія, такъ или иначе, въ томъ или другомъ видѣ, а заявятъ себя. Если наши бабы дѣйствительно безъисходно тупоумны до такой степени, что въ нихъ и тѣни нѣтъ чего-либо человѣческаго, то какія же это женщины создали пѣсню такого рода:

Ахъ кабы не цвѣты, не морозы,
И зимой бы цвѣты разцвѣтали;
Ахъ кабы на меня не кручина,
Ни о чемъ бы то я не тужила.
Не сидѣла бы я подпершися,
Не глядѣла бы я въ чисто поле.
И я батюшкѣ говорила,
И я свѣту своему доносила,
Не давай меня, батюшка, замужъ,
Не давай, государь, за неровню,
Не мечись на большое богатство,
Не гляди на высоки хоромы;
Не съ хоромами жить мнѣ, *съ человѣкомъ*,
Не съ богатствомъ жить мнѣ, *съ совѣтомъ*.

Конечно, если мы будемъ искать въ жизни простаго народа однихъ такихъ элементовъ, которые создаютъ подобныя пѣсни, то мы придемъ къ той идеализаціи народнаго быта, при которой намъ только и останется, что почивать въ нѣмомъ благоговѣніи передъ народными началами; но если такая идеализація ведетъ къ застою, то съ другой стороны отрицаніе всякихъ человѣческихъ элементовъ въ простомъ быту ведетъ къ тому же самому. Во имя чего же и возможенъ протестъ противъ произвола и насилія, какъ не во имя тѣхъ человѣческихъ элементовъ, которые страдаютъ отъ этого. Вамъ не придетъ въ голову возмущаться противъ столяра, зачѣмъ онъ жестоко обращается съ деревомъ, долбитъ его долотомъ и терзаетъ на части, но вы возмущаетесь, когда истязаютъ лошадь. Въ послѣднемъ случаѣ протестъ возбуждается не тѣмъ только, что передъ вашими гла-

зами происходитъ фактъ истязанія, а тѣмъ, что отъ этого истязанія страдаетъ существо, надъ которымъ производятъ это дѣйствіе. Страдающее существо первое заявляетъ протестъ противъ причиняемаго ему зла криками или стонами. Вслѣдствіе этого члены общества покровительства животныхъ требуютъ, чтобы хорошо обращались съ животными, но имъ и въ голову не придетъ протестовать, зачѣмъ лошадь не пользуется полною равноправностью со своимъ хозяиномъ. Они знаютъ, что въ лошади, когда она стоитъ въ конюшнѣ передъ стойломъ, ни разу не шевельнется горькаго чувства, что вотъ ее, которая такъ вѣрно служитъ хозяину, и на порогъ его комнатъ не пускаютъ; если бы въ лошади хоть разъ могъ проявиться подобный протестъ, онъ навѣрное нашелъ бы отзывъ въ тысячѣ сердцахъ. Что̀ особенно поддерживало у насъ крѣпостное право, какъ не то вкоренившееся въ массѣ образованныхъ людей мнѣніе, что русскій мужикъ— почти что безсловесное, лѣнивое, пьяное животное, что надъ нимъ можно дѣлать, что угодно, что безъ розогъ съ нимъ нельзя обходиться, что розги причиняютъ ему одну физическую боль, но нисколько не дѣйствуютъ на его загрубѣлую нравственную природу, что мужикъ нисколько не возмущается противъ своей неволи, что, напротивъ того, онъ пропалъ бы, еслибы его освободили, какъ грудной младенецъ, брошенный на улицу. Въ чемъ же должна заключаться цѣль реальной поэзіи, какъ не въ томъ, чтобы изучивши бытъ народа, проникнуть въ сердце простаго человѣка, на самой низшей степени развитія уловить крикъ и протестъ противъ неправды и выставить этотъ крикъ на первый планъ, какъ доказательство того, что какъ бы ни былъ невѣжественъ мужикъ, а онъ все-таки человѣкъ, и, какъ человѣкъ, имѣетъ право на всѣ человѣческія блага. Тургеневъ, Григоровичъ и Писемскій—въ былое время, когда они были еще молодые писатели, стояли на этомъ пути и старались изучать человѣческіе элементы въ бытѣ простаго народа. Н. Успенскій, хотя и цѣлымъ поколѣніемъ моложе ихъ, но видно сильна во всѣхъ насъ старая закваска, и горе тому писателю, который *добросовѣстно, старательно не поработаетъ* надъ изученіемъ народнаго быта, а будетъ дѣло дѣлать спустя рукава, и не потревожитъ своихъ высокоразвитыхъ мозговъ, чтобы подумать, какъ недалеко отошелъ онъ отъ своихъ отцовъ и дѣдовъ, если

продолжаетъ ничего не видѣть въ мужикахъ, кромѣ безсловеснымъ скотовъ и олуховъ. Немного нужно было подумать Н. Успенскому, чтобы понять, какимъ обоюдоострымъ оружіемъ играетъ онъ. Прочтите разсказы „Хорошее житье", „Змѣй", „Поросенокъ" и многіе другіе; Н. Успенскій рисуетъ въ этихъ очеркахъ тупоуміе и отсутствіе всякаго здраваго смысла въ мужикахъ для того, чтобы внушить вамъ, до какого печальнаго положенія доведенъ мужикъ крѣпостнымъ правомъ. Но факты, выставляемые имъ, могутъ служить отличными доказательствами необходимости того же самаго крѣпостнаго права. Приверженцы крѣпостничества на такіе именно факты и опираются въ своихъ доводахъ въ пользу крѣпостнаго права, и очерки Н. Успенскаго могутъ доставить отличныя матеріалъ для нихъ; они еще болѣе убѣдятся, прочитавши эти очерки, что крестьяне, предоставленные самимъ себѣ, погибнутъ по своей глупости, чуть-что не съѣдятъ другъ друга. „О какомъ же тутъ народномъ самоуправленіи толкуете вы, возразятъ Катковъ или Скарятинъ, прочитавши разсказъ Н. Успенскаго „Хорошее житье": коли вы сами ничего не видите въ мірской сходкѣ, кромѣ взаимнаго разоренія крестьянъ посредствомъ опитія другъ друга?"

Что такіе факты существуютъ, что ихъ слѣдуетъ выставлять, какъ печальныя слѣдствія всей прошлой жизни нашего крестьянства, я нисколько противъ этого не спорю, но рядомъ съ этими фактами писатель обязанъ выставить факты другаго рода, которые показали бы, что самоуправленіе въ средѣ народа возможно и необходимо. Этихъ фактовъ въ очеркахъ Н. Успенскаго нѣтъ; онъ ихъ не знаетъ; онъ не позаботился изучить ихъ; онъ не пошелъ далѣе рутиннаго, пошлаго взгляда на мужика, какъ на осиновый чурбанъ, и этотъ взглядъ не замедлилъ привести Н. Усненскаго къ такимъ воззрѣніямъ, которыя ставятъ его солидарнымъ съ тенденціями „Вѣсти". Такъ въ своихъ „Деревенскихъ письмахъ" Н. Успенскій вдругъ, ни съ того, ни съ сего, разражается слѣдующею тирадою:

„Бѣдность и невѣжество русскаго крестьянина привели его къ тому, что онъ очень часто не цѣнитъ своего собственнаго труда, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не цѣнитъ и чужаго труда; онъ не имѣетъ понятія ни о правахъ собствен-

ныхъ, ни о правахъ другой личности. *Для него условій и законовъ гражданской жизни не существуетъ!*"

Подобная тирада совершенно въ скарятинскомъ духѣ какъ-то странно бьетъ въ глаза среди статьи, въ которой вы найдете много вѣрныхъ замѣчаній и наблюденій. Появленіе подобнаго пошлаго приговора свысока только и можно объяснить, что поверхностнымъ взглядомъ на предметъ, о которомъ пишетъ писатель, недостаткомъ основательнаго изученія предмета и полнымъ отсутствіемъ хотя малѣйшаго напряженія мысли.

Неизмѣримо выше, если не по знанію народной жизни, то по таланту стоитъ В. Ал. Слѣпцовъ. Какъ писатель талантливый, В. Ал. Слѣпцовъ далекъ отъ высказыванья такихъ пошлостей, до какихъ додумывается порою Н. Успенскій. Отношеніе его къ народу гуманнѣе, по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, что въ очеркахъ его на первомъ планѣ стоитъ не безцѣльное обличеніе пресловутаго „невѣжества мужика", какъ у Н. Успенскаго, а стремленіе показать, въ какихъ отношеніяхъ стоитъ къ крестьянину нашему администрація, совершенно чуждая быту его. Но въ очеркахъ В. Слѣпцова вы видите тоже отсутствіе типовъ и психическаго анализа, какъ и у Н. Успенскаго, тоже ограниченіе случайными сценками, мелькомъ схваченными на большой дорогѣ. Отношенія администраціи къ быту крестьянина — это громадный вопросъ, который требуетъ глубокаго изученія народнаго быта; не забудьте, что этими отношеніями обусловливается не одно комическое, но и глубоко трагическое въ жизни крестьянина. В. Слѣпцовъ ограничился одною комическою стороною; да и для характеристики этой комической стороны В. Слѣпцовъ выбираетъ постоянно такіе рѣдкіе, случайные факты, которые имѣютъ почти анекдотическій характеръ: то онъ выставитъ вамъ мужика, который заплатилъ деньги писарю, чтобъ его поскорѣе высѣкли (см. Ночлегъ, Р. Оч. Сц. Сл. ч. I, стр. 155), то онъ изобразитъ вамъ, въ какой просакъ попались крестьяне при встрѣчѣ высокой особы по случаю негодныхъ свиней, испугавшихъ лошадей особы (разсказъ „Свиньи"), то онъ разсмѣшитъ васъ, представивши, какъ крестьяне пьянаго приняли за мертваго и что изъ этого вышло („Мертвое тѣло"). Все это преисполнено комизма, вы хохочете, читая повѣсти В. Слѣпцова, но далѣе

смѣха не идете. Факты, выставляемые В. Слѣпцовымъ, или слишкомъ мелочны, или слишкомъ случайны, чтобы заставить васъ серьезно задуматься надъ ними, и тѣмъ болѣе, что гоняясь слишкомъ за комизмомъ, въ которомъ и безъ того нѣтъ недостатка у В. Слѣпцова, писатель впадаетъ на каждомъ шагу въ явную утрировку, вслѣдствіе которой очерки его еще болѣе теряютъ въ значеніи истинныхъ фактовъ народнаго быта. Такую утрировку вы видите, напримѣръ, въ разсказѣ „Свиньи", гдѣ В. Слѣпцовъ заставляетъ крестьянъ вѣрить, что будутъ ѣздить на людяхъ, и разсказываетъ, какъ подъ вліяніемъ этихъ слуховъ, бабы начали бить горшки и всякую посуду. Что народъ, даже и не крестьянскій, а нѣсколько повыше, способенъ повѣрить всякому слуху, какъ бы онъ ни былъ нелѣпъ, это не рѣдкость, но есть всему извѣстная мѣра, и битье горшковъ бабами прибавлено писателемъ, повидимому, ни для чего иного, какъ ради краснаго словца. Столь же пересолена въ „Мертвомъ тѣлѣ" та сцена, гдѣ мужики въ первый разъ увидѣли мнимаго мертвеца воскресшимъ и явившимся къ нимъ среди дороги, и не рѣшаются подойти къ нему. Я полагаю, что крестьянамъ такъ часто приходится имѣть дѣло съ опившимися до полусмерти, что такое явленіе не составляетъ для нихъ особой новости, они порядки эти отлично знаютъ, и первое, что естественно могло придти имъ въ голову послѣ исчезновенія покойника — это скорѣе всего то, что мнимый покойникъ былъ просто слишкомъ выпившій и потомъ отрезвившійся человѣкъ. Къ тому же писатель опустилъ тотъ простой фактъ, что суевѣрный страхъ разыгрывается преимущественно ночью и въ одиночествѣ, днемъ же и въ толпѣ онъ далеко не можетъ имѣть такого характера, какой вы видите въ разсказѣ. Комедія немного потеряла бы смѣхотворнаго эффекта, еслибы писатель выбросилъ всѣ разсужденія о ходящихъ покойникахъ, которыя тутъ вовсе не къ мѣсту, но за то выиграла бы въ естественности развитія сюжета.

V.

Ѳ. Рѣшетниковъ, хотя не обладаетъ и половиною таланта В. Слѣпцова, но за то относится къ своему дѣлу гораздо серьезнѣе. Въ своихъ «Подлиповцахъ» онъ рисуетъ бытъ

восточныхъ нашихъ инородцевъ. Люди эти стоятъ на степени развитія неизмѣримо низшей, чѣмъ всѣ *невѣжественные мужики* Н. Успенскаго; у нихъ до сихъ поръ еще сохраняется фетишизмъ въ самой грубой его формѣ; они болѣе звѣроловы, чѣмъ земледѣльцы; они и не подозрѣваютъ о существованіи міра далѣе ихъ деревни; имъ и въ голову не приходитъ, что они живутъ въ огромномъ и благоустроенномъ государствѣ. Ѳ. Рѣшетниковъ не утаиваетъ ихъ дикости, невѣжества, и здѣсь вы дѣйствительно видите людей, для которыхъ, по выраженію Н. Успенскаго, *условій и законовъ гражданской жизни не существуетъ*. Но выставляя цѣлый рядъ комическихъ положеній, въ которыя становятся герои этого быта—Пила и Сысойка, Ѳ. Рѣшетниковъ не забываетъ, что онъ имѣетъ дѣло не съ осиновыми чурбанами, а съ людьми. На самой низшей степени развитія, на которой люди ничѣмъ почти не отличаются отъ звѣрей, Ѳ. Рѣшетниковъ съумѣлъ уловить тѣ человѣческія чувства и стремленія, которыя руководятъ въ жизни и тебя, высокообразованный читатель. Эти чувства и стремленія, въ связи съ обстановкою, въ которой живутъ герои, и изъ которой рвутся они со всею энергіею дикарей, составляютъ трагическій элементъ разсказа, который, соединяясь съ комическими сторонами, производитъ на васъ потрясающее впечатлѣніе: вы не можете ограничиться здѣсь однимъ смѣхомъ, что вотъ молъ, ха, ха, ха!... какіе идіоты и уроды существуютъ на свѣтѣ среди такихъ развитыхъ и умныхъ людей, какъ я! Вы чувствуете глубокое сочувствіе къ этимъ уродамъ, потому что вы видите въ нихъ братьевъ своихъ по человѣчеству, вамъ жалко ихъ, вы страдаете ихъ страданіями и возмущаетесь за нихъ всею душою... На первыхъ страницахъ передъ вами открывается такой бытъ, въ средѣ котораго вы, конечно, и заподозрить не можете какихъ-либо такъ-называемыхъ возвышенныхъ чувствъ, которыя составляютъ гордость нашей цивилизованной жизни: какія тутъ возвышенныя чувства, когда люди только и думаютъ о томъ, какъ-бы не помереть съ голоду; а между тѣмъ посмотрите, какъ и въ этомъ быту пробиваются истинно человѣческія отношенія, которыхъ, что грѣха таить, не всегда можно встрѣтить и въ цивилизованномъ обществѣ.

«Гаврило Гавриловичъ Пилинъ, по подлиповски Пила, былъ человѣкъ добрый, пробойный и работящій. Онъ одинъ изъ подлиповцевъ понялъ, что ничего не дѣлая жить нельзя; онъ какъ нибудь старался пріискать себѣ работу, сбыть ее, *а главное, услужить своимъ подлиповцамъ*. Назадъ тому годъ Пила постоянно стрѣлялъ дичь и сбывалъ ее въ городѣ, хлѣбъ у него водился; но какъ-то разъ утопилъ ружье въ рѣкѣ, самъ простудился, и, пролежавъ два мѣсяца, обѣднѣлъ до того, что ему съ семействомъ привелось ѣсть кору, а коровѣ и лошадямъ вовсе нечего было ѣсть. Оправившись послѣ болѣзни, Пила пособралъ у подлиповцевъ надѣланныхъ кадокъ, кузовковъ и лаптей, отправился за больныхъ продавать въ селѣ и городѣ. У Пилы въ городѣ былъ знакомый хозяинъ постоялаго двора, и онъ черезъ посредство его находилъ себѣ покупателей. Онъ и раньше возилъ вещи, но теперь постоянно сталъ заставлять подлиповцевъ работать, и для него ничего не значило съѣздить за сто верстъ; *онъ одну половину денегъ отдавалъ крестьянамъ или покупалъ муки, а другую бралъ себѣ и покупалъ для себя пищи*. Если въ городѣ ничего не покупали, *Пила шелъ собирать ради христа и потомъ дѣлился съ подлиповцами. Своимъ подлиповцамъ онъ помогалъ, чѣмъ только могъ*. Бывало, скажетъ подлиповцамъ: „чего сидите, робь; я буду робить“, и подлиповцы работаютъ съ Пилой; нѣтъ Пилы—подлиповцы лежатъ. Скажетъ подлиповцамъ: «смотри, траву надо косить», здоровые идутъ косить, а не скажи Пила, что надо косить, подлиповцы не догадаются. Всѣ подлиповцы любили Пилу и каждый спрашивалъ его совѣта или просилъ полечить, такъ-какъ Пила лечилъ больныхъ травами, хотя самъ не понималъ никакого толка въ травахъ».

Половыя отношенія въ томъ быту стоятъ повидимому почти на степени скотскаго удовлетворенія чувственности, а между тѣмъ и въ этомъ отношеніи Ѳ. Рѣшетниковъ съумѣлъ подмѣтить и очертить чисто человѣческія чувства, которыя дѣлали бы честь и самымъ высокообразованнымъ людямъ:

«Наконецъ Пила и Сысойка увѣрились въ томъ, что Апроська умерла. Имъ сдѣлалось легче.

«Апроська умерла, убилась. А я-то почто живу!» думали Пила и Сысойка.

— Пила, заруби меня! сказалъ Сысойко.

— Э!... ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоимъ имъ казалось страшно умереть, обоимъ хотѣлось еще пожить...

— Поѣдемъ, Сысойко!... Поѣдемъ, говорилъ Пила.

— Куда къ лѣшимъ?

— Бурлачить.

— Убей меня!...

— Багачество... Ну, что въ деревнѣ? Апроськи нѣтъ! Эхъ, горе! Пила заплакалъ.

Сысойко изругался; въ ругани онъ хотѣлъ излить все зло на эту жизнь—на все, чего онъ не понималъ...»

И вотъ пошли они изъ своей бѣдной, голодной земли искать *богачества*, а вмѣсто того нашли смерть подъ ярмомъ каторжнаго, неблагодарнаго труда въ далекой сторонѣ.

Умѣть подъ грубою сермягою отличить біеніе человѣческаго сердца, проникнуться радостями и горемъ простаго человѣка, перестрадать вмѣстѣ съ нимъ всѣ его страданія—вотъ чего не достаетъ Н. Успенскому и В. Слѣпцову и чѣмъ богатъ Ѳ. Рѣшетниковъ.

Но, съ другой стороны, если мы будемъ разбирать разсказы г. Рѣшетникова съ точки зрѣнія того вопроса, о которомъ мы бесѣдуемъ въ этой статьѣ, то мы все-таки не можемъ назвать эти разсказы вполнѣ народными. Они даютъ вамъ богатый этнографическій и художественный матеріалъ, но въ то же время они знакомятъ васъ съ однимъ только уголкомъ нашей жизни, да и то преимущественно не русской, а тѣхъ восточныхъ инородцевъ, которые едва только приняли русскій языкъ. Вслѣдствіе этого они далеко не имѣютъ общенароднаго значенія, интересъ ихъ частный, и прочтя разсказы, вы все-таки не составите еще полнаго понятія нетолько о русской жизни вообще, но и о жизни бурлаковъ, которую они, между прочимъ, описываютъ. Для удостовѣренія въ этомъ прочтите рядомъ съ «Подлиповцами» «Торговую Волгу» Зарубина. Въ послѣдней вы откроете такія черты жизни бурлаковъ, которыхъ вы не найдете въ «Подлиповцахъ», и наоборотъ.

Такое же умѣнье заглядывать въ сердце мужика вы найдете во многихъ очеркахъ П. И. Якушкина. Въ объективномъ отношеніи П. Якушкинъ не идетъ далѣе конкретныхъ фактовъ, случайно подмѣченныхъ имъ въ его странствіяхъ по

землѣ русской; онъ не идеализируетъ русскаго мужика, не скрываетъ его недостатковъ, но рядомъ съ ними онъ умѣетъ подмѣчать проблески и зачатки той новой жизни, которая раньше или позже можетъ разцвѣсть на русской землѣ. Возьмемъ для примѣра разсказъ «Небывальщина». Въ разсказѣ вы видите рядъ фактовъ, сообщенныхъ безъ всякихъ затѣй, какъ дорожныя наблюденія автора, въ достовѣрности которыхъ трудно усомниться.

Приставши къ партіи мужиковъ, ѣхавшихъ совершать воровскую порубку казеннаго лѣса, писатель началъ, конечно, упрекать ихъ, зачѣмъ они занимаются воровствомъ; вотъ какія разсужденія услышалъ онъ отъ нихъ:

— Ты долженъ возчувствовать! заговорилъ убѣдительно старикъ, одинъ изъ обоза:—ты это возчувствуй: кто работаетъ, тому за работу, за его потъ значитъ, и плата идетъ. Вотъ, къ примѣру, пахатьбу взять: ты вспахалъ, взборонилъ, засѣялъ—опять запахалъ; ждешь цѣлый годъ, что Господь зародитъ. Зародитъ Господь—не вотъ возьмешь!... А ты ее въ самое горячее времечко сожни, свяжи, да въ копны положи... Вотъ ежели тѣ копны взять—кража!... За эту кражу передъ Богомъ отвѣтъ долженъ будешь держать!... Для того долженъ будешь отвѣтъ держать, что здѣсь, на той копнѣ, потъ, кровь человѣчья лежитъ... Я работалъ, трудился, ночей не досыпалъ, а ты взялъ ее, матушку, и поднялъ! Мои слезы на тебѣ взыщутся!... А лѣсъ, ты говоришь? Кто его садилъ? Богъ. Кто его берегъ, ростилъ? Все-таки Богъ!... Такъ ты не моги говорить, что твой лѣсъ: лѣсъ божій!... Спроси у стариковъ: «Чей лѣсъ?»—«Лѣсъ вѣѣжій!» скажутъ тебѣ тѣ старики.

Если смотрѣть съ точки зрѣнія Н. Успенскаго, то въ подобномъ разсужденіи вы, конечно, ничего не увидите, кромѣ незнанія невѣжественными мужиками никакихъ условій гражданской жизни. Если же вы вдумаетесь въ него поглубже, васъ поразитъ логика его. Откуда взялась эта логика? Является ли она необходимымъ, естественнымъ результатомъ трудовой жизни, на какой бы низшей степени развитія ни стояла эта жизнь? есть ли это рѣдкіе проблески мысли немногихъ умовъ? Фактъ, представленный П. Якушкинымъ, слишкомъ конкретенъ; писатель самъ смотритъ на него, какъ на нѣчто необычайное, какъ на небывальщину. Его поразила

встрѣча съ такимъ фактомъ, какъ съ чѣмъ-то такимъ, чего доселѣ онъ не встрѣчалъ въ народномъ быту. Слѣдовательно, на основаніи одного этого факта трудно дѣлать какіе-либо выводы. Но за то все это отлично показываетъ, какъ мало извѣстна намъ народная жизнь. Очень можетъ быть, что такіе факты нерѣдки въ жизни народа; очень можетъ быть, что вся путаница, которая случается иногда при сношеніяхъ народа съ другими слоями общества, на половину обусловливаясь невѣжествомъ народа, на половину происходитъ и отъ той логики въ словахъ старика при порубкѣ лѣса, которая такъ непохожа на офиціальную логику. Все это мы говоримъ только *можетъ быть*, потому что наши изучатели народнаго быта до сихъ поръ еще не привели насъ ни къ какимъ положительнымъ фактамъ и выводамъ относительно предмета ихъ изученія. Намъ остается только пожимать плечами, читая рядомъ съ очерками, въ которыхъ народъ представленъ неимѣющимъ образа и подобія человѣческаго, разсказы въ родѣ «Небывальщина». Съ одной стороны, тупоумныя бабы, которыя сами про себя говорятъ: «глупы, батышка, глупы!», а съ другой—величественный типъ дѣвушки, прощающей своему любовнику его измѣну, и обращающейся изъ любовницы въ его сестру родную (см. «Небывальщина», Сочин. П. Якушкина).

На болѣе высшей ступени знанія народной жизни мы должны поставить разсказы А. И. Левитова. У А. Левитова, какъ у Ѳ. Рѣшетникова, вы не найдете ни одного разсказа, въ которомъ бы жизнь народа представлялась съ одной какой нибудь исключительной стороны, со стороны одного невѣжества, или со стороны однѣхъ свѣтлыхъ идеальныхъ сторонъ. Мракъ невѣжества и суевѣрія, отношенія бѣдности къ богатству, ума къ глупости, силы къ безсилію, подлости и растлѣнія къ молодымъ побѣгамъ всего живаго, здороваго, свѣтлаго, подобно тому, какъ это все чудно переплетается въ непрестанной борьбѣ въ жизни, въ такой же зависимости стоитъ это все въ разсказахъ Левитова. Въ каждомъ разсказѣ вы увидите такимъ образомъ жизнь съ разныхъ ея сторонъ, какъ она есть. Въ то же время вы встрѣтите въ этихъ разсказахъ не безразлично-пестренькихъ мужичковъ съ бородками, а рѣзко очерченные типы съ глубокимъ психическимъ анализомъ ихъ. Возьмите вы, напримѣръ, одинъ изъ

самыхъ обработанныхъ разсказовъ «Выселки». Въ этомъ разсказѣ писатель представляетъ вамъ такіе два типа, которые, по ширинѣ обобщенія, можно назвать нетолько общенародными, но и общечеловѣческими. Съ одной стороны представляется вамъ типъ Ивана. Это натура до крайности деликатная, кроткая, миролюбивая, любящая. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые, сколько бы ихъ ни притѣсняли, какъ бы они ни разочаровывались на каждомъ шагу, не перестаютъ любить всѣхъ и каждаго братскою любовью. Мрачными, затаенными мизантропами такія личности сдѣлаться не могутъ. Величайшее достоинство, служащее величайшимъ ихъ недостаткомъ въ настоящее время, заключается въ томъ, что они не имѣютъ острыхъ зубовъ, чтобы отгрызаться; вслѣдствіе готовности помочь всѣмъ и каждому, незлопамятности и беззащитности съ ихъ стороны, люди эксплуатируютъ ихъ на каждомъ шагу совершенно безнаказано, и вся жизнь этихъ несчастныхъ пасынковъ природы обращается въ безъисходное мученіе. Страннѣе всего то, что, не имѣя силъ отражать нападенія всякаго рода, люди эти обладаютъ иногда невѣроятною силою мужественно сносить всѣ гоненія судьбы и людей, нимало не падая духомъ.

Таковъ Иванъ въ «Выселкахъ». Отецъ его прослылъ колдуномъ, вѣроятно, за то, что былъ умнѣе всѣхъ на селѣ. Прозвище это перешло и на сына. Ивану нельзя было выйти на улицу, чтобы не онъ былъ встрѣченъ градомъ насмѣшекъ и всякаго рода оскорбленій:

«Насмѣшки, снѣжные комья безъ счета сыпались въ Иванову спину; а онъ, бывало, какъ раненый медвѣдь, сгорбится весь и развалистой рысью улепетываетъ отъ толпы не допытываясь у нея, за что она каждый разъ преслѣдуетъ его, какъ хищнаго волка. Только, бывало, когда уже черезчуръ невтерпежь приходились ему потѣхи односельцевъ, останавливался онъ передъ толпой и толковалъ ей:

— Братцы! Грѣхъ вамъ передъ Господомъ Богомъ будетъ, что вы на крещенаго человѣка, какъ на бѣшеную собаку улюкаете!

— Ахъ ты колдунъ-чортъ! орала на него толпа.—Туда же про Господа Бога толкуетъ! И снѣжные комьи сыпались на него все гуще и гуще.

Жена упрекала Ивана за его беззащитность.

— Что это у тебя, Иванъ, заговорила съ нимъ жена, когда онъ, облаянный отъ волосъ до пятъ, приходилъ съ улицы въ избу: — ровно и словъ никакихъ для твоихъ обидчиковъ нѣтъ! Ты бы, чѣмъ мямлить-то съ ними: тае да подтае, да энтого-тае, отлупилъ бы какого нибудь идола, али бы въ въ правленьи пожаловался. Они, можетъ, посмирнѣе бы стали.

«Посмотритъ Иванъ на жену, послѣ этихъ словъ, — во всѣ смирные глаза свои поглядитъ, ровно бы дивится ея великой неправдѣ и скажетъ:

— «Любушка ты моя! Никогда и на словахъ-то рѣчистъ я не былъ. Не сговорю я съ ними, пожалуй, на словахъ-то, а ужь лучше стану я лаской съ ними обращаться. Тихостью я, можетъ, подажу какъ-нибудь съ ними, тихостью...

«И такъ-то онъ славно тихостью своею ладилъ съ сосѣдями, что они, бывало, на сходкѣ только и дѣла дѣлаютъ, что вино съ него опиваютъ, да на него-же каждый день то подводу, то какую-нибудь мирскую повинность навалить ухитряются».

Наконецъ и Иванъ не выдержалъ, но весь протестъ его противъ людскихъ неправдъ ограничился тѣмъ, что онъ ушелъ отъ людей со своимъ семействомъ въ выселокъ.

Совершенно противоположною личностью является передъ нами Петръ Крутой. Человѣкъ практическій, дѣятельный, энергическій, онъ въ то же время весь вылился въ одинъ вопіющій протестъ противъ людей и противъ себя. Куда ни бросаетъ его судьба, онъ нигдѣ не можетъ ужиться съ людьми; отовсюду уноситъ онъ мрачную ненависть къ нимъ и ожесточеніе. Уже съ дѣтства успѣлъ онъ ожесточиться противъ людей. Какъ ребенокъ, щедро одаренный богатыми силами, онъ въ младенчествѣ уже обращалъ на себя всеобщее вниманіе, какъ нѣчто необыкновенное, а такъ какъ народъ по своему міросозерцанію привыкъ во всемъ необыкновенномъ видѣть сверхъестественное, то въ деревнѣ и сложилось убѣжденіе, что лѣшій подмѣнилъ ребенка, подсунувъ матери своего лѣшенка.

«Сталъ я лишь человѣческую рѣчь понимать, какъ ужъ люди меня отъ себя гнать начали. Зашушукали они около меня—и свои, и чужіе, кивками да морганьемъ съ боязнію стали на меня показывать, вотъ-де онъ, ребята, обмѣненокъ-то! Глядите, какіе они — лѣшевы дѣтеныши-то бываютъ...

Примѣчайте!.. Къ ребятамъ бывало, въ какую-нибудь игру присунешься, тоже отцы ихъ и матери за руку меня возьмутъ и отведутъ отъ нихъ: Петруша, подика, мать тебя велѣла домой послать, гостинцевъ она тебѣ добыла.—Ласково такъ говорятъ, потому обмѣненка боятся всѣ. Пойду я, бывало, отъ ребятокъ, а мужикъ какой отгонавъ меня, сейчасъ-же на нихъ закричитъ: — я вамъ задамъ, пострѣлы, какъ съ обмѣненкомъ водиться! Еще больше лупилъ я свои отъ матери большія бѣльмы, глядя и раздумывая, отчего это ребятишки не играютъ со мной, а чего больше про меня другъ съ другомъ шепчутся все? И повадился я тутъ, братецъ ты мой, въ лѣсъ ходить; зайду бывало, въ трущобу какую лѣсную и сижу тамъ, и такъ-то мнѣ это въ привычку вошло, что я въ лѣсу ужь и заночевывать сталъ, потому глядишь тамъ, думаешь, думаешь—и никто тебѣ ни въ чемъ не мѣшаетъ, никто не сердитъ. Много я въ томъ лѣсу ребячьихъ слезъ разронялъ, не то, что отъ обиды какой, — не зналъ я тогда обидъ,—а такъ, на душѣ было ужь очень спокойно».

«Такъ и выросъ я, Ѳедоръ Протасычъ, въ лѣсу дубомъ какимъ-то безчувственнымъ. Глядишь иной разъ на людское горе и смѣешься въ тихомолку: что, молъ, каково? А чаще того хочется тебѣ каждому божьему человѣку добрыя слова цѣлый день толковать, горькому житью всею кровью своею помочь хочется, а морда-то у меня, не въ мою силу, сама на бокъ гнется, глаза-то насунятся, да вмѣсто слезъ по старинному, въ носъ и упрутся. Упрутся, и думаешь тогда: ничего, молъ, переждешь! Я же вѣдь жду. Такъ вотъ, солдатъ, какая моя неволя!»

Изъ этихъ выдержекъ вы можете заключить, какъ рѣзко очерчиваетъ и анализируетъ А. Левитовъ типы своихъ героевъ. Эти выдержки опредѣляютъ въ то же время весь характеръ разсказовъ А. Левитова: вы видите, что А. Левитовъ изображаетъ ту же грубость нравовъ, невѣжество и суевѣріе крестьянъ, что и Н. Успенскій. Эти мрачныя стороны жизни простаго народа представляются въ очеркахъ А. Левитова еще рѣзче, чѣмъ у Н. Успенскаго: можно-ли представить себѣ что-нибудь безчеловѣчнѣе среды, въ которой закидываютъ на улицѣ грязью человѣка, не имѣющаго духу отплатить за это тукманкою; что можетъ быть ужаснѣе и нелѣ-

пѣе того дикаго суевѣрія, которое заставляетъ родителей въ ребёнкѣ своемъ воображать подмѣненаго лѣшенка. Но Левитовъ выставляетъ все это не для того только, чтобы показать, какіе смѣшные пассажики выходятъ иногда на свѣтѣ. Въ грубости нравовъ и суевѣріи болѣе ужаснаго, чѣмъ смѣшнаго. Если бы суевѣріе влекло за собою только такія послѣдствія, что мужики подавали иногда просьбы становымъ о летучемъ змiѣ, безпокоящемъ ихъ по ночамъ (см. разсказъ г. Н. Успенскаго—Змѣй), въ такомъ случаѣ нечего было бы особенно и хлопотать о такой ничтожности: но суевѣріе имѣетъ болѣе серьезное вліяніе на жизнь народа: оно обусловливаетъ собою много бѣдъ, которыя терпитъ темный человѣкъ въ своей и безъ того нерадостной жизни, и великое преимущество Левитова передъ Н. Успенскимъ заключается въ томъ, что, не ограничиваясь однимъ смѣхомъ надъ невѣжествомъ и суевѣріемъ, онъ старается раскрыть передъ вами, какъ терпятъ и гибнутъ отъ этихъ мрачныхъ сторонъ народной жизни молодыя, свѣжія силы, рвущіяся на широкій просторъ.

Но представляя замѣчательно-глубокое знаніе народной жизни, очерки Левитова сильно страдаютъ отъ полнаго отсутствія обработки: писатель представляетъ вамъ факты своего знанія отрывочно, по клочкамъ, размазывая ихъ безконечными описаніями природы, приправленными сентиментальными восклицаніями о величественной красотѣ южныхъ степей. Ни одного почти разсказа не найдете вы, который былъ бы вполнѣ законченнымъ цѣлымъ; вы видите постоянное стремленіе со стороны писателя создать что-то такое изъ тѣхъ богатыхъ матеріаловъ, которыми онъ владѣетъ, и въ то же время, какое-то странное безсиліе.

VI.

До сихъ поръ мы говорили о содержаніи художественной литературы, о сущности ея; теперь мы скажемъ нѣсколько словъ о другой ея сторонѣ; внѣшней, формальной. Въ то время, какъ въ предшествующія эпохи нашей литературы эту сторону ставили на первый планъ, видѣли въ ней нерѣдко единственную сущность искусства,—въ послѣд-

нія 10 лѣтъ, по естественной реакціи, начали совершенно пренебрегать ею. Составилось мнѣніе, что главная сущность произведенія заключается въ здоровой, свѣтлой идеѣ, а какъ будетъ проведена она—это рѣшительно все равно. Съ точки зрѣнія подобнаго мнѣнія, очевидно, можетъ представиться излишнею роскошью требовать, чтобы произведеніе поэта, будучи народнымъ во всѣхъ отношеніяхъ, было народнымъ и по формѣ. Въ сущности же, если мы разсмотримъ внимательно, что зависитъ отъ этого требованія, мы увидимъ, что оно не роскошь, что оно не менѣе важно, чѣмъ и другія.

Хотя мы и пренебрегаемъ внѣшними формами искусства, однакоже, мы требуемъ, чтобы писатели наши писали на русскомъ языкѣ, а не пофранцузски или понѣмецки. Но вѣдь языкъ есть тоже ничего болѣе, какъ внѣшняя форма рѣчи. Не все ли равно, на какомъ языкѣ ни напишетъ писатель свое произведеніе, лишь бы онъ провелъ полезную для насъ идею. Да, для Пьера, для Жана это все равно: они знаютъ всѣ европейскіе языки и могли бы наслаждаться «Мертвыми душами» и въ такомъ случаѣ, еслибы Гоголь написалъ ихъ поанглійски. Я убѣжденъ въ томъ, что въ Россіи есть люди, которые впервые читали Гоголя во французскомъ его переводѣ. Но все ли это равно для Ивана, для котораго русскій языкъ единственная форма, въ которой понятна для него человѣческая рѣчь? А такихъ Ивановъ большинство. Для нихъ-то и существуетъ русская литература; и она есть полное ихъ достояніе, какъ мы говорили въ началѣ статьи. Наука, занимаясь открытіями въ природѣ новыхъ предметовъ, для которыхъ не существуетъ соотвѣтствующихъ словъ въ языкѣ, поставлена въ печальную необходимость ежедневно изобрѣтать свои новыя слова и наводняться терминами, которые дѣлаютъ ее доступною только для немногихъ адептовъ, знающихъ ея языкъ. Но если мы прощаемъ ученому, когда онъ издаетъ книгу, хотя и на русскомъ языкѣ, но въ которой для насъ нѣтъ возможности понять ни одной фразы, то мы не простимъ уже этого популяризатору, который вздумаетъ угостить насъ такимъ же языкомъ. Еще болѣе посмѣемся мы надъ безуміемъ популяризатора, если онъ такимъ же языкомъ напишетъ книгу, предназначенную для всего народа. Что же сказать о художественной литературѣ,

этой популяризаціи всѣхъ популяризацій, цѣль которой объяснять народу его жизнь, прояснять въ немъ сознаніе его истинныхъ потребностей, возбуждать въ немъ хорошіе нравственные инстинкты и открывать мрачныя стороны его жизни—и вдругъ такая литература будетъ говорить языкомъ, понятнымъ только для немногихъ? Такая литература мало того что безполезна, она преступна и безчестна совершенно въ томъ же смыслѣ, еслибы я на деньги, порученныя мнѣ нѣсколькими знакомыми для покупки имъ чая, купилъ бы вдругъ табаку, пригоднаго для одного меня.

Но требованіе, чтобы художественная литература употребляла языкъ, доступный для всѣхъ, т.-е. избѣгала бы иностранныхъ словъ, отвлеченныхъ, туманныхъ выраженій и ученыхъ терминовъ, которыми такъ богатъ нашъ литературный языкъ, еще не обнимаетъ всего вопроса о формѣ. Это требованіе касается одного состава языка; но есть еще другая сторона языка—его строй, т.-е. формы рѣчи, въ которыя складываются слова въ языкѣ, и формы поэтическихъ произведеній, въ которыя складывается рѣчь. Для того, чтобы поэтическія произведенія были доступны для всѣхъ, необходимо, чтобы они писались народною рѣчью и складывались въ народныя формы. Читатель подумаетъ, быть можетъ, что здѣсь дѣло идетъ о тѣхъ подражаніяхъ простонародному языку, которыя такъ противны въ нѣкоторыхъ книжонкахъ, изданныхъ для народа? Или ужь не ставится ли здѣсь русскимъ писателямъ въ обязанность подражать народнымъ пѣснямъ, былинамъ и сказкамъ? Ни чуть не бывало. Здѣсь идетъ рѣчь только о томъ примѣненіи всеобщаго закона относительно формъ поэзіи, который наблюдается во всѣхъ литературахъ, какъ древнихъ, такъ и новыхъ. Изучая исторію возникновенія и паденія разныхъ формъ искусства, мы видимъ, что формы не суть что-либо опредѣленное, неизмѣнное, для всѣхъ одинаково доступное. Онѣ суть созданія тѣхъ или другихъ особенностей одного какого-либо народа, и при этомъ еще народа въ данную эпоху. Онѣ служатъ обыкновенно выраженіемъ своей народности, своей эпохи, и такъ же неуклюже примѣняются къ другой эпохи или народности, кака гипсовый слепокъ съ одного лица не прилаживается на другое. Попробуйте выразить грусть простаго русскаго человѣка, и вы увидите, въ какой формѣ это вамъ удастся—

въ формѣ итальянскаго сонета или думы Кольцова. Была такая эпоха въ жизни народа, когда онъ не иначе могъ выражать впечатлѣнія своей жизни, какъ въ формѣ былинъ или сказокъ; это время прошло, народъ начинаетъ забывать самыя былины и, очевидно, было бы верхомъ натянутости и неуклюжести изображать что либо изъ современной намъ жизни въ формѣ былины. Это значило бы возвратиться ко временамъ ложнаго классицизма, когда людямъ казалось, что поэзія можетъ существовать только въ неизмѣнныхъ формахъ древне-классическаго искусства. Вслѣдствіе вышеупомянутаго закона предоставляется полная свобода создавать свою особенную форму литературы нетолько каждому народу, времени, но и каждому поэту, соотвѣтственно потребности, чтобы форма вполнѣ выражала содержаніе. Но тѣмъ не менѣе, только тотъ поэтъ можетъ быть названъ вполнѣ народнымъ, который съумѣетъ выразить свои впечатлѣнія въ такихъ формахъ, въ какихъ они будутъ всего болѣе понятны для большинства и всего болѣе подѣйствуютъ на него. Опредѣлить въ точности, каковы должны быть эти формы, также трудно, какъ трудно опредѣлить неуловимыя черты, отличающія одну физіономію отъ другой. Возьмите вы, напримѣръ, произведенія Кольцова или Шевчинки, вы увидите, что они отличаются рѣзко по своей формѣ отъ всѣхъ словоизліяній нашихъ лириковъ, въ родѣ, напримѣръ, Полонскаго или Фета. Опредѣлить въ точности сущность этого отличія — нѣтъ никакой возможности, и мы можемъ судить о немъ только по послѣдствіямъ, которыя производятъ тѣ или другія произведенія: одни пойметъ каждый простолюдинъ, въ другихъ же и образованнѣйшій человѣкъ не скоро доберется смыслу. Но много ли у насъ такихъ произведеній, которыя писались бы въ такихъ формахъ, что для всѣхъ были бы понятны? Напротивъ того, наши литературы очень часто поставляютъ себѣ какъ будто задачею выражаться какъ можно крючковатѣе, затѣйливѣе и темнѣе; они думаютъ, что въ этомъ-то и есть вся суть поэзіи. Конечно, языкъ боговъ не долженъ быть понятенъ для простыхъ смертныхъ. Другое дѣло было бы, еслибы къ этому вынуждала нашихъ поэтовъ и беллетристовъ печальная необходимость, еслибы идеи ихъ были до такой степени глубоки, всеобъемлющи, новы, что ихъ трудно было бы вполнѣ ясно выразить въ простыхъ

формахъ нашего языка. Но въ томъ-то и дѣло, что большинство нашихъ беллетристовъ и поэтовъ страдаетъ самымъ жалкимъ убожествомъ идей. Міросозерцаніе ихъ очень мало возвышается надъ уровнемъ обыкновенныхъ грамотныхъ людей. И если поэтъ съ такимъ широкимъ и глубокимъ міросозерцаніемъ, каковъ былъ Шевченко, могъ свои идеи выражать просто и общедоступно, то что́ же остается сказать о нашихъ поэтахъ, которые свои бѣдненькія и обыденныя мысленки не могутъ выражать такъ, чтобы ихъ можно было понимать всѣмъ и каждому? Главною виною служатъ тутъ тѣ риторическія, рутинныя витіеватыя тропы и фигуры. которыя почему-то считаются у насъ верхомъ художественной красоты и изящества. Сказать просто *родина*—какъ можно: это прозаически и безцвѣтно: нашъ поэтъ загнетъ непремѣнно какіе нибудь *берега отчизны*, и думаетъ, что это туманное, безсмысленное выраженіе выше, поэтичнѣе. Возьмите, напримѣръ, Полонскаго: онъ написалъ стихотвореніе *Бѣлый*, и этимъ стихотвореніемъ доказалъ, что онъ можетъ писать простою народною рѣчью. И этотъ же самый Полонскій большую часть своей поэтической дѣятельности посвящаетъ на откалыванье такихъ штукъ:

Мнѣ не далъ Богъ *бича сатиры*;
Моя *душевная гроза*
Едва слышна *въ аккордахъ лиры*
Едва видна моя слеза.
Ко мнѣ видѣнья прилетаютъ (?!),
Мнѣ звѣзды шлютъ *нѣмой привѣтъ*,
И мнѣ немногіе внимаютъ,
И для немногихъ я поэтъ.

Да Полонскій, дѣйствительно, для немногихъ поэтъ, но не потому, что Богъ не далъ ему какой-то плетки, а потому, что онъ говоритъ языкомъ, ни для кого непонятнымъ; онъ правъ, говоря, что *вѣщихъ словъ его не слушаютъ народы*—еще бы, когда вмѣсто того, чтобы заговорить простымъ языкомъ простымъ смертнымъ объ ихъ простыхъ интересахъ, поэтъ твердитъ о какихъ-то акккордахъ лиры, которую никто изъ насъ, и даже самъ поэтъ не видалъ въ глаза, какая она такая; о какихъ-то видѣніяхъ, которыя никогда къ нему на самомъ дѣлѣ не прилетаютъ, если только онъ не болѣнъ въ бѣлой горячкѣ; далѣе поэтъ въ своемъ стихо-

твореніи доходитъ до такого изступленія, что простираетъ трепетныя объятія въ воздухъ и внемлетъ, какъ въ области вѣчнаго разума какая-то живая любовь торжественно поетъ живымъ о жизни. Въ «Бѣгломъ» вы не увидите ничего такого, что̀ Полонскому кажется непремѣнною принадлежностью поэзіи; «Бѣглаго» могутъ внимать народы и понимать всѣ, и въ «Бѣгломъ» неизмѣримо болѣе истинной, живой, свѣжей поэзіи, чѣмъ въ большинствѣ произведеній Полонскаго.

VII.

Выставляя такія требованія отъ литературы, вполнѣ естественныя и справедливыя, я нисколько этимъ не отрицаю тѣхъ художественныхъ произведеній, которыя пишутся исключительно для одного образованнаго меньшинства, если только они увлекаютъ это меньшинство. Я нисколько не думаю, чтобы это меньшинство было на столько уже образовано, чтобы ему нечему было учиться, или чтобы жизнь его была вполнѣ и со всѣхъ сторонъ исчерпана литературой. Все, что̀ дѣлается въ жизни полезнаго, хотя бы для одного человѣка, есть уже полезное и достойное уваженія. Мы требуемъ отъ человѣка, чтобы онъ посвящалъ свою дѣятельность на общую пользу всему своему краю, но тѣмъ не менѣе всякій добрый поступокъ его, оказанный одному ближнему, внушаетъ намъ уваженіе къ человѣку. Такъ точно мы требуемъ, чтобы литература стремилась сдѣлаться всеобщею, полезною для всѣхъ нашихъ соотечественниковъ. Если только она хочетъ, чтобы не были признаны лицемѣрными заявленія ея о томъ, что для нея дороги интересы, нужды, радости и страданія народа, она должна посвятить развитію этого народа лучшія свои силы, а не оставлять народъ на жертву разныхъ бездарныхъ писакъ и спекуляторовъ, издающихъ такъ-называемыя книги для народа; но если взять во вниманіе все прошлое нашей литературы, то мы не должны забывать, что литература можетъ къ этому только стремиться и медленнымъ путемъ изученія достигать этого стремленія. На этомъ долгомъ пути ничто ей не мѣшаетъ быть полезною и для того меньшинства, для котораго она до сихъ поръ служила. Впрочемъ, самая лучшая польза, которую она можетъ оказать

этому меньшинству, заключается опять-таки въ стремленіи ея къ народности; потому что этимъ путемъ она ведетъ за собою это меньшинство отъ его изолированной, замкнутой жизни во всеобщую жизнь края, посвящая его въ интересы всего народа. Въ заключеніе спѣшу прибавить то, что всѣ наши стремленія къ народности въ литературѣ служатъ только прелюдіями къ тому движенію въ этомъ духѣ, которое должно послѣдовать, когда народныя массы, призванныя къ гражданской жизни реформами шестидесятыхъ годовъ, дѣйствительно выступятъ на поприще этой жизни и когда изъ самой массы народа явятся пѣвцы ея нуждъ, стремленій, радостей и страданій. Въ этомъ отношеніи, къ какимъ бы широкимъ обобщеніямъ ни приводили *наблюденія* надъ жизнію народа, но еще успѣшнѣе пойдетъ это дѣло, когда къ наблюденіямъ присоединятся *опыты*, и притомъ личные опыты людей, которые сами живутъ жизнію, изображаемою ими.

Читателю покажутся, можетъ быть, слишкомъ кратки и бѣглы нѣкоторыя характеристики писателей, произведенія которыхъ я разбиралъ въ этой статьѣ. О многихъ народныхъ писателяхъ не было мною сказано ни слова: но цѣль этой статьи не подробный разборъ всѣхъ народныхъ писателей нашихъ, а выставленіе тѣхъ общихъ положеній, на основаніи которыхъ, по моему убѣжденію, слѣдуетъ оцѣнивать произведенія этого рода. Затѣмъ, въ послѣдующихъ статьяхъ этой книги вы найдете болѣе полныя и подробныя характеристики, какъ отдѣльныхъ произведеній, такъ и всей дѣятельности наиболѣе выдающихся писателей, изображающихъ народный бытъ.

1869 г.

ЧЕГО НУЖНО ДОБИВАТЬСЯ РЕАЛЬНОМУ ПОЭТУ.

ЧЕГО НУЖНО ДОБИВАТЬСЯ РЕАЛЬНОМУ ПОЭТУ.

«Гдѣ лучше?» Романъ Ѳ. Рѣшетникова. Спб. 1869 »Сочиненія Ѳ. Рѣшетникова». 2 т. Повѣсти, очерки, разсказы, сцены. Спб. 1870 г.

I.

Что́ составляетъ основной принципъ, внутреннее содержаніе жизни народныхъ массъ? Какъ объяснить мертвое безмолвіе этой жизни? Неужели оно служитъ признакомъ того, что жизнь милліоновъ тружениковъ не представляетъ ничего иного, кромѣ безсознательнаго прозябанія безропотныхъ, безсловесныхъ вьючныхъ животныхъ? Или, быть можетъ, въ этой жизни есть своя опредѣленная, постоянная тяга, свой крикъ, раздающійся, но недолетающій до нашихъ ушей, свои интересы, хотя бы и подавленные, лишенные полнаго удовлетворенія. Вопросы эти издавна занимали насъ, но если хоть сколько нибудь подвинулось ихъ развитіе, то для столь рѣдко встрѣчаемыхъ единицъ, что можно считать ихъ до сихъ поръ нерѣшенными для огромной массы образованнаго общества.

Было время, когда рѣшались они очень просто. Одна часть нашей интеллигенціи думала, что народъ есть нѣчто въ родѣ кивота для хранилища различныхъ возвышенныхъ чувствъ. Предполагалось, что каждый отдѣльный мужикъ есть существо совершенно безсмысленное, звѣроподобное и дѣлать съ нимъ можно, что вздумается, но тѣмъ не менѣе,—въ цѣлой массѣ эти звѣроподобныя существа питаютъ различныя возвышенныя чувства. — Чувства эти до поры до времени хранятся въ глубинѣ сердецъ; вѣдь не расточать же ихъ

ежедневно и ежечасно; этимъ и объяснялось нѣмое молчаніе народа. Въ народѣ все шито, крыто, говорили слезливые патріоты 30-хъ годовъ: но наступаютъ великія минуты, и тогда подымаются въ немъ во всей своей мощи возвышенныя чувства его при зычныхъ крикахъ и колокольномъ звонѣ, какъ въ оперѣ Глинки.

Другая же часть нашей интеллигенціи не только не признавала въ массахъ народа никакихъ возвышенныхъ чувствъ, но сомнѣвалась даже, чтобы и вообще могли что-либо чувствовать все это мужичье, и не одно только мужичье, а большинство человѣческаго рода. Чувствовать, страдать, питать разные высокіе помыслы, все это казалось удѣломъ только весьма немногихъ избранныхъ натуръ, возвышающихся надъ міромъ. Одни эти избранныя натуры, создавали прогрессъ, и для нихъ онъ только и существовалъ. Все же прочее человѣчество, труженики всевозможныхъ профессій и ремеслъ, представлялись безразлично подлою чернію, жалкою посредственностью, мелкими насѣкомыми, удѣлъ которыхъ вѣчно копаться въ грязи ради снисканія какихъ нибудь зернушекъ. Всей этой мрази, конечно, не суждено никогда понять, какія чувства волнуютъ каждую избранную натуру; напротивъ того, изъ мелкихъ разсчетовъ, зависти и стыда передъ своимъ ничтожествомъ мразь готова ежечасно подвергать избранную натуру всевозможнымъ непріятностямъ. За то и избранной натурѣ дозволялось, если она чувствовала свою силу, дѣлать, что угодно, съ мелкими насѣкомыми, въ порывахъ своихъ превыспреннихъ полетовъ и въ разгулѣ титаническихъ страстей, не считать стоющею гроша жизнь этихъ клоповъ и давить при случаѣ ихъ хоть тысячами.

Но вотъ наступили 40-е года; мы начали учиться нѣмецкой философіи и разнымъ другимъ наукамъ, начали рефлектировать, анализировать, добиваться начала всѣхъ началъ, вопрошать о судьбѣ, значеніи, цѣли существованія, какъ нашего личнаго, такъ и нашего отечества.

Тогда одна половина нашей интеллигенціи видоизмѣнилась, если не вся, то въ нѣкоторой своей части: образовалось славянофильство, которое, на основаніи теоріи Гегеля, начало напирать на то, что народъ есть животь не просто однихъ только возвышенныхъ чувствъ, но особенной исторической идеи, которую онъ представляетъ собою и разви-

ваетъ. Казалось бы, что такой взглядъ долженъ заключать въ себѣ нѣчто непохвальное: если мы допустимъ, что народъ движется не возвышенными только чувствами, а какой-то историческою идеею, которую онъ отстаиваетъ, то слѣдуетъ намъ вмѣстѣ съ тѣмъ признать, что въ иныхъ случаяхъ, когда что-либо противорѣчитъ этой идеи, народъ можетъ быть весьма строптивымъ, а такое признаніе можетъ завести насъ богъ-вѣсть въ какія дебри. Но славянофилы ловко съумѣли обойти эти дебри: они предположили, что историческая идея, которую развиваетъ народъ, и заключается именно въ его возвышенныхъ чувствахъ. — Вы посмотрите, напримѣръ, на петровскую эпоху, указывали они: народная масса воспротивилась реформамъ Петра и осталась при своихъ старыхъ нравахъ и обычаяхъ, но какъ воспротивилась: тихо, кротко, съ терпѣніемъ, оставаясь вѣрною завѣтамъ своихъ возвышенныхъ чувствъ; въ этомъ-то почтительномъ сопротивленіи, кроткомъ, долготерпѣливомъ смиреніи и заключается тайна нашей цивилизаціи, отличающая насъ отъ гнилаго, распущеннаго, буйнаго Запада.—Такимъ образомъ и капиталъ былъ пріобрѣтенъ, и невинность соблюдена, и осталось все попрежнему—тотъ же колокольный звонъ, только съ призваниваніемъ гегелевской діалектики.

Но и въ другой части нашей интеллигенціи особенно новаго Гегель произвелъ немного. Единственно, что́ внесли новаго сороковые годы по отношенію къ народу—это развитіе чувства гуманности. — Гуманность проповѣдывалась въ то время на каждомъ перекресткѣ, на каждой страницѣ петербургскихъ журналовъ. Но какъ понимало общество эту гуманность? Синонимомъ гуманности сороковыхъ годовъ слѣдуетъ поставить не братство, а снисходительность. У избранной натуры начали отрицать право попирать и давить мелюзгу ради широты полета титанической фантазіи; додумались наконецъ, что хотя мелюзга и не имѣетъ возвышенныхъ стремленій, но во всякомъ случаѣ и ей доступны чувства боли, когда ее бьютъ. Додумались и до многихъ другихъ необыкновенныхъ открытій, напримѣръ до того, что мелюзга способна любить, да мало того, что просто любить, а представьте себѣ, нѣжно таять, томиться и даже умирать въ порывахъ нѣжной страсти. Тогда мелюзга вошла въ моду. Время отъ времени въ беллетристикѣ начали появляться

изображенія жизни мелюзги, при чемъ особенное вниманіе обращалось на вышеупомянутыя открытія, и писатели распинались, чтобы показать публикѣ, какъ мелюзга страдаетъ отъ разныхъ несправедливостей, въ то же время питая разныя нѣжныя чувствія. Но при этомъ все-таки смотрѣли на мелюзгу не иначе, какъ на мелюзгу, съ высоты величія, предполагая, что если предоставить ей кой-какія гарантіи отъ побоевъ, кой-какое удовлетвореніе самыхъ первыхъ потребностей, — этимъ мелюзга совершенно удовлетворится и конечно неспособна будетъ желать чего нибудь высшаго. Высшія стремленія предполагались все-таки удѣломъ высшихъ натуръ и даже, когда изображали страданія мелюзги отъ разныхъ несправедливостей, то обыкновенно старались находить среди этой самой мелюзги своего рода избранныя натуры и обращали вниманіе, какъ страдаютъ именно онѣ. Предполагалось, что обыкновенная мелюзга не только что не страдаетъ отъ несправедливостей и сноситъ ихъ терпѣливо, но хаже радуется ихъ существованію и упивается ими; необыкновенная же выносить зла не въ состояніи, а кончаетъ непремѣнно тѣмъ, что или спивается, или попадаетъ въ остогъ. Такимъ образомъ составилась особенная іерархія, на низшей ступени которой стояла мелюзга терпѣливая и вседовольная, въ серединѣ — сильныя натуры, ропщущія, спивающіяся или попадающія въ острогъ, наконецъ выше всѣхъ красивые, изящные титаны во фракахъ съ задумчивымъ взоромъ и печатью генія на челѣ, — страдающіе, томящіеся, изнывающіе.

Теперь, когда лежатъ предъ нами сочиненія Ѳ. Рѣшетникова, безъ смѣха невозможно дѣлается вспомнить, какъ встарину изображались у насъ въ повѣстяхъ изъ народнаго быта сильныя натуры, топящія въ водкѣ свое горе. Такой герой не бралъ обыкновенно сначала въ ротъ ни капельки. Но вотъ онъ разочаровывался въ своихъ сосѣдяхъ, родныхъ, въ самомъ себѣ. Подъ гнетомъ отчаянія и мрачной злобы, въ одинъ прекрасный или чаще всего ненастный вечеръ онъ приходилъ, ни слова не говоря, въ кабакъ, и долго сидѣлъ тамъ въ печальномъ раздумьѣ, положивъ голову на руки, къ великому изумленію цѣловальника и посѣтителей; потомъ требовалъ неожиданно цѣлый штофъ водки, залпомъ выпивалъ его — и въ одно мгновеніе изъ трезваго человѣка пре-

вращался въ горькую пьяницу. Послѣ того онъ почти уже не выходилъ изъ кабака, и черезъ нѣсколько времени авторъ разсказа встрѣчалъ его въ одномъ изъ заведеній обрюзгшаго, грязнаго, оборваннаго, пьющаго безъ конца и съ истерическими рыданіями, жалобами на весь міръ, онъ разсказывалъ автору исторію своей неудавшейся, заѣденной средою жизни. Я полагаю, что мнѣ не нужно указывать на такія повѣсти, гдѣ читатели найдутъ подобные эпизоды; ихъ такъ много, что безъ сомнѣнія каждому приходилось читать нѣчто подобное.

Точно такъ же глядѣли у насъ и на всевозможные скандалы въ жизни: покуситься на убійство, нанесеніе личнаго оскорбленія строптивому начальнику, сдѣлаться разбойникомъ, воромъ, измѣнить мужу или женѣ, убѣжать изъ дома и проч. — все это предполагалось удѣломъ однѣхъ только избранныхъ натуръ, и думали при этомъ, что остроги наполнены особенными избранниками судьбы, титанами, стоящими выше всѣхъ головою.

Въ настоящее время, казалось бы, намъ невозможно уже глядѣть на міръ съ такихъ романтическихъ точекъ зрѣнія. Мы имѣемъ позади себя цѣлую литературу, которая 10-ть лѣтъ уже проповѣдуетъ намъ міровоззрѣніе совершенно противоположное; мы читаемъ трактаты политико-экономическіе, статистическіе, физіологическіе—и въ нихъ постоянно имѣемъ дѣло не съ однѣми титаническими натурами, а съ массами обыкновенныхъ людей и съ природою человѣческою вообще. Всѣ положительныя науки вмѣстѣ убѣждаютъ насъ, что умственный и нравственный прогрессъ зависятъ не столько отъ возвышенныхъ стремленій и страданій отдѣльныхъ титаническихъ личностей, сколько отъ матеріальнаго благосостоянія массъ мелюзги. Простые факты наблюденія въ то же время убѣждаютъ насъ, что въ острогахъ сидятъ не однѣ титаническія натуры, а чаще всего люди весьма обыденные. И это весьма естественно: если преступленіе и можетъ быть объяснено иногда избыткомъ силъ, сдавленныхъ въ узкія рамки жизни, то часто оно происходитъ наоборотъ отъ недостатка силъ, при чемъ человѣкъ, покушающійся на преступленіе, и могъ бы найти иной, лучшій выходъ изъ запутанныхъ обстоятельствъ, но у него не хватаетъ ни знанія, чтобы сообразить этотъ выходъ, ни силъ, чтобы осуществить, и онъ

въ своемъ преступленіи является не активнымъ борцемъ, а напротивъ того, жалкою игрушкою въ рукахъ судьбы и людей. Статистика не даромъ сообщаетъ намъ, что количество преступленій зависитъ прямо отъ благосостоянія массы: въ мрачные годы нищеты и голода достаточно, чтобы отчаяніе и озлобленіе перешли за предѣлы терпѣнія, и самая дюжинная личность явится предъ вами трагическимъ героемъ.

Но на много-ли подвинули насъ науки, которыя мы нынѣ изучаемъ? Истые поклонники реализма, дѣйствительно ли мы такіе реалисты, какими воображаемъ себя? Увы, если мы взглянемъ повнимательнѣе, да посравнимъ прежнее съ настоящимъ, мы увидимъ, что и до сихъ поръ во многихъ отношеніяхъ мы продовольствуемся тѣми же заплеснѣлыми теорійками, какія унаслѣдовали отъ нашихъ дѣдовъ и отцовъ, и все остается въ томъ же видѣ, какъ было 30, 40 лѣтъ тому назадъ. До сихъ поръ огромное число нашихъ соотечественниковъ основываетъ свое міросозерцаніе на тѣхъ же возвышенныхъ чувствахъ народа, передъ которыми умилялись квасные патріоты 30-хъ годовъ, и употребляетъ эти чувства въ видѣ пугала для застращиванія всякаго, дерзающаго мыслить хоть сколько нибудь самостоятельно. До сихъ поръ всецѣло сохранилось пресловутое исканіе почвы и самобытной цивилизаціи и, увы, не на однѣхъ только сѣренькихъ страничкахъ убогенькой «Зари». А развѣ многіе и очень многіе не думаютъ до сихъ поръ, что только однимъ высшимъ натурамъ съ титаническими пошибами дано въ удѣлъ жаждать прогресса и питать разныя высшія стремленія, массы же обыкновеннаго люда ни къ чему болѣе неспособны, какъ пресмыкаться въ тинѣ животнаго прозябанія—и еслибы не титаны, то массамъ этимъ никогда и въ голову не пришло бы хоть сколько нибудь улучшить свою участь.

II.

Всѣ эти соображенія не слѣдуетъ намъ упускать изъ виду для того, чтобы передъ ними открылась лучшая сторона произведеній Ѳ. Рѣшетникова, сторона, составляющая оригинальность его таланта и несомнѣнную заслугу его въ литературѣ. Есть много писателей, стоящихъ неизмѣримо выше

Рѣшетникова по силѣ творчества, глубинѣ анализа, художественному мастерству и проч. Въ произведеніяхъ Рѣшетникова можно найти не мало существенныхъ недостатковъ, на которые мы въ своемъ мѣстѣ укажемъ; но я не знаю, много ли найдется у насъ писателей, которымъ до такой степени удалось бы отрѣшиться отъ всякой тѣни романтизма, какъ Рѣшетникову. Онъ вполнѣ понялъ, что жизнь народа есть жизнь не двухъ, трехъ титановъ, стоящихъ выше всѣхъ головою, а обыденныхъ смертныхъ, которыхъ миріады кишатъ повсюду, и реальный поэтъ, чтобы представить общій уровень жизни своего вѣка, долженъ обращать главное вниманіе на то, какъ живетъ, къ чему стремится именно эта пестрая, безразличная толпа, среди которой ничто особенно рѣзко и картинно не выдается, но общій итогъ трудовъ, интересовъ, радостей и страданій которой и есть именно итогъ жизни вѣка. Поэтому въ произведеніихъ Рѣшетникова вы не найдете героевъ, обладающихъ умомъ, очаровывающимъ и ослѣпляющимъ всѣхъ окружающихъ, съ мрачною думою на челѣ, съ титаническими силами, которымъ бы все покорялось, въ томъ числѣ и женщины, выведенныя авторомъ на сцену; не найдете вы и героинь, описаніемъ красоты которыхъ можно было бы наполнить цѣлыя страницы, окруженныхъ поклонниками, но готовыхъ возложить вѣнецъ только на главу героя не отъ міра сего; не найдете обольстительныхъ свиданій въ ночной тиши, трогательныхъ разлукъ вслѣдствіе взаимнаго разочарованія или же внезапно налетѣвшихъ сомнѣній въ возможности счастія на землѣ и т. п. Кто во всемъ этомъ исключительно видитъ поэзію, тому, конечно, произведенія Рѣшетникова покажутся крайне прозаичными. Помилуйте, въ его произведеніяхъ выводятся все кухарки, да дворники, семинаристы, да почтальоны, извощики, да бурлаки, мастеровые да фабричные. Пусть бы онъ и изъ этихъ людей выбралъ особенныя, избранныя натуры и показалъ бы намъ, напримѣръ, какого нибудь генія, который могъ бы сдѣлаться вторымъ Ломоносовымъ, а судьба судила ему мести дворъ; пусть бы представилъ намъ, какъ бьется этотъ Прометей, прикованный къ скалѣ, и заключилъ бы какимъ-нибудь эффектнымъ концомъ въ родѣ сумасшествія, пролитія крови, все бы ничего, а то его герои подъ рядъ люди самые обыденные изъ

обыденныхъ чернорабочихъ, которыхъ мы сотнями встрѣчаемъ ежедневно на улицѣ. Наконецъ, пусть бы онъ изображалъ и подобныхъ людей, но выставлялъ бы ихъ въ разныхъ комическихъ положеніяхъ вслѣдствіе ихъ крайняго невѣжества, несообразительности, глупости, пьянства; по крайней мѣрѣ мы смѣялись бы надъ уродами и дураками и хвалили автора за юморъ, а то и этого мы не находимъ у Рѣшетникова: серьезнымъ тономъ, какъ нѣчто весьма интересное, описываетъ онъ, какъ эти люди мѣняютъ мѣста, квартиры, голодаютъ, пьютъ водку, однимъ словомъ, чѣмъ ежедневно занимается чернь. А, мы понимаемъ: значитъ, онъ пишетъ въ духѣ фламандской школы—какъ въ старину писали картины голландскіе художники: нарисуютъ кабачокъ и нѣсколько толстыхъ голландцевъ съ трубочками, старушку, вдѣвающую нитку въ иголку—и дѣло съ концомъ.

Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ: Рѣшетниковъ изображаетъ обыденную жизнь обыкновенныхъ людей не такъ, спроста, безъ всякой цѣли. Всѣ произведенія его, начиная съ «Подлиповцевъ» и кончая романомъ «Гдѣ лучше»—проникнуты одною идеею. Рѣшетниковъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ старается представить основной принципъ, существенное стремленіе жизни народныхъ массъ. Этотъ принципъ, по его мнѣнію, заключается не въ чемъ другомъ, какъ во всеобщемъ стремленіи устроить свою жизнь во всѣхъ отношеніяхъ счастливо, пріобрѣсти для этого богачество и найти такое мѣсто на землѣ, гдѣ было бы жить лучше.

Какъ, и только-то? Неужели Рѣшетниковъ не имѣетъ ничего въ виду, какъ только убѣдить насъ въ такой простой истинѣ, которая конечно извѣстна каждому ребенку? Исписывать кипы бумаги и печатать томы для того, чтобы доказать, что рыба ищетъ, гдѣ глубже, а человѣкъ, гдѣ лучше,—это болѣе чѣмъ смѣшно,—это нахально, потому что авторъ считаетъ насъ конечно дураками, если думаетъ, что мы незнакомы съ такою прописною истиною! Что-жь дѣлать: истины великія и всеобъемлющія всегда кажутся намъ просты до наивности и удобопонятны чуть что не для груднаго ребенка, а между тѣмъ—постоянная судьба ихъ быть непонятыми и пренебреженными умными людьми. Если бы мы только дѣйствительно понимали и держали въ умѣ ту простую истину, что главный, основной законъ всякой человѣческой

жизни есть стремленіе къ лучшему, то развѣ помимо этого естественнаго стремленія мы могли бы допускать въ народѣ существованіе особенныхъ возвышенныхъ чувствъ, ради которыхъ онъ готовъ будто бы выдерживать всевозможныя тягости безъ надежды на улучшеніе своей участи, жертвовать благосостояніемъ и жизнію? А съ другой стороны, развѣ мы могли бы приходить въ уныніе и отчаянье, представляя себѣ, будто огромная масса людей лишена всякаго стремленія къ прогрессу, всякаго движенія къ своей жизни и обречена на мертвый застой? Всѣ такія мысли прямо обнаруживаютъ, что истина, которую мы готовы третировать, какъ азбучную, не только-что не усвоена нами, но совершенно чужда намъ, и Рѣшетникова рано еще обвинять въ томъ, будто свои произведенія онъ основалъ на всѣмъ извѣстныхъ и пошлыхъ трюизмахъ.

Правда, герои Рѣшетникова не имѣютъ и тѣни тѣхъ высшихъ умственныхъ и нравственныхъ потребностей, которыя мы усвоиваемъ въ нашемъ завидномъ развитіи; они ни о чемъ не думаютъ, какъ только о томъ, какъ бы пріобрѣсти кусокъ хлѣба хоть сколько-нибудь не черствый и не голодный,—однимъ словомъ, руководствуются въ своей жизни исключительно все такими побужденіями, какія мы съ нашего высока привыкли третировать, какъ низкія, мѣщанскія; но было бы совершенно ложно видѣть въ этихъ мѣщанскихъ побужденіяхъ признакъ застоя. Напротивъ того, мы видимъ въ нихъ непрестанное движеніе, полное такой желѣзной мощи и непреклонной энергіи, какимъ только можно объяснить себѣ, почему это движеніе не сломилось и не остановилось доселѣ, несмотря на то, что всѣ стремленія милліоновъ людей къ улучшенію своей участи ничего до сихъ поръ не встрѣчали, кромѣ неодолимыхъ преградъ,—и удивительный реалистъ Рѣшетниковъ въ томъ отношеніи, что представляя намъ подвиги дѣйствующихъ лицъ своихъ разсказовъ поистинѣ героическіе, онъ нисколько не ставитъ своихъ героевъ на пьедесталъ, не заставляетъ насъ смотрѣть на нихъ, какъ на необыкновенныя явленія жизни—напротивъ того: передъ нами являются, какъ мы сказали выше, люди самые обыденные, и въ нихъ Рѣшетниковъ, нисколько объ этомъ не помышляя, изображаетъ намъ поистинѣ титановъ, но титановъ совершенно особеннаго рода, не такихъ, которыхъ

мы привыкли видѣть въ романтическихъ мечтаніяхъ нашихъ беллетристовъ. Вы посмотрите, напримѣръ, на Палагею Прохоровну Горюнову, героиню романа «Гдѣ лучше». Что особеннаго, повидимому, находите вы вы ней? Ровно ничего, рѣзко выдающагося: заурядная работница, какихъ тысячи. Ни о чемъ другомъ не думаетъ она, какъ лишь бы найти трудъ, который сдѣлалъ бы жизнь ея хоть сколько-нибудь пріятною. Изъ-за этого она мѣняетъ мѣста, занятія, идетъ изъ города въ городъ, доходитъ до Петербурга. Опять-таки милліоны людей живутъ такимъ образомъ, ищутъ, домогаются, странствуютъ, и воксалы желѣзныхъ дорогъ тысячами извергаютъ подобныхъ людей въ шумныя улицы столицъ. Что-жь тутъ необыкновеннаго? Необыкновеннаго ничего нѣтъ,—но вдумайтесь, сколько поистинѣ героическаго скрывается въ этомъ обыкновенномъ. Развѣ ты, нѣжная барышня, воспитанная на булочкахъ да на сливочкахъ и потомъ развившая въ себѣ жажду высшаго прогресса, способна изъ-за своихъ возвышенныхъ стремленій пройти тысячи верстъ, какъ прошла Горюнова, неуклонно движимая такими побужденіями, на которыя мы привыкли смотрѣть, какъ на унижающія природу человѣка? Что же будутъ изъ подобныхъ людей, когда они додумаются до какихъ-нибудь положительныхъ общественныхъ стремленій? Очень можетъ быть, что нисколько не заботясь о разныхъ возвышенныхъ идеяхъ, изъ-за естественнаго желанія улучшить свое матеріальное благосостояніе,— они покажутъ намъ образчики такого общественнаго геройства, о которомъ и не снилось всѣмъ нашимъ эффектнымъ титанамъ въ духѣ романовъ Бажина и комп.

Посмотрите вы съ другой стороны, какую страшную трагедію раскрываетъ передъ вами Рѣшетниковъ въ участи своихъ героевъ. Какъ ни ужасно зрѣлище мучительной смерти борца за свои идеи, за правду, за стремленіе къ той или другой возвышенной цѣли, но когда вы смотрите на такое зрѣлище, у васъ невольно является мысль, что всѣ мученія выкупаются въ сердце героя сторицею сладкимъ сознаніемъ, что онъ могъ пойти или не пойти на мучительную смерть, и если пошелъ, то самъ избралъ этотъ исходъ, какъ наиболѣе сообразный съ свои убѣжденіями, что онъ умираетъ за благо ближнихъ, не измѣнивъ правдѣ, что его позорная смерть отзовется въ тысячи сердцахъ и придетъ время, когда люди,

позорящіе и мучащіе его, будутъ славить и превозносить его. Но чѣмъ выкупается та гибель, которая ежедневно постигаетъ тысячи безвѣстныхъ людей ни за что ни про что, и они сходятъ со сцены жизни, невѣдомые, неоплаканные? Здѣсь являются на сцену самыя элементарныя потребности, безъ которыхъ невозможно существованіе, такъ что и представиться не можетъ мысли о томъ, что человѣкъ могъ избрать своимъ удѣломъ гибель или не избрать. Здѣсь гибель неминуемая, безъисходная, угрожающая на каждомъ шагу и притомъ безъ цѣли, безъ смысла, ничѣмъ невыкупаемая, неоправдываемая. Влачить ежедневно самое ужасное существованіе, въ какомъ нибудь подвалѣ, не допивать, не доѣдать, не знать, что будетъ завтра, попадешь-ли въ часть, помрешь-ли съ голоду или въ больницѣ,—неужели можетъ быть что нибудь трагичнѣе этого положенія? Здѣсь трагедія является не исходомъ роковой борьбы, не катастрофою, а ежедневнымъ явленіемъ жизни человѣка. Вы посмотрите, напримѣръ, на мытарства Горюновой въ Петербургѣ. Обратите вниманіе на всѣ ея скитанія по съѣзжимъ дворамъ и улицамъ столицы, на всѣ тѣ страшные побои, униженія и страданія, которые перенесла эта молодая жизнь, стремящаяся развернуться? Для чего это все? Для того, чтобы едва только хоть сколько нибудь улыбнулись обстоятельства,—умереть безсмысленною смертію въ больницѣ! Почти ту же самую картину представляетъ жизнь Петра Ивановича Кузьмина въ повѣсти «Между людьми», хотя здѣсь герой взятъ изъ совершенно другой сферы, — именно чиновнаго пролетаріата: тоже стремленіе пробиться изъ-подъ гнета обстоятельствъ и устроить жизнь, хоть сколько нибудь улыбающуюся, и тотъ же печальный исходъ, еще болѣе мрачный и ужасный, чѣмъ гибель Горюновой!...

Нѣтъ ничего мудренаго, что при такой жизни, какую принуждены вести герои Рѣшетникова, водка является единственнымъ утѣшеніемъ, заставляющимъ забывать и холодъ продрогнувшихъ, истощенныхъ членовъ, и ѣдкое горе вѣчныхъ неудачъ, лишеній и униженій всякаго рода. Герои Рѣшетникова сплошь и рядомъ спиваются и гибнутъ отъ пьянства; но удивительный въ этомъ отношеніи знатокъ жизни и человѣческой природы Рѣшетниковъ. Ни въ одномъ разсказѣ его вы не найдете ни малѣйшей тѣни мелодрама-

тизма въ этомъ отношеніи. Онъ очень хорошо понимаетъ, что если и бываютъ случаи, что человѣкъ, неберущій въ ротъ ни капли, вдругъ запиваетъ въ порывѣ отчаянія, то такіе случаи чрезвычайно рѣдки, исключительны; при всей ихъ эффектности, они далеко не представляютъ собою той мрачной и ужасающей картины пьянства, которую мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ въ жизни народа. Какъ истинно реальный поэтъ, заботящійся, чтобы произведенія его были не одною кунсткамерою, т.-е. собраніемъ необычайныхъ рѣдкостей, а изображали бы явленія жизни общія и встрѣчающіяся заурядъ, Рѣшетниковъ обращаетъ главное вниманіе на то, какъ обыкновенно спиваются люди — и здѣсь передъ нами развертывается картина неизмѣримо драматичнѣе, чѣмъ всевозможные эффектные случаи внезапнаго запоя. Ужаснѣе всего здѣсь то, что спивающійся человѣкъ имѣетъ дѣло съ такимъ врагомъ, котораго самъ не замѣчаетъ. Пьянство является коварною змѣею, которая тихо и незамѣтно вкрадывается въ природу человѣка. Сначала человѣкъ пьетъ, какъ и всѣ другіе, ни меньше, ни больше, смотритъ на это, какъ на развлеченіе, полезную необходимость, нисколько не считая себя пьяницею. Но вотъ обстоятельства его дѣлаются хуже; на сердцѣ скребутъ кошки; куда ни взглянетъ бѣднякъ—кисло, мрачно, непріязненно смотритъ на него будничная обстановка жизни, а въ кабакѣ веселье, пѣсни и послѣ штофа-другаго море по колѣно — разомъ можно почувствовать себя богатыремъ, способнымъ сжать весь міръ въ кулакъ; поэтому чаще и чаще начинаетъ бѣднякъ направляться къ кабаку. Но все-таки онъ не считаетъ себя пьяницею—онъ развлекается, веселится; въ то же время мечтаетъ, можетъ быть, о томъ, какъ поправятся его обстоятельства, какую трезвую, трудовую жизнь поведетъ онъ тогда. Но съ которыхъ же поръ считать ему себя пьяницею, гдѣ положить границу и сказать: вотъ мѣсяцъ тому назадъ, я хоть и напивался, но пьяницей еще не былъ, а теперь я уже пьяница? Какой физіологъ опредѣлитъ, съ которыхъ поръ въ какой натурѣ водка перестаетъ уже быть однимъ только минутнымъ психическимъ стремленіемъ забыться, а дѣлается уже болѣзненною потребностью природы? Поэтому человѣкъ очень часто, сдѣлавшись уже горькою пьяницею, нисколько объ этомъ не думаетъ, и только тогда приходитъ

къ печальному сознанію, когда нѣтъ уже болѣе никакого выхода, и пьянство давно обратилось въ потребность организма. Такъ, напримѣръ, спился вышеупомянутый Кузьминъ во время своихъ мытарствъ въ столицѣ. Нетолько самъ онъ, но и вы, перелистывая страницу за страницей, не можете отдать себѣ отчета, съ которыхъ поръ считать Кузьмина пьяницей; вы видите только, что съ каждой неудачей, по мѣрѣ того, какъ положеніе его дѣлается хуже и хуже, онъ все чаще и чаще начинаетъ выпивать и подъ конецъ повѣсти является передъ вами полнѣйшимъ уже завсегдатаемъ кабаковъ, потѣшающимъ пьяный народъ игрою на гитарѣ. Но и въ такомъ даже состояніи онъ не сознаетъ, что онъ пьяница съ горя и не строитъ какихъ-либо мелодраматическихъ позъ по этому случаю.

«—Опять я живу, говоритъ онъ съ Гаврилой Матвѣичемъ,—и продаю я вещи днемъ, по вечерамъ шляюсь по кабакамъ и смотрю народъ. А для чего... дуракъ.

— Странно, что я нынѣ съ двухъ стакановъ хмѣлѣю. Ахъ, еслибы на родину уѣхать. А кашель душитъ...

Видите, какъ онъ безсознательно относится къ своему пьянству: въ кабаки онъ ходитъ для того, чтобы смотрѣть народъ, и сѣтуетъ только на безцѣльность этого; въ то же время удивляется съ чисто-гигіенической точки зрѣнія, что онъ началъ хмѣлѣть съ двухъ стакановъ.

Почтальонъ изъ семинаристовъ, Макся, спивается еще проще, чѣмъ Кузьминъ. Здѣсь пьянство развивается не вслѣдствіе острыхъ ударовъ судьбы и прямыхъ сознательныхъ огорченій, а такой обстановки жизни, при которой человѣку ничего болѣе не остается, какъ пить и пить. Макся служилъ сначала разносчикомъ писемъ по городу, потомъ состоялъ при конторѣ, парень былъ расторопный, усердный, почтмейстеръ хотѣлъ-было сдѣлать его начальникомъ станціи, но по проискамъ старшаго почтальона его разжаловали въ разъѣздъ съ почтами. Макся не только не огорчился отъ такого разжалованья, но былъ ему очень радъ.

Максѣ давно хотѣлось ѣздить съ почтой, но его не пускали сначала потому, что онъ служилъ недавно, а потомъ занимался постоянно въ конторѣ и носилъ по городу письма. Почтальоны говорили Максѣ, что съ почтой ѣздить хорошо разъ пять, десять, и то въ хорошее время; но проѣздивши

разъ двадцать, не радъ будешь. Макся, какъ не ѣздившій никогда съ почтами, а ѣздившій нѣсколько сотъ верстъ съ настоятелемъ, не вѣрилъ, что почтальоны говорятъ дѣло.

— Вотъ ужъ мнѣ такъ не надоѣстъ ѣздить съ почтами, говорилъ онъ.

— Не хвались, прежде Богу помолись.

— Ну, не отговаривайте.

— Попробуй разъ десять съѣздить—не то скажешь.

— Ладно.

Макся очень обрадовался, когда ему объявили, что онъ ѣдетъ съ первоотходящей почтой...»

Но не долго продолжалась эта радость.

«Ѣзда ему опротивила съ седьмаго раза: опротивѣли ему ухабы, чемоданы, морозы, вѣтры, ямщики, и многое, многое опротивѣло Максѣ до того, что онъ сталъ проклинать и дороги, и почты. Чѣмъ больше онъ ѣздилъ, тѣмъ больше ему стала надоѣдать почта.

«Макся самъ не могъ понять, отчего ему спится дорогой? Лишь только завалится онъ на чемоданы, проѣдетъ верстъ пять, и спитъ. И славно ему спится: снятся ему только конторы, да служащіе почты, да гиканье ямщиковъ, и что онъ далеко куда-то ѣдетъ... И бурлитъ Макся со сна, ворчитъ что-то несвязно, только голову стряхиваетъ направо и налѣво, то объ накладку ударится, то она съ сумы скатится на суму, которая на груди у Макси. Макся не чувствуетъ боли, только слюни текутъ по губамъ. А ямщикамъ завидно:

— Благая же это жизнь почтальонамъ: только ткнется въ сани или телѣгу, и дрыхнетъ всю дорогу.

Хорошо казалось Максѣ спать съ почтой, и ругался же онъ, когда его будили на станціяхъ. Но и на станціяхъ онъ спалъ. Сдастъ дорожную писарю или ямщику, завалится на лавку и спитъ».

Ямщики очень часто жаловались Максѣ на свое житье-бытье.

«Жалко стало Максѣ ямщиковъ, и онъ полюбилъ ихъ до того, что угощалъ ихъ водкой, а тѣ угощали его. Сталъ Макся крѣпко попивать водку. Онъ уже зналъ всѣ села, деревни по той дорогѣ, по которой ѣздилъ, на разстояніи

шестисотъ верстъ и всѣ кабаки. Проѣдетъ отъ губернскаго пять или десять верстъ и встанетъ у деревни.

— Петруха, сходи-ка въ кабакъ.

— Ладно.

Сходитъ ямщикъ въ кабакъ; принесетъ ему косушку. Половину онъ выпьетъ, половину ямщикъ, а послѣ этого спитъ. Доѣдутъ до другой деревни, другой ямщикъ остановитъ лошадей и кричитъ ямщику Петрухѣ:

— Буди Максю-то.

— Ну?

— Вишь кабакъ.

— Ишь, дьяволъ! Захотѣлъ? и опять будятъ Максю. Такъ Макся и сбился съ толку до того, что въ пятый мѣсяцъ постоянно пріѣзжалъ съ почтой пьяный даже въ губернскую контору. А одинъ разъ и саблю потерялъ дорогой. Такъ и сталъ ѣздить безъ сабли.

Почтмейстеръ узналъ, что Макся пьянствуетъ, и рѣшилъ гонять Максю постоянно съ почтой. Макся сдѣлался отчаяннымъ пьяницей, никуда негоднымъ почтальономъ».

Но всего трагичнѣе въ жизни героевъ Рѣшетникова то, что при всѣхъ бѣдствіяхъ, которыя имъ приходится вытерпливать, вы не видите въ нихъ и слѣда какой-либо общественности. Каждый заботится объ улучшеніи своей участи самъ по себѣ; нѣтъ ни малѣйшаго сознанія въ людяхъ о томъ, что стремиться къ личному благосостоянію гораздо успѣшнѣе и легче сообща, и отдѣльная личность при такихъ условіяхъ является совершенно изолированною, брошенною на произволъ судьбы безъ участія, безъ помощи.

— Што, говорятъ, Назарко тебя надулъ? спросилъ одинъ рабочій, обращаясь къ Горюнову, когда тотъ вошелъ въ кабакъ.

— А ты почему знаешь?

— Это не секретъ. Тутъ, братецъ, шило въ мѣшкѣ не утаишь. Што-жь ты теперь думаешь дѣлать?

— Подожду еще недѣлю, тогда...

— Тогда онъ и скажетъ: покорно благодаримъ: за даромъ-де служили нашей милости.

— Хоть ты и заводскій человѣкъ, а практики у тебя ни на грошъ нѣтъ!

— Чего ты толкуешь? Какую такую ты еще механику выдумалъ? прокричалъ другой рабочій.

— Уговорить другихъ: не хотимъ-де за эту цѣну робить.

— Дуракъ! Да онъ тебя прогонитъ. Разѣ мало нашего брата, что безъ работы шляются? Разѣ нынѣ мало развелось нищихъ?

— А отчего? Оттого, что мы сами плохи.

— Какъ?

— А такъ. Нѣту у насъ согласія. Такъ-ту мы по отдѣльности тараторимъ, а сбери насъ всѣхъ, и сало во рту застыло.

Народъ загалдѣлъ.

— Коснись дѣло до тебя, ты первый лыжи дашь!

— Что-жь, мнѣ одному въ петлю лѣзть? Одинъ въ полѣ не воинъ. А вотъ мы даже на счетъ платы не можемъ сговориться! Што сказано въ положеньи-то: рабочіе должны выбирать старостъ, а гдѣ они старосты?

— Поди-ка сунься!

— Нѣтъ, можно-бы собраться хоть сотнѣ другой и выбрать припаснаго смотрителя...

Што ты толкуешь, братецъ, выбрать... Тебя еще вѣрно не дирали хорошенько-то. Помнишь-ли ты прошлогоднее дѣло?

— А кто имъ велѣлъ барки рубить, муку топить?

— Такъ и слѣдовало!

— Вовсе не такъ. Собраться всѣмъ селомъ къ управляющему и требовать платы.

«Эти разсужденія продолжались долго и росписывать ихъ нѣтъ никакой надобности, потому что они рѣшительно не приводили рабочихъ ни къ какой цѣли. Дѣло въ томъ, что согласія между рабочими не существовало, потому что они работали на разныхъ варницахъ, принадлежащихъ разнымъ господамъ, и жили дружно только съ тѣми, которые работаютъ съ ними вмѣстѣ и которые горой стоятъ за товарища. А такъ-какъ на однихъ промыслахъ было нѣсколько лучше другихъ промысловъ, и требованія первыхъ были больше послѣднихъ, то послѣдніе, завидуя первымъ, были недовольны ими, говоря, что они заботятся больше о себѣ, чѣмъ о товарищахъ, только работающихъ отъ нихъ отдѣльно. Кромѣ этого, одни изъ рабочихъ были слишкомъ робки; они привыкли сносить все терпѣливо, и если у нихъ спрашивали мнѣнія, то они, наученные опытомъ, ничего не могли посовѣтовать, находя всѣ толки безполезными; другіе старались какъ нибудь поддѣлаться къ какому нибудь мелкому началь-

нику изъ-за личной выгоды; третьи, поправившись немного выгодною женитьбою, только въ своей компаніи были бойки. Молодежь была, конечно, смѣлѣе, ей бояться было нечего; но такъ-какъ она не могла обходиться безъ любви, увлекалась дѣвушками и женщинами, то и отъ нея, то-есть отъ всей сельской молодежи, нечего было добиваться единодушія, если одна половина ея ревновала другую къ предметамъ своей любви. При этомъ надо еще взять во вниманіе то, что рабочіе живутъ въ селѣ, въ нѣсколькихъ улицахъ или порядкахъ, носящихъ названія, соотвѣтственныя или мѣстности, или какой нибудь личности, или данныя какому нибудь событію, въ которыхъ православные смѣшиваются съ единовѣрцами и отчаянными раскольниками, которые только въ частности заботятся о себѣ, о своихъ родныхъ и партіяхъ. Поэтому, еслибы и пришлось потребовать голоса отъ всѣхъ рабочихъ всего села, то разноголосица вышла бы большая, и у начальства недоставало бы терпѣнія выслушать мнѣніе каждой партіи, каждаго промысла еще и потому, что это начальство дѣлилось на нѣсколькихъ лицъ, изъ коихъ каждое оберегало свой постъ, защищая интересы своего хозяина, враждебно относясь къ другому лицу.»

Вся эта разъединенность представляетъ очень печальное явленіе въ нашей русской жизни; но не будемъ спѣшить приписывать ее однимъ простымъ и темнымъ людямъ, объясняя ее исключительно невѣжествомъ, отсутствіемъ сознательной мысли, которая могла бы сплачивать отдѣльные, разрозненные элементы народа въ одно общественное цѣлое. Кромѣ этого, по всей вѣроятности, существуютъ и другія причины, которые одинаково вліяютъ, какъ на массы народа, такъ и на цивилизованные верхи, которые, при всемъ своемъ умственномъ развитіи, при всемъ своемъ сознаніи общественныхъ нуждъ и потребностей, представляютъ такую же картину. Въ этомъ отношеніи мы, не смотря на всю нашу образованность, не далеко ушли отъ народа—и до сихъ поръ еще насъ раздробляютъ до безконечности не столько какіе-либо общественные, философскіе, литературные принципы, сколько чисто личныя, мелочныя дрязги—изъ-за грошевыхъ разсчетовъ, обиженнаго самолюбія и т. п., и долго еще, должно быть, намъ не додуматься ни до какой солидарности.

III.

Вся эта характеристика достаточно показываетъ, что Рѣшетниковъ предпринялъ немаловажную задачу для своей литературной дѣятельности: отрѣшиться совершенно отъ всякаго романтизма, наблюдать простую, обыденную жизнь такъ, какъ она течетъ вокругъ насъ, не украшая ее, не идеализируя, не выбирая изъ нея однѣ рѣдкости — но въ то же время и не ограничиваясь однимъ поверхностнымъ изображеніемъ повседневныхъ сценъ въ духѣ натуральной школы, а проникая въ ея существенныя сокровенныя пружины, раскрывая передъ нами всю ея трагическую глубину.—Задачу эту мало назвать важною, это—задача вѣка, и еслибы Рѣшетникову удалось ее разрѣшить, онъ сдѣлался бы однимъ изъ передовыхъ и замѣчательныхъ дѣятелей нашей литературы. Но, удалось-ли Рѣшетникову сколько нибудь справиться съ этою задачею и постигъ ли онъ всю великую важность ея, — это другой вопросъ, и объ этомъ мы теперь поговоримъ.

Трудность этой задачи обнаруживается изъ того, что всѣ почти литературы европейскаго материка, несмотря на все стремленіе къ реализму, до сихъ поръ не успѣли еще отдѣлаться вполнѣ отъ значительной доли романтизма, какъ въ выборѣ сюжетовъ, такъ и въ обработкѣ ихъ.—Возьмите вы корифеевъ западно-европейскихъ литературъ—Жоржъ-Занда, Виктора Гюго, Шпильгагена, Ауербаха,—всѣ они до сихъ поръ выѣзжаютъ на титаническихъ личностяхъ, избранныхъ натурахъ, необыкновенныхъ умахъ и красотахъ, эффектныхъ, чувствительныхъ и патетическихъ сценахъ, и у всѣхъ у нихъ обыденная жизнь обыкновенныхъ людей является на заднемъ планѣ въ видѣ фона, на которомъ рисуются необыкновенные герои.—Только одинъ Шатріанъ вполнѣ всталъ на реальную почву:—на первомъ планѣ стоятъ у него по большей части простые смертные, не смотря на то, что онъ выбираетъ для своихъ сюжетовъ самые великіе и роковые моменты исторической жизни своего отечества; его занимаетъ болѣе всего то, какъ въ эти моменты дѣйствовали и проявляли себя массы обыденнаго люда, какими бичами отражались на ихъ плечахъ подвиги разныхъ великихъ героевъ, воспѣтыхъ роман-

тическими поэтами, какъ изъ будничной жизни мелкаго труда они выходили, исполненные энтузіазма, на историческую арену—и вы видите, читая эти разсказы, что для того, чтобы проникаться гражданскимъ мужествомъ, и совершать подвиги геройства — вовсе не нужно непремѣнно имѣть особенные титаническіе задатки — простые лекаря, зубодеры, кузнецы, крестьяне, мастеровые являются у Шатріана героями, готовыми на всякое самопожертвованіе. Замѣчательное въ этомъ отношеніи зрѣлище представляетъ англійская литература. Давно ли она стояла въ Европѣ во главѣ романтическаго движенія въ литературѣ—въ лицѣ Байрона, который подчинилъ своему вліянію всѣ европейскія литературы? Въ то время казалось, что безъ татаническихъ личностей не можетъ обойтись ни одно поэтическое произведеніе, что изображеніе грандіозныхъ явленій природы и жизни человѣческой только и достойно изображенія. Надо было ожидать, что Англія, какъ страна аристократическая, позже всѣхъ разстанется съ романтизмомъ, такъ-какъ романтизмъ есть прямое чадо феодализма, и нигдѣ онъ такъ долго не застаивается, какъ въ аристократическихъ сферахъ общества,—а между тѣмъ случилось совершенно наоборотъ: англійская литература раньше всѣхъ другихъ очистилась отъ романтизма. Возьмите вы большинство современныхъ англійскихъ романистовъ, —возьмите вы любой англійскій романъ: вы найдете, правда, во многихъ изъ нихъ запутанную, иногда довольно искусственно построенную интригу, — но рядомъ съ этимъ передъ вами встанетъ самая обыденная жизнь англичанъ: вы встрѣтите много весьма симпатичныхъ, во всѣхъ отношеніяхъ прекрасныхъ личностей, но всѣ эти личности такъ просты и обыкновенны, точно будто вы видите передъ собою вашихъ добрыхъ знакомыхъ безъ малѣйшей тѣни ходульности, претензіи на неудавшуюся геніальность и величественный плачъ о скверн нахъ міра сего. Этотъ плачъ принадлежитъ обыкновенно самому автору и открывается передъ вами или въ оплакиваніи отдѣльныхъ личностей и формъ жизни, или въ цѣломъ сюжетѣ романа, имѣющимъ цѣлію выставить ту или другую общественную несправедливость и показать, какъ отъ нея страдаютъ массы обыкновенныхъ людей различныхъ классовъ и сословій.

Нѣтъ ничего мудренаго, что европейскія литературы до

сихъ поръ не могутъ отрѣшиться вполнѣ отъ романтизма. Кромѣ исторической рутины, это обусловливается трудностью самой задачи. Казалось бы на первый взглядъ, что гораздо легче изображать обыденную жизнь, окружающую васъ, къ которой вы присмотрѣлись, чѣмъ различныя рѣдкія, величественныя явленія; но на дѣлѣ выходитъ наоборотъ: гораздо легче вывести на сцену необыкновенную личность и обставить ее эффектными сценами, чѣмъ обрисовывать какъ слѣдуетъ любаго Ивана и Петра. Въ первомъ случаѣ въ читателѣ возбуждается интересъ помимо художественности автора самою внѣшнею эффектностью образа; а съ другой стороны читателю такъ рѣдко приходится въ дѣйствительности встрѣчаться съ необыкновенными явленіями, что ему трудно бываетъ убѣдиться, вѣренъ ли писатель дѣйствительности, и самое грубое, топорное, сшитое на живую нитку изображеніе можетъ легко сойти съ рукъ. Совсѣмъ другое дѣло съ Иванами и Петрами. Иваны и Петры—не выражаютъ въ длинныхъ, патетическихъ монологахъ своихъ чувствъ и страданій; какія нибудь трагическія катастрофы случаются съ ними рѣдко—извольте теперь выбрать изо всей ихъ жизни такія рѣдкія отрывочныя слова, такія движенія, такіе моменты, въ которые жизнь этихъ людей освѣтилась бы передъ вами во всемъ ея драматизмѣ, да съумѣйте это такъ сдѣлать, чтобы пронять читателя, иначе страшно скучно будетъ читать ваше произведеніе, исполненное будничныхъ сценъ и лицъ; притомъ же Боже васъ сохрани допустить въ изображеніяхъ вашихъ малѣйшую фальшь,—читатель тотчасъ же ее откроетъ, потому что его не проведешь, онъ самъ живетъ тою жизнію, какую вы передъ нимъ изображаете, и хорошо ее прочувствовалъ собственною грудью. Вслѣдствіе всего этого естественно, для изображенія жизни обыкновенныхъ людей требуется отъ писателя неизмѣримо болѣе наблюдательности, анализа и тщательной художественной отдѣлки, чѣмъ для обрисовки какихъ вамъ угодно титаническихъ личностей и загадочныхъ натуръ.

Но беретъ ли Рѣшетниковъ въ разсчетъ всю трудность своей задачи? Понимаетъ ли онъ, что̀ ему нужно преодолѣть, чтобы выполнить ее хоть сколько нибудь добросовѣстно? Повидимому, онъ не только не понимаетъ, но пренебрегаетъ всѣмъ этимъ самымъ упорнымъ образомъ. Судя по характеру

и пріемамъ его способа изложенія, онъ держится такого взгляда, что лишь бы была разсказана правда жизни, а какъ она разсказана, это все равно, — правда сама за себя постоитъ; заботиться же объ особенной художественной отдѣлкѣ своего произведенія,—дѣло совершенно излишнее и пустое.

Очень понятно, откуда проистекаетъ такой взглядъ. Было время, когда на всякую художественность смотрѣли чуть ли какъ не на преступленіе или, по крайней мѣрѣ, какъ на величайшую пошлость, какую только можно себѣ представить. Такой взглядъ оправдывался вполнѣ тѣмъ, что́ понималось въ то время подъ художественностью. Понимали-же подъ нею нѣчто такое, что дѣйствительно было и пошло, и пусто, и безсодержательно. Отъ произведенія требовалось, чтобы оно непрестанно щекотало нервы читателя, возбуждая въ немъ такъ называемый эстетическій восторгъ разными наркотическими снадобьями въ родѣ описанія всевозможныхъ красотъ, начиная съ красотъ природы и кончая красотами ланитъ и персей. Съ какою цѣлію искусство должно было производить подобное щекотанье и возбужденье — спрашивать объ этомъ считалось лишнимъ, и отвѣтъ былъ одинъ: искусство должно возбуждать эстетическій восторгъ не для инаго чего, какъ ради самаго эстетическаго восторга. Въ настоящее время вся эта теорія до такой степени успѣла опошлиться и разбиться въ дребезги, что смѣшно и ратовать противъ нея. Теперь рѣдко уже кто усомнится въ томъ, что искусство должно выставлять правду жизни съ цѣлію будить общественное сознаніе въ людяхъ, указывать имъ на общественные недостатки и цѣли, къ которымъ они должны стремиться.

Руководствуясь этою формулою, Рѣшетниковъ и думаетъ, что если онъ выводитъ правду въ своихъ произведеніяхъ, этимъ онъ вполнѣ исполняетъ свой долгъ и можетъ почивать на лаврахъ. Но такъ ли это? исчерпывается ли вполнѣ реальное и полезное искусство требованіемъ, чтобы писатель выводилъ въ своихъ произведеніяхъ правду жизни, или сверхъ этого отъ такого искусства требуется и нѣчто иное? Еслибы искусство вполнѣ исчерпывалось этимъ, въ такомъ случаѣ чѣмъ же бы отличалось оно отъ науки? Не только не отличалось бы, но любая наука вдесятеро могущественнѣе въ изображеніи правды, чѣмъ какое хотите геніальное искусство. Вы подумайте только о томъ, что одна

маленькая статистическая табличка можетъ не въ примѣръ яснѣе и больше сказать вамъ о нищетѣ и страданіяхъ бѣднаго класса, чѣмъ не только три тома сочиненій Рѣшетникова, но 20 томовъ прибавленные къ нимъ и занятые разсказами все о той же нищетѣ. Взявши это во вниманіе, остается сдѣлать простой логическій выводъ, что если искусство не имѣетъ никакой своей особенной цѣли кромѣ одинаковой съ наукою, въ такомъ скучаѣ вовсе не надо никакого искусства, и Рѣшетниковъ принесъ бы болѣе пользы, занявшись статистикою народныхъ бѣдствій, нежели безконечными описаніями ихъ.

Но искусство можетъ и должно имѣть свою особенную, спеціальную цѣль; въ силу ея оно только и можетъ быть полезно, только и можетъ имѣть право на существованіе.— Цѣль науки вполнѣ исчерпывается изысканіемъ истины: разъ ученый открылъ истину, онъ свое дѣло сдѣлалъ, и ему остается только изложить открытую имъ истину, чтобы сдѣлать ее общеизвѣстною. Но и отъ ученаго трактата мы вправѣ требовать, чтобы онъ обладалъ хорошимъ слогомъ, ясностью, пожалуй даже картинностью изложенія, однимъ словомъ, своего рода художественностью, и это требованіе не есть пустая прихоть: чѣмъ художественнѣе изложеніе, тѣмъ больше трактатъ найдетъ читателей, а съ другой стороны художественность изложенія ведетъ къ прямому выигрышу времени, такъ-какъ естественно больше времени нужно употребить на чтеніе сухаго и темно изложеннаго сочиненія, чѣмъ съ изложеніемъ яснымъ и художественнымъ.

Но въ жизни на каждомъ шагу встрѣчается потребность въ томъ, чтобы истину не только усвоили, но прониклись ею, возбудились до энтузіазма, измѣнили тѣ или другія дѣйствія свои подъ вліяніемъ ея, приступили какъ можно скорѣе къ тому или другому благому начинанію. Возьмите вы, напримѣръ, адвоката, защищающаго невиннаго. Цѣль его повидимому общая съ ученымъ: изложить истину; но этого одного ему недостаточно: онъ долженъ изложить ее такъ, чтобъ она врѣзалась въ сердца судей и присяжныхъ, чтобы они были потрясены ею и она овладѣла ими вполнѣ. Если послѣ рѣчи адвоката наступитъ гробовое молчаніе, на глазахъ у слушателей покажутся слезы, на лицахъ ужасъ и негодованіе, мы говоримъ, что адвокатъ достигъ своей цѣли.

Чѣмъ-же онъ достигъ ея, какъ не искусствомъ изложенія, какъ не художественностью рѣчи? Здѣсь художественность является во всемъ своемъ могуществѣ, не однимъ уже только средствомъ, облегчающимъ усвоеніе, но необходимымъ орудіемъ, безъ котораго адвокатъ все равно, что боецъ безъ шпаги.—Сухой, скучный ученый трактатъ, лишенный всякой художественности изложенія, еще можетъ быть прочтенъ и принести большую пользу въ силу истинъ, заключающихся въ немъ; но на какихъ бы глубокихъ истинахъ и неопровержимыхъ доказательствахъ ни основывалъ адвокатъ свою рѣчь, онъ не достигнетъ никакой цѣли, если слова его будутъ вязнуть въ зубахъ и сухость, монотонность, вялость рѣчи заставятъ слушателей заснуть, не дослушавши оратора.

Но что же такое реальный, полезный поэтъ, какъ не тотъ же ораторъ передъ своими читателями? Цѣль его не только изобразить правду жизни, но заставить ее почувствовать, проникнуться ею, любовью или ненавистью забиться сердце читателя. Если одна страница статистической таблицы можетъ сказать вамъ болѣе, чѣмъ нѣсколько томовъ поэтическихъ разсказовъ о томъ же предметѣ, то съ другой стороны подумайте и о томъ, что цѣлые томы ужасающихъ истинъ иногда свободно помѣщаются въ головѣ ученаго, нисколько не нарушая его олимпійскаго спокойствія, а маленькая пѣсенка, спѣтая хоромъ на улицѣ, можетъ потрясти его до мозга костей и заставить выбѣжать изъ дома.

Жизнь управляется не одними спокойными знаніями и холодными разсчетами; не надо забывать, что чувства и страсти—суть силы, служащія не менѣе могучими двигателями жизни, и пренебрегать ими не слѣдуетъ: если не направленныя знаніями, страсти дѣйствуютъ слѣпо, безпорядочно и часто совершенно безплодно, если не вредно, то съ другой стороны одни знанія безъ живыхъ страстей—все равно, что локомотивъ безъ пара.

Вотъ въ этомъ возбужденіи чувствъ и страстей и заключается своя особенная цѣль реальнаго искусства, отличающая его отъ науки.—И цѣль эта опредѣляется не одними только теоретическими, надуманными требованіями: о ней свидѣтельствуетъ намъ тотъ непосредственный инстинктъ, который заставляетъ человѣка, чуждаго всякихъ теоретическихъ взглядовъ, увлекаться однимъ произведеніемъ и отверты-

ваться отъ другаго. — Что восхищаетъ насъ въ самомъ геніальномъ произведеніи искусства? Не количество новыхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ писателемъ, а то впечатлѣніе, которое писатель производитъ на насъ, являясь въ своемъ твореніи защитникомъ или обвинителемъ тѣхъ или другихъ фактовъ жизни.—Чѣмъ сильнѣе это впечатлѣніе,—тѣмъ выше цѣнится произведеніе. — Что же касается фактовъ, сообщаемыхъ писателемъ, то здѣсь оцѣнка имѣетъ совершенно обратный характеръ: въ то время, какъ ученое сочиненіе вы не станете и читать, если оно не сообщаетъ вамъ ничего новаго и неизвѣстнаго для васъ, произведеніе же искусства, напротивъ того, интересуетъ васъ тѣмъ болѣе, чѣмъ знакомѣе вамъ изображаемая имъ дѣйствительность, чѣмъ ближе она стоитъ къ вамъ лично. Я полагаю, что еслибы вамъ сказали, что въ такомъ-то романѣ авторъ вывелъ вашу личность со всею вашею обстановкою и со всѣми вашими поступками, вы сейчасъ же набросились бы на этотъ романъ, и при самой незначительной долѣ таланта автора романъ произвелъ бы на васъ вдесятеро болѣе потрясающее впечатлѣніе, вы прочли бы его съ гораздо большимъ интересомъ, чѣмъ произведеніе геніальнаго поэта, изображающее чуждую вамъ дѣйствительность.

На этомъ основаніи реальный поэтъ для того, чтобы произведенія его были дѣйствительно полезны, не только не долженъ пренебрегать художественностью, но обязанъ подвергать свои произведенія вдесятеро болѣе тщательной художественной отдѣлкѣ, чѣмъ даже поэтъ, не думающій ни о чемъ, кромѣ одной художественности. Онъ не долженъ и воображать, что истина сама за себя постоитъ. Никогда она сама за себя не можетъ постоять, если произведеніе, въ которомъ она изображена, блѣдно, скучно, вяло и растянуто, и читатель, вмѣсто того, чтобы возбудиться и быть потрясеннымъ, вынесетъ одну усыпительную скуку и неудержимое желаніе уснуть надъ книгой. Пусть не забываетъ реальный поэтъ, что если онъ берется быть обвинителемъ однихъ, и защитникомъ другихъ, въ такомъ случаѣ онъ долженъ стремиться быть такимъ адвокатомъ, чтобы каждое слово его, какъ огнемъ, жгло сердце читателя, а какъ же онъ можетъ достигнуть этого, если не позаботится употребить въ дѣло всѣ средства рѣчи, всю силу своей фантазіи? Онъ не дол-

женъ пренебрегать даже мелочами, деталями внѣшней отдѣлки, помня, что все то, что дѣлаетъ его произведеніе болѣе гладкимъ, удобочитаемымъ, болѣе легкимъ для воспріятія и удержанія въ памяти — все это въ значительной степени усиливаетъ дѣйствіе произведенія на читателя и увеличиваетъ его значеніе. Здѣсь художественность является уже не прихотью, не растлѣвающимъ услажденіемъ, а могучею силою, которая должна быть направлена художникомъ на пользу своихъ соотечественниковъ. Умѣнье владѣть ею и направлять ее на благо и составляетъ гражданское дѣло поэта. Художникъ же, пренебрегающій художественностью, этимъ самымъ пренебрегаетъ своимъ гражданскимъ долгомъ.

Посмотрите теперь, какъ мало заботится Рѣшетниковъ о томъ, чтобы производить на читателей сильное и глубокое впечатлѣніе своими повѣстями. Начнемъ съ внѣшней стороны его разсказовъ. Во-первыхъ, онъ нисколько не старается обрисовывать выводимыя имъ личности какъ можно рельефнѣе и типичнѣе, чтобы онѣ рѣзко, дагеротипно выдавались изъ страницъ разсказовъ и неотразимо запечатлѣвались въ нашемъ мозгу. Кромѣ только Горюновой, попа Знаменскаго и нѣкоторыхъ другихъ, всѣ почти личности обрисованы блѣдно, неопредѣленно; онѣ какъ-то сливаются всѣ вмѣстѣ, и не оставляютъ послѣ себя никакого слѣда, такъ что вы забываете ихъ тотчасъ же по прочтеніи разсказа. Требованіе, чтобы писатель заботился о типичности и рельефности выводимыхъ личностей, можетъ съ перваго взгзяда показаться излишнею роскошью съ точки зрѣнія полезности искусства. Но это не такъ: вы не забывайте, что Рѣшетниковъ, описывая бѣдствія и страданія своихъ героевъ, хочетъ возбудить въ насъ живое участіе къ нимъ. Но при этомъ вы подумайте о постоянномъ совпаденіи двухъ слѣдующихъ психическихъ процессовъ: 1) по мѣрѣ того, какъ мы ближе и ближе знакомимся въ жизни съ какою-нибудь личностью, эта личность, бывшая сначала неопредѣленною и туманною въ нашихъ глазахъ, получаетъ все болѣе и болѣе опредѣленности, выдѣляется передъ нами со всѣми своими типическими свойствами и личными особенностями, и 2) вмѣстѣ съ этимъ возрастаетъ участіе наше къ этой личности. Эти два процесса до такой степени сходятся, что можно положительно измѣрять степень участія степенью знакомства

нашего съ личностью. На этомъ основаніи, какое бы участіе ни возбуждали въ насъ страданія или катастрофа, постигшія незнакомца, оно ничто передъ тѣмъ, какъ если несчастный рисуется передъ нами во всѣхъ своихъ особенностяхъ. Вслѣдствіе этого и происходитъ то нерѣдкое явленіе, что, читая въ газетахъ описаніе какого-нибудь убійства, мы для возбужденія въ себѣ участія, принуждены бываемъ силою воображенія пополнять недостатокъ знакомства съ жертвою преступленія: мы начинаемъ представлять себѣ, какова эта жертва, что она могла дѣлать передъ тѣмъ, какъ надъ нею былъ занесенъ ножъ; какія связи, стремленія были у нея прерваны вмѣстѣ съ жизнію и проч. Теперь подумайте, что дѣлаетъ авторъ, когда онъ старается обрисовать передъ вами личность какъ можно болѣе типично? Онъ старается дать вамъ сразу то, что сами вы добываете долгимъ процессомъ знакомства съ человѣкомъ: поставить предъ вами личность такимъ образомъ, какъ будто вы давно уже знаете ее со всѣхъ сторонъ. Очевидно, что этимъ самымъ необходимо усиливается участіе ваше къ этой личности; вы начинаете интересоваться ея судьбою, жалѣть и плакать о ней, какъ о самомъ близкомъ вамъ человѣкѣ, котораго никогда забыть не въ состояніи. Это особенный фокусъ искусства, пренебрегать которымъ не долженъ поэтъ-утилитаристъ. Пусть онъ и не думаетъ поселить въ насъ особенно сильное участіе къ людскимъ страданіямъ или негодованіе къ различнымъ несправедливостямъ, если въ романѣ его вмѣсто живыхъ выдающихся личностей выводятся однѣ блѣдныя тѣни.

Съ другой стороны, Рѣшетниковъ нисколько не заботится о выработкѣ сюжета и плана разсказа, чтобы чтеніе не утомляло и не усыпляло читателя, а, напротивъ того, возбуждало постоянный интересъ, который увеличивался бы съ каждою страницей. Вмѣсто того, чтобы обращать главное вниманіе на болѣе характеристическіе и рѣшительные моменты жизни своихъ героевъ, и эти моменты развивать какъ можно полнѣе, мелкія же частности ежедневной жизни представлять въ рельефной, но по возможности сжатой картинѣ, Рѣшетниковъ ставитъ на одинъ планъ какъ самые драматическіе моменты, такъ и всѣ мелкія частности ежедневнаго быта; послѣднимъ посвящаетъ иногда даже болѣе развитія, чѣмъ первымъ, отягощаетъ черезъ это свои разсказы совер-

шенно излишними, ничего не прибавляющими къ картинѣ подробностями, длинными сухими описаніями, мелкими сценами, которыя кажутся вамъ тѣмъ болѣе блѣдны и скучны, что лица, дѣйствующія и говорящія въ нихъ, не имѣютъ той надлежащей рельефности, которая могла бы сдѣлать живою и увлекательною самую обыденную сцену. Вы посмотрите, напримѣръ, на вышеупомянутую повѣсть «Между людьми». Задуманъ сюжетъ превосходно; болѣе драматическаго сюжета трудно придумать. Но что́ сдѣлалъ Рѣшетниковъ съ нимъ? Вся повѣсть занимаетъ 269 страницъ компактной печати. Изъ нихъ 77 страницъ посвящено описанію дѣтства героя. Чѣмъ же особенно интересно оно, чтобы занимать треть всего разсказа? Это ужъ надо спросить у Рѣшетникова. Представьте вы себѣ дѣтство бѣднаго мальчика, племянника уѣзднаго почтоваго чиновника. Во всемъ этомъ періодѣ жизни Кузьмина выдаются только два эпизода: побѣгъ изъ семинаріи, и воровство газетъ изъ почтовой конторы. Писатель, заботящійся о выработкѣ сюжета, очевидно главное вниманіе свое обратилъ бы на развитіе этихъ двухъ эпизодовъ; въ нихъ однихъ отлично могло бы охарактеризоваться все дѣтство героя и вся его окружающая обстановка. Рѣшетниковъ же посвящаетъ этимъ эпизодамъ нѣсколько страничекъ, передавая ихъ въ сухомъ и сжатомъ разсказѣ; всѣ же 77 страницъ посвящены у него длиннымъ и до невѣроятности скучнымъ описаніемъ житья-бытья родственниковъ героя и жителей города, гдѣ происходило дѣйствіе: — тутъ вы находите описаніе того, какъ дядя ловилъ рыбу, какъ онъ училъ племянника грамотѣ, какъ онъ получилъ первый чинъ, что онъ при этомъ думалъ, что думала тетка, какъ герой занимался въ конторѣ и писалъ письма крестьянамъ и проч. Мнѣ кажется, что Рѣшетниковъ, еслибы только захотѣлъ приложить немного старанія, то у него вся первая часть разсказа занимала бы не болѣе 40 страницъ. На 5 страницахъ онъ могъ бы представить такую полную картину жизни захолустнаго городка, которая со всѣхъ сторонъ исчерпывала бы эту жизнь и избавляла бы его отъ всякихъ излишнихъ подробностей. Затѣмъ 35 страницъ представляли бы широкое поле для развитія двухъ вышеупомянутыхъ эпизодовъ, которые сами по себѣ еще полнѣе обрисовали бы жизнь почтовыхъ чиновниковъ въ про-

винціи. Я нисколько не отрицаю сценъ въ родѣ ловли рыбы или семейной пирушки по случаю полученія чина,—всѣ такія подробности придаютъ разсказу живость и рельефность,— но въ такомъ только случаѣ, когда писатель тѣсно и нераздѣльно соединяетъ ихъ съ самымъ развитіемъ эпизода, какъ это и дѣлаютъ англійскіе писатели: у нихъ герой ловитъ рыбу — и тутъ же съ нимъ что нибудь происходитъ, описывается домашняя пирушка и на ней же разыгрывается домашняя драма. У Рѣшетникова же — эпизоды сами по себѣ, а описаніе ловли рыбы или пирушки—сами по себѣ... и вся повѣсть, вмѣсто того, чтобы кипѣть дѣйствіемъ, получаетъ сухой, монотонный описательный характеръ. Мнѣ кажется, что въ этомъ отношеніи Рѣшетниковъ не совсѣмъ отрѣшился еще отъ нѣкоторыхъ остатковъ натуральной школы, которая стояла вполнѣ на почвѣ чистаго искусства. Иначе какъ же вы объясните обиліе у Рѣшетникова описательныхъ сценъ, неимѣющихъ никакой цѣли, кромѣ одного описанія ихъ. Но первая часть повѣсти читается все еще довольно сносно, какъ вслѣдствіе того, что читатель не успѣлъ еще освоиться съ обстановкою жизни героя, такъ и вслѣдствіе двухъ вышеупомянутыхъ эпизодовъ. Вторая же часть занимаетъ 126 страницъ, т. е. половину всей повѣсти, но въ ней безконечно тянется одна и та же канитель — описаніе того же житья-бытья дяди да тетки, родственниковъ да знакомыхъ, наконецъ службы героя сначала въ уѣздномъ судѣ, потомъ въ канцеляріи губернатора. Монотоннѣе, растянутѣе, суше и блѣднѣе всего этого разсказа трудно себѣ представить что нибудь. Если первая часть могла бы занимать 40 страницъ, то для второй части и 20 много. Только подъ конецъ этой второй части разсказъ немного оживляется отношеніями Кузнецова къ Ленѣ. Въ третьей части — герой ѣдетъ въ столицу наживаться. Здѣсь завязывается узелъ всей драмы; эта часть самая рѣшительная, на ней долженъ сосредоточиваться весь интересъ читателя, вся трагическая иллюзія — и что же? Она самая краткая — въ ней всего 55 страницъ. Но и на этихъ страницахъ вы встрѣтите много излишнихъ мелкихъ подробностей, растягивающихъ понапрасну разсказъ (напримѣръ, длинныя описанія, какъ авторъ искалъ квартиру, какъ онъ ночевалъ въ ней первую ночь, какія дрязги произошли между хозяйкою и

торговкою и проч.) Съ другой стороны слишкомъ много посвящено мѣста на описаніе опредѣленія героя на службу, отношеній его къ начальству и редакціи «Насѣкомой»—все это крайне стереотипно, давно уже до лохмотьевъ изношено нашею литературою, а потому блѣдно и вяло. Что же касается до самаго драматическаго момента жизни Кузьмина, когда онъ, совершенно затерянный въ омутѣ петербургской жизни, опускается въ самые бѣдные слои населенія—занимается продажею сапоговъ на толкучемъ и спивается—этому періоду жизни авторъ посвятилъ нѣсколько страничекъ сухаго, холоднаго разсказа. Чтó вышло изъ богатаго сюжета вслѣдствіе этого, трудно и выразить. Повѣсть, которая могла проникнуть читателю въ самое сердце и оставить навсегда тяжелое, мучительное впечатлѣніе, является, правда, мучительною, но совсѣмъ съ другой стороны, со стороны убійственной скуки, съ которою вы ее читаете. До какой степени Рѣшетниковъ мало дорожитъ тѣмъ, чтобы производить на читателей сильное и глубокое впечатлѣніе, это особенно ярко выставляется въ наиболѣе драматическихъ мѣстахъ его разсказовъ. Мы уже видѣли, какъ мало обратилъ онъ вниманія на самыя выдающіеся моменты жизни Кузьмина. То же самое мы находимъ и въ романѣ «Гдѣ лучше». Вспомните тотъ моментъ въ этомъ романѣ, гдѣ Горюнова, лишившись мѣста, проведя нѣсколько дней въ части, наконецъ, очутилась на улицѣ безъ пристанища, безъ денегъ, одна, среди чуждаго населенія столицы, подозрительно и непріязненно смотрѣвшаго на нее, какъ на бродягу. Вы подумайте только о томъ, что бы могъ сдѣлать художникъ изъ этой сцены отчужденія, отчаянія и голода. Онъ могъ бы нарисовать передъ вами такую страшную, мрачную картину, которая проняла бы васъ до костей — и никогда не забылась бы. Главное дѣло здѣсь не въ томъ, чтобы извѣстить читателя, какъ Горюнова шла изъ улицы въ улицу, ночью черезъ мостъ, какъ спала въ паркѣ, какъ у нея украли во время сна послѣднія копейки, какъ потомъ она просила милостыню и проч., — такіе факты для читателя не новость, и онъ можетъ представить ихъ себѣ тысячами: развѣ блѣдные, худые, оборванные люди не просятъ у него ежедневно Христа ради? Развѣ онъ никогда не видѣлъ ихъ спящими подъ заборами и въ канавахъ? Но знаетъ ли и отдаетъ ли себѣ

ясно отчетъ читатель въ томъ, что они чувствуютъ въ то время, когда они испытываютъ всевозможныя мытарства? Вотъ съ этимъ-то и долженъ познакомить писатель: онъ долженъ такъ живо изобразить холодъ, голодъ и отчаянье своихъ героевъ, чтобы читатель все это могъ прочувствовать, чтобы, несмотря на все тепло, сытость и довольство, ему самому сдѣлалось бы и холодно, и голодно, и гадко вмѣстѣ съ героями разсказа. Какъ достигнуть этого, избѣжавши въ то же время излишнихъ лирическихъ разглагольствованій, мелодраматизма и фальши—это задача и тайна, разрѣшить которую можетъ только истинный художникъ. Что же дѣлаетъ Рѣшетниковъ? Холодно, сухо, безучастно онъ передаетъ намъ факты скитаній Горюновой, словно какой нибудь дневникъ приключеній, и читатель относится къ этимъ страницамъ съ тѣмъ-же равнодушіемъ, съ какимъ просматриваютъ протоколъ какого-нибудь судебнаго засѣданія, въ которомъ какая бы страшная семейная драма ни развертывалась передъ вами, она излагается все однимъ и тѣмъ же сухимъ, сжатымъ и офиціальнымъ тономъ....

Таковъ Рѣшетниковъ и во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

1870 г.

ГЕРОИ ВѢЧНЫХЪ ОЖИДАНІЙ.

ГЕРОИ ВѢЧНЫХЪ ОЖИДАНІЙ.

(«Раворение», романъ Глѣба Успенскаго. Спб. 1871 г.)

I.

Всякая блаженная середина бываетъ пошла и всѣ ублюдки уродливы, но нѣтъ ничего безобразнѣе той помѣси эстетической критики съ тенденціозною, какая часто встрѣчается въ настоящее время въ нашей литературѣ то на столбцахъ газетъ, то на страницахъ журналовъ, а оттуда переходитъ въ салонную болтовню о литературныхъ новостяхъ. Пріемы этой критики весьма незамысловаты и изобрѣтены не ею, а достались ей по наслѣдству, потому что въ каждый вѣкъ существовала подобная междоумочная критика и употребляла одни и тѣ же неизмѣнныя правила: къ произведеніямъ общепризнанныхъ знаменитостей относись смѣло, восторгайся ихъ эстетическими красотами, силою художественнаго таланта, и, развѣ если они черезчуръ ужь плохи, то удивляйся, какъ такой высокій талантъ и т. д. Что же касается произведеній именъ новыхъ, непризнанныхъ и непопавшихъ еще въ литературную табель о рангахъ, то чтобы не попасться въ просакъ, избѣгай всякихъ рѣшительныхъ приговоровъ: можешь замѣтить въ произведеніи съ серьезнымъ тономъ знатока кое-какія достоинства, кое-какіе недостатки, поощрительно заявить, что авторъ подаетъ нѣкоторыя надежды, войти въ небольшое разсужденьице по поводу той или другой современной идейки; но главное заключается въ томъ, чтобы оставить для себя два выхода изъ

рецензіи, чтобы впослѣдствіи во всякомъ случаѣ можно было, опираясь на рецензію, сказать: мы говорили нѣкогда то и то, послѣдствія оправдали наши предположенія. Этому дорогому правилу, завѣщанному предками, держится и современная намъ междоумочная критика.

Что особенно подкупаетъ публику въ подобной критикѣ, такъ это то, что робко и уклончиво держась спасительной серединки, рецензенты всегда умѣютъ съ серьезнымъ тономъ знатоковъ выставить нѣсколько замѣчаній по поводу произведенія, повидимому, совершенно неопровержимыхъ. Откроетъ вамъ рецензентъ нѣсколько несомнѣнныхъ достоинствъ произведенія, и вамъ остается только удивляться его проницательности, такъ-какъ вы сами раньше рецензента обратили вниманіе на эти достоинства. Затѣмъ заявитъ онъ, что произведеніе выиграло бы, еслибы было менѣе растянуто, тотъ или другой характеръ былъ бы выдержанъ или выкинутъ изъ пьесы, какъ лишній, въ томъ или другомъ мѣстѣ не было бы напущено излишней темноты и проч.—и опять вамъ остается только соглашаться съ критикомъ и удивляться вѣрности и мѣткости его критическаго чутья. Въ заключеніе критикъ съ тономъ благороднаго либерала напускается на тѣ скверны жизни, какія изображены въ произведеніи, или, наконецъ, на самого автора за непохвальность его гражданскихъ чувствъ, — и вамъ остается только проникнуться глубокимъ уваженіемъ къ доблести вашего согражданина.

Но начните вглядываться въ цѣлый рядъ подобныхъ рецензій, вамъ представится странное зрѣлище: вы увидите, что произведенія самыхъ разнородныхъ писателей, если послѣдніе не имѣютъ еще счастія принадлежать къ общепризнаннымъ знаменитостямъ, ставятся рецензентомъ въ одинъ безразличный рядъ: Глѣбъ Успенскій, Николай Успенскій, Лейкинъ, Левитовъ, Омулевскій, Крестовскій (псевдонимъ), Кущевскій, — вы и не думайте ожидать, чтобы междоумочная критика установила бы вамъ какіе бы то ни было опредѣленные взгляды на всѣхъ этихъ писателей. Всѣ они поощряются по одной и той же мѣркѣ: во всѣхъ ихъ находятся свои несомнѣнныя достоинства, несомнѣнные недостатки и своя тенденція, которую слѣдуетъ одобрить или предать порицанію. Я убѣжденъ, что еслибы возсталъ изъ гроба самъ Шекспиръ и выпустилъ на свѣтъ комедію, конечно, въ духѣ на-

шего времени и подъ новымъ именемъ, междоумочная критика не замедлила бы отнестись къ нему съ тѣмъ же поощрительнымъ тономъ: замѣтила бы въ немъ нѣсколько несомнѣнныхъ достоинствъ, недостатковъ, — и пошелъ бы гулять онъ по свѣту на одномъ ряду съ Лейкинымъ, Александровымъ, Аверкіевымъ и прочими драматургами Александринки.

Это полнѣйшее отсутствіе всякаго критеріума въ междоумочной критикѣ отъ того именно и зависитъ, что она и отъ эстетическихъ принциповъ отстала, но и къ реальнымъ принципамъ не пристала. Съ одной стороны отыскиваніе эстетическихъ достоинствъ и недостатковъ въ произведеніи по мѣркамъ отжившей умозрительной эстетики прямо ведетъ къ тому, что не только произведенія новыхъ талантовъ, но и всѣ величайшіе памятники искусства, если не знать предварительно, что они величайшіе, можно поставить въ одинъ безразличный рядъ, потому что нѣтъ такого произведенія на свѣтѣ, въ которомъ, при мало-мальски тщательномъ анализѣ, вы не нашли бы рядомъ съ достоинствами своихъ недостатковъ. Эстетическая критика потому именно и пала, что она морочила людей на каждомъ шагу. Заблуждалась она и въ томъ отношеніи, будто образы искусства выше образовъ дѣйствительности, но еще болѣе заблуждалась она, воображая, что чѣмъ выше, геніальнѣе произведеніе, тѣмъ строже соблюдены въ немъ всѣ законы изящнаго, тѣмъ болѣе найдете вы въ немъ гармоническаго соотвѣтствія частей съ цѣлымъ, и что эти эстетическія совершенства могутъ служить вѣрнымъ мѣриломъ достоинства и высоты произведенія. Оказалось, что не только образы искусства не выше дѣйствительности, но что и съ формальной стороны искусство только стремится къ достиженію идеаловъ красоты и гармоніи, но такъ же рѣдко и случайно достигаетъ этихъ идеаловъ, какъ и все въ природѣ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ только въ небольшомъ, моментально вылившемся изъ души лирическомъ стихотвореніи поэтъ еще можетъ удовлетворить всѣмъ законамъ эстетики относительно симметріи, гармоніи частей съ цѣлымъ, единства, полноты и проч. Но чуть дѣло коснется мало-мальски крупнаго произведенія, для созданія котораго необходимъ годъ времени и болѣе, требованія эстетики становятся совершенно неисполнимыми. Поэтъ — существо живое, измѣняющееся; сегодня онъ уже не тотъ, чѣмъ

былъ вчера; на него постоянно дѣйствуютъ всевозможныя внѣшнія обстоятельства и ежеминутно измѣняютъ его настроеніе, мысли, планы. Можно ли послѣ этого ожидать, чтобы произведеніе его, писанное въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, или хотя бы и мѣсяцевъ, было гармоническимъ цѣлымъ? И дѣйствительно, мы видимъ, что почти всѣ крупныя произведенія поэзіи представляются не столько стройными, симметрическими храмами, сколько наслоеніями пластовъ внутренней жизни поэта, расположенными столь же неправильно со всевозможными покатостями, неровностями и кривизнами, какъ и геологическія формаціи. Нужно употребить неимовѣрное хитросплетеніе софистической діалектики, чтобы доказать, что та или другая драма Шекспира представляетъ единое цѣлое, въ которомъ будто бы нѣтъ ничего излишняго, ничего недосказаннаго, въ которомъ каждая часть служила бы для выраженія основной идеи произведенія, и и что въ драмѣ Шекспира не можетъ быть измѣнена или выброшена ни одна строчка безъ нарушенія гармоніи цѣлаго. О «Фаустѣ» Гёте, поэмахъ Байрона, «Евгеніи Онѣгинѣ» Пушкина и говорить нечего. Въ произведеніяхъ Гейне образы, чувства, идеи мелькаютъ передъ вами въ хаосѣ и съ прихотливостью сонныхъ грезъ, а «Мертвыя Души» Гоголя слѣдовало бы совершенно исключить изъ ряда изящныхъ произведеній. Не говоря ужь о томъ, что это произведеніе неоконченное, не говоря о томъ, что вторая часть его писана совершенно подъ инымъ настроеніемъ поэта, чѣмъ первая, вы не видите въ немъ рѣшительно ничего, что напоминало бы вамъ о гармоническомъ, замкнутомъ въ себѣ цѣломъ. Это галлерея портретовъ, повѣшенныхъ рядомъ, при чемъ каждый портретъ самъ по себѣ и для себя. Въ эту галлерею можно было бы вносить новые портреты; можно и уносить оттуда каждый въ отдѣльности; оставшіеся ни мало не потеряютъ, если ихъ товарищъ будетъ унесенъ; съ своей стороны ни мало не потеряетъ и унесенный товарищъ: глава о Плюшкинѣ, помѣщенная въ какой-нибудь христоматіи, представляется вамъ не безсвязнымъ отрывкомъ, а совершенно отдѣльнымъ произведеніемъ. Однимъ словомъ, еслибы эстетическая критика не была слѣпа, уклончива, а смѣло и послѣдовательно договорилась до конца, то ей пришлось бы, въ pendant своимъ противникамъ, отрицателямъ искус-

ства, которыхъ она нѣкогда обвиняла въ предпочтеніи сапоговъ Шекспиру, самой, въ свою очередь, предпочесть изящно сдѣланный подсвѣчникъ большинству великихъ произведеній поэзіи.

Но не въ состояніи будучи найти въ старой эстетикѣ никакого вѣрнаго критеріума для опредѣленія достоинства произведеній, междоумочная критика наша недалеко идетъ и по пути новыхъ, реальныхъ, принциповъ полезнаго искусства. Она ограничивается только указаніемъ на тенденцію и признаніемъ произведенія полезнымъ или вреднымъ по вѣрности тенденціи. Но надо ли много говорить о томъ, что и тенденціи не могутъ дать никакого вѣрнаго критеріума для оцѣнки относительнаго достоинства произведеній? Хорошо, если передъ вами два произведенія, изъ которыхъ въ одномъ проведена тенденція полезная, а въ другомъ, очевидно, ложная и вредная. Ну, а если вы натыкаетесь на два произведенія съ одинаково полезными тенденціями? Неужели оба одинаково полезны, потому что въ нихъ проведена одинаково полезная тенденція? Но почему же иное произведеніе подымаетъ въ васъ столько чувствъ и думъ, что не исчерпать ихъ цѣлыми томами критическихъ трактатовъ; а объ иномъ, при всей похвальности тенденцій, трудно бываетъ сказать нѣсколько словъ? Отъ этихъ вопросовъ междоумочная критика отдѣлывается обыкновенно нѣсколькими рутинными, стараго покроя фразами въ родѣ: такова сила художественнато таланта, тайна творчества, возведенія въ перлъ созданія и проч.

Всѣ эти мысли невольно пришли мнѣ въ голову, когда я читалъ «Разореніе», Г. Успенскаго. Вотъ ужь нѣсколько лѣтъ подвизается Г. Успенскій на литературномъ поприщѣ, но замѣтила ли наша междоумочная критика этотъ молодой и свѣжій талантъ, отличила ли отъ ряда другихъ талантовъ молодой школы, оцѣнила ли его по достоинству? Положимъ, что первые очерки Г. Успенскаго еще не могли обратить на него особеннаго вниманія критики, потому что это были нетвердые и неопредѣленные шаги начинающаго таланта, по которымъ трудно еще было судить, что изъ него выйдетъ и пойдетъ ли онъ дальше. Но вотъ передъ вами первое его крупное произведеніе, почти два года тому назадъ напечатанное на страницахъ нашего журнала. Это произведеніе

впервые обнаружило въ Г. Успенскомъ сильный самостоятельный талантъ, рѣшительно выходящій изъ ряда обыкновенныхъ и пролагающій свою собственную дорогу. Произведеніе Г. Успенскаго не напоминаетъ вамъ ничего, появлявшагося въ литературѣ прежде и послѣ. Отъ первой страницы и до послѣдней все въ немъ ново, свѣжо, оригинально. Обратила ли наша междоумочная критика вниманіе на эту отрадную и свѣтлую надежду нашей юной литературы и разъяснила ли, что именно заслуживаетъ особеннаго вниманія въ произведеніи Г. Успенскаго и чѣмъ этотъ талантъ отличается отъ массы всякаго рода писателей романовъ, повѣстей и очерковъ?.

Можно заранѣе предвидѣть, какъ отнеслась бы, если уже не отнеслась междоумочная критика къ произведенію Г. Успенскаго. Прежде всего она замѣтила бы, что «Разореніе» представляетъ первую попытку Г. Успенскаго отъ мелкихъ очерковъ провинціальной жизни перейти къ созданію романа, но что попытка эта, къ сожалѣнію, не удалась: вышелъ все-таки не романъ, а тотъ же рядъ очерковъ, связанныхъ вмѣстѣ на живую нитку. Довольно сказать, что въ романѣ вы видите полное отсутствіе всякаго сюжета; только въ концѣ уже его завязывается что-то въ родѣ сюжета, вертящагося около вопроса объ эманципаціи женщинъ отъ семейнаго деспотизма, но и этотъ сюжетъ прерывается въ самомъ началѣ развитія, оканчиваясь безобразною уличною сценою. Что же дѣлаютъ дѣйствующія лица романа Г. Успенскаго? А ничего не дѣлаютъ: спятъ, зѣваютъ и жалуются на томительную скуку, нагоняя еще болѣе томительную скуку на читателя. Но всего болѣе надоѣдаетъ вамъ въ романѣ главный ея герой, Михаилъ Ивановичъ, этотъ протестантъ изъ народа, выгнанный отовсюду фабричный «за бунты», какъ онъ выражается. Этотъ господинъ впродолженіе всего романа ничего не дѣлаетъ, какъ только шатается изъ мелочной лавочки въ кабакъ, отъ однихъ знакомыхъ къ другимъ,— и все жалуется и злится на «прижимку». Онъ весь исчерпывается передъ вами на двухъ, трехъ первыхъ страницахъ романа, но авторъ заставляетъ его стонать и жаловаться до послѣдней страницы; наконецъ, эти безконечныя жалобы героя, повидимому, надоѣли самому автору, и онъ прервалъ свой разсказъ, предвидя, что еслибы продолжалъ его долѣе,

то далѣе ему ничего не оставалось бы дѣлать, какъ приводить цѣлыя тирады сѣтованій своего героя. Къ этому надо прибавить нѣкоторую искусственность, съ которою Г. Успенскій мѣстами утрируетъ комизмъ своихъ героевъ, желая нагляднѣе выставить ихъ пошлость; мѣстами вы видите самаго автора, говорящаго устами своихъ героевъ. Такъ напримѣръ въ длинной тирадѣ Черемухина въ концѣ романа, такъ и видится вамъ въ каждомъ словѣ самъ авторъ, анализирующій этого Черемухина его же собственными устами. Эта тирада очень напоминаетъ вамъ тѣхъ дѣйствующихъ лицъ плохихъ комедій, которыя вдругъ, ни съ того, ни съ сего обращаются къ зрителямъ, о существованіи которыхъ они должны были бы не подозрѣвать, и начинаютъ разсказывать имъ о прежнихъ обстоятельствахъ своей жизни, чтобы уяснить зрителямъ сюжетъ комедіи. Точно также и Михаилъ Ивановичъ былъ бы естественнѣе, еслибы симпатіи, антипатіи и сѣтованія его авторъ съумѣлъ представить хотя бы и глубокими, мѣткими, но всетаки инстинктивными гаданіями человѣка темнаго, дошедшаго до всего путемъ личнаго опыта, непросвѣтленнаго зданіями. Михаилъ же Ивановичъ подчасъ такъ сознательно формулируетъ свое недовольство, будто онъ знакомъ со всѣми новѣйшими открытіями политической экономіи. Очевидно, что въ тирадѣ Михаила Ивановича на половину высказывается передъ вами самъ авторъ.

По при всѣхъ этихъ недостаткахъ, замѣтила бы далѣе междоумочная критика, вы видите мѣстами въ произведеніи Г. Успенскаго задатки сильнаго и недюжиннаго юмора. Вы найдете въ романѣ Г. Успенскаго страницы, которыя могли бы быть украшеніемъ любаго романа Диккенса. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ припомнить только въ романѣ Г. Успенскаго картину гнѣзда взяточниковъ, раззоренныхъ новѣйшими реформами и умирающихъ на развалинахъ прежней веселой жизни. Ужасенъ видъ этого опустѣлаго, заброшеннаго жилища, исполненнаго плесени, духоты и одуряющаго запаха ладона. Эта тупоумная старуха-бабка, помѣшанная на стяжаніи и которая, еле дыша и умирая, все продолжаетъ шептать съ жадностію: «въ карманъ-то, въ карманъ-то норови», этотъ параличный хозяинъ, надъ головою котораго сынъ разражается проклятіями; эта хозяйка, которая чуть не ежедневно соборуется въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, а послѣ от-

ходной быстро вскакиваетъ съ постели и ругается на всю улицу съ водовозомъ или съ мужемъ; наконецъ, этотъ умирающій молодой музыкальный талантъ, забитый, запуганный домашнимъ гнетомъ, вообразившій, что онъ виновенъ въ непочтеніи къ родителямъ, къ самому Богу, за то, что игралъ подъ воскресенья и двунадесятые праздники, обвѣсившій стѣны своей коморки лубочными картинками, изображающими смерть съ косой, адъ, геенну, страшный судъ, лежащій, обернувшись къ стѣнѣ, не говорящій ни съ кѣмъ ни слова и ожидающій смерти и всякихъ ужасовъ,—все это вмѣстѣ во всѣхъ своихъ пооробностяхъ представляетъ потрясающее дѣйствіе. Отъ подобной картины не отказался бы лучшій юмористъ въ Европѣ.

Только жалко, прибавила бы ко всему этому междоумочная критика, что Г. Успенскій не всегда употребляетъ свой юморъ тамъ, гдѣ онъ нуженъ, что онъ расточаетъ его безъ мѣры и подвергаетъ ему такія вещи, передъ которыми каждый истинно-прогрессивный писатель долженъ останавливаться съ уваженіемъ. Такъ, напримѣръ, наши земскія и мировыя учрежденія, составляющія высшую степень современнаго россійскаго прогресса и въ которыхъ таится драгоцѣнный залогъ всего нашего будущаго, очевидно должны возбуждать въ писателяхъ скорѣе чувство восторга, располагающаго къ одописанію, чѣмъ побужденіе къ смѣху и сатирѣ. Когда авторъ заставилъ свою героиню Наденьку познакомиться съ семействомъ Шапкина, мы надѣялись, что въ лицѣ Шапкина онъ изобразитъ намъ положительный типъ современной русской доблести въ лицѣ либеральнаго дѣятеля по мировымъ учрежденіямъ, высоко парящаго надъ всею окружающею его пошлостью и распространяющаго вокругъ себя свѣтъ, торжество правды, законности и уваженія къ порядку; но авторъ не замедлилъ пролить свой юморъ даже и на эту свѣтлую сторону нашей жизни, изобразивши засѣданіе мироваго съѣзда съ тѣмъ же смѣхомъ сквозь слезы, какъ и какое нибудь гнѣздо отжившихъ взяточниковъ. Это непочтительное отношеніе къ драгоцѣнному залогу показываетъ въ авторѣ наклонность къ отрицанію ради отрицанія, и авторъ, самъ не замѣчая того, подаетъ руку тѣмъ врагамъ прогресса, которые рады въ нашихъ земскихъ и мировыхъ учрежденіяхъ отыскивать всевозможные недостатки.

Вотъ и все, что можетъ сказать или уже сказала о произведеніи Г. Успенскаго междоумочная критика. Все это можно было бы развить гораздо болѣе, на десяткахъ страницъ, привести множество цитатъ изъ романа для подтвержденія всѣхъ вышеизложенныхъ мнѣній, и я убѣжденъ, публика осталась бы вполнѣ довольна критикой, даже можетъ быть болѣе, чѣмъ она останется довольна тою критикою, какую встрѣтитъ на слѣдующихъ страницахъ; по прочтеніи подобной критики, какому нибудь салонному говоруну можно было бы вдосталь посмѣяться надъ тѣмъ, что наши юные литераторы до сихъ поръ не выучились составлять сюжетовъ, заставляютъ мужиковъ говорить чуть что не цитатами изъ Прудона, и что вотъ до чего дошло наше поколѣніе: отрицаетъ даже такія благодѣтельныя учрежденія нашего времени, какъ гласный судъ и земскія собранія. Болѣе благосклонные къ юному поколѣнію, можетъ быть, заинтересовались бы прочесть «Разореніе», если еще не читали; прочитавши, замѣтили бы, что, да, дѣйствительно, молодой авторъ не безъ таланта; юморъ его мѣстами задоренъ, но все это еще такъ молодо и незрѣло, хотя и подаетъ кое-какія надежды. Вотъ и все, къ чему могла-бы привести подобная критика. А между тѣмъ, это все не даетъ и тѣни понятія объ истинномъ значеніи и достоинствѣ произведенія Г. Успенскаго. Какъ бы ни были велики эстетическіе недостатки «Разоренія», но въ немъ схвачены такіе существенные и общіе мотивы современной намъ жизни, которые наводятъ васъ на множество тяжелыхъ и грустныхъ размышленій. Чтобы оцѣнить по достоинству произведеніе Г. Успенскаго, критика должна указать, въ чемъ заключается умѣнье автора схватывать общіе мотивы нашей современной жизни, какіе именно мотивы схвачены въ романѣ Г. Успенскаго, и какое дѣйствіе производятъ они на читателя, на какія мысли наталкиваютъ его. Но для всего этого нужно установить особенный критеріумъ, такъ-какъ вышеупомянутые критеріумы не могутъ дать обо всемъ этомъ и приблизительнаго понятія.

II.

Актъ творчества можетъ быть раздѣленъ на два совершенно различные и даже противоположные момента: мо-

ментъ образованія поэтическихъ образовъ, и моментъ, въ который готовые уже образы овладѣваютъ поэтомъ и возбуждаютъ его къ воспроизведенію ихъ въ формахъ искусства. Умозрительная эстетика имѣла постоянно дѣло только съ послѣднимъ моментомъ, которому придавала самое главное значеніе, который и считала собственно поэтическимъ творчествомъ. Что же касается до образованія поэтическихъ образовъ, то на этотъ моментъ она смотрѣла, какъ на непостижимую тайну поэтическаго творчества, предполагая, что поэтическіе образы создаются какъ-то вдругъ, моментально, во всей своей величинѣ, въ экстазѣ поэтическаго ясновидѣнія.

А между тѣмъ, въ сущности этотъ первый моментъ поэтическаго творчества длится неизмѣримо долѣе втораго; онъ представляетъ вовсе не взрывъ экстаза, а медленное и постепенное, продолжающееся день за денъ, годъ за годъ развитіе различныхъ умственныхъ комбинацій. Этотъ первый моментъ составляетъ самую главную и существенную часть поэтическаго творчества. Можно сказать даже, что отъ него зависитъ почти все. Между тѣмъ, новѣйшія психологическія изысканія пролили такой уже свѣтъ на всѣ наши мозговые процессы, что этотъ первый моментъ творчества уже не составляетъ болѣе непостижимой тайны.

Новѣйшая психологія учитъ насъ, что въ основѣ всѣхъ умственныхъ отправленій лежитъ индукція, то-есть сведеніе въ нашемъ умѣ отдѣльныхъ представленій къ общимъ образамъ, категоріямъ, идеямъ. Если таково существенное свойство нашего ума, то неужели одно поэтическое творчество изъято изъ этого закона нашей психической жизни и имѣетъ свои особенные законы? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Образованіе поэтическихъ образовъ совершается по тѣмъ же законамъ индукціи. Поэтъ приходитъ къ своимъ созданіямъ такимъ же медленнымъ путемъ изученія и обобщенія, какъ и ученый къ своимъ открытіямъ, Этимъ обусловливается и достоинство произведеній искусства. Въ области науки мы ставимъ низко компиляцію, пережевывающую добытыя уже и всѣмъ извѣстныя мысли, какъ бы хорошо ни была эта компиляція изложена; съ другой стороны, мы тѣмъ выше ставимъ ученый трактатъ, чѣмъ больше находимъ въ немъ новыхъ открытій и чѣмъ важнѣе тѣ обобщенія, къ которымъ приводитъ насъ ученый. Но не тоже ли самое наблюдается

нами и въ лицѣ искусства? Что дѣлаетъ произведеніе особенно цѣннымъ въ глазахъ нашихъ, какъ не новыя открытія и обобщенія, къ которымъ приходитъ поэтъ — путемъ изученія окружающей его жизни? Почему мы низко цѣнимъ подражательныя произведенія, сколько бы ни доставляли они намъ эстетическаго наслажденія? Потому что одно эстетическое наслажденіе никогда не удовлетворяетъ насъ; мы постоянно ищемъ въ произведеніи новыхъ итоговъ и обобщеній нашей жизни; подражательный же поэтъ — тотъ же компиляторъ, пересказывающій намъ то, что уже добыто и повѣдано намъ другими.

Нельзя сказать, чтобы старая эстетика и критика, основанная на ней, вполнѣ игнорировали бы этотъ законъ поэтическаго творчества. Онѣ часто говорили намъ о томъ, что одного таланта мало для произведенія мало-мальски порядочныхъ произведеній, что творить изъ ничего нашъ умъ не можетъ, что поэтъ долженъ наблюдать и изучать окружающую его жизнь. Но старая эстетика ограничивалась этими общими фразами, не разъясняя ихъ, не доводя ихъ до сознательнаго и ясно формулированнаго критеріума, а напротивъ того, тотчасъ же переходила къ радикальнымъ противорѣчіямъ съ этими положеніями, начиная говорить о поэтическомъ чутьѣ, предвидѣніи, ясновидѣніи и проч. Этого мало сказать, что поэтъ долженъ изучать жизнь. Нужно изслѣдовать различныя степени и способы изученія жизни—и затѣмъ опредѣлить, какъ отражаются они на поэтическихъ созданіяхъ, дѣлая ихъ выше или ниже.

Индукція вовсе не есть результатъ развитія, принадлежность однихъ умовъ, обогащенныхъ всевозможными знаніями. Это такое же существенное свойство человѣческаго ума, каково, напримѣръ, свойство желудка переваривать пищу. Желудку все равно, чтобы въ него ни положили: опустите въ него одну крошку хлѣба, онъ начнетъ уже свою работу, проглотите кусокъ камня, онъ будетъ стараться переработать и его, не заботясь о результатахъ. Точно такъ же дѣйствуетъ и нашъ мозгъ. Какъ только онъ получилъ два, три представленія, онъ тотчасъ пытается выжать изъ нихъ обобщенія, и ему все равно, каковы эти представленія и каковы выйдутъ изъ нихъ обобщенія. По мѣрѣ того, какъ количество представленій, увеличивается, умъ доходитъ до сознанія не-

состоятельности прежнихъ обобщеній, являются на ихъ мѣстѣ новыя, болѣе широкія и основательныя. Этимъ обусловливаются всѣ фазы развитія человѣческаго ума, всѣ ошибки и заблужденія вѣковъ, отъ которыхъ человѣчество медленно освобождается съ расширеніемъ знаній. Такъ напримѣръ, даже такое, повидимому, дѣло чистой фантазіи, какъ миѳологія, есть не что иное, какъ одна изъ первыхъ ступеней индукціи. На этой ступени люди, наблюдая окружающій ихъ міръ, приравниваютъ къ себѣ, обобщаютъ съ собою все имѣющее движеніе, производящее то или другое дѣйствіе, и приходятъ къ заключенію, что всѣ подобные предметы въ природѣ такія же живыя существа, какъ и человѣкъ. При большей же степени развитія люди убѣждаются, что предметы матеріальной природы не живыя существа; тогда они начинаютъ дедуктивно приписывать движеніе этихъ предметовъ человѣкообразнымъ существамъ, управляющимъ міромъ. Сравнивая дѣйствія силъ природы съ своими дѣйствіями, люди приходятъ къ тому выводу, что существа, управляющія міромъ, неизмѣримо колоссальнѣе, сильнѣе, могущественнѣе людей. Здѣсь начинаетъ уже работать фантазія; но мы видѣли, что толчкомъ къ ней все-таки послужила индукція, да и самая фантазія, создающая миѳологію, работаетъ чисто-индуктивнымъ путемъ: люди обобщаютъ характеры и качества своего племени въ типы и затѣмъ приравниваютъ эти типы къ различнымъ силамъ природы, смотря по тому, какое впечатлѣніе производитъ на нихъ то или другое явленіе; такимъ образомъ и выходитъ всегда, что въ богѣ грома олицетворяется типъ скоропреходящаго гнѣва, богъ солнца является красавцемъ, пребывающимъ въ вѣчно-свѣтломъ, сіяющемъ настроеніи духа и пр.

Теперь мы посмотримъ, какъ дѣйствуетъ индукція творчества въ развитіи отдѣльнаго человѣка, обладающаго поэтическимъ талантомъ. Человѣкъ этотъ живетъ въ своемъ дѣтствѣ обыкновенно въ весьма ограниченной для его грузозора средѣ—семьи и школы. Нѣсколько человѣкъ родныхъ, нѣсколько знакомыхъ, приходящихъ въ домъ отца, прислуга, да десятокъ, другой товарищей, изъ которыхъ болѣе близкихъ къ юношѣ—много пять, шесть человѣкъ. Однимъ словомъ, не наберется и 20 человѣкъ, которые служатъ матеріаломъ для первыхъ обобщеній юноши, да къ тому эти люди по

большей части скрываютъ отъ него существеннѣйшія явленія своей жизни. Но за то ближе всего, въ полной откровенности стоитъ передъ юношею онъ самъ, и онъ можетъ наблюдать сколько угодно явленія своей молодой, бьющей ключомъ жизни.

Какъ только въ умѣ юноши сложатся нѣсколько образовъ и типовъ изъ этого маленькаго мірка, тотчасъ же въ немъ является потребность воспроизводить эти образы, творить; рядомъ съ этимъ дѣйствуетъ, конечно, возбудительно и заразительно чтеніе изящныхъ произведеній. Юноша обыкновенно подражаетъ любимымъ поэтамъ; но если у него есть хоть маленькій зародышъ самостоятельнаго творчества, онъ не ограничивается однимъ рабскимъ подраженіемъ, а пытается пустить въ дѣло и свой маленькій запасецъ первыхъ обобщеній. При этомъ онъ поступаетъ совершенно такъ же, какъ и дикари на степени антропоморфизма: онъ приравниваетъ весь міръ къ самому себѣ и тому маленькому мірку, который окружаетъ его: какъ бы онъ ни пытался отрѣшиться отъ этого міра въ сферу и обстановку иной жизни, иныхъ людей, онъ непремѣнно изобразитъ на первомъ планѣ самаго себя, своихъ двухъ, трехъ товарищей; мать героя будетъ похожа на его собственную мать, дѣтство героя онъ наполнитъ впечатлѣніями своего собственнаго дѣтства; явится въ его разсказѣ слуга, онъ будетъ непремѣнно похожъ на того Ивана или Павла, который ему примелькался въ дѣтствѣ. Вотъ почему всѣ юныя произведенія писателей бываютъ особенно дороги для ихъ біографовъ, проливая много свѣту на дѣтство и юность писателей.

По мѣрѣ того, какъ юноша вступаетъ въ жизнь, раздвигается передъ нимъ кругозоръ его наблюденій, вмѣстѣ съ тѣмъ становятся разнообразнѣе и общѣе его поэтическіе образы. Онъ создаетъ типы различныхъ сословій и состояній, помѣщиковъ, крестьянъ, ученыхъ и пр. Вмѣстѣ съ тѣмъ. начинаетъ проникать въ тѣ общіе мотивы жизни, которые принадлежатъ множеству людей.

При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе на два совершенно различные склада жизни писателей. Писатель можетъ всю жизнь провести въ какой-нибудь тѣсной сословной средѣ, и даже въ этой средѣ въ небольшомъ кружкѣ знакомыхъ. Очевидно, такая жизнь не замедлитъ произвести свое влія-

ніе на его творчество. Обобщенія его будутъ частны, узки; самое большее, до чего онъ достигнетъ, будетъ развѣ то, что ему удастся схватить кое-какіе типы другихъ сословій и круговъ жизни съ чисто внѣшней стороны. Изъ общихъ же мотивовъ жизни онъ схватитъ только мотивы своей среды; обо всемъ, что выходитъ изъ этой среды, онъ будетъ судить гадательно, гипотетически и всюду онъ будетъ совать тѣ самые мотивы, какіе ему удалось подмѣтить въ своей средѣ.

Но поэтъ можетъ жить жизнью, исполненною самыхъ разнообразныхъ приключеній и столкновеній съ разнородными слоями общества; въ то же время передъ нимъ можетъ разыгрываться какая нибудь общественная драма, историческое движеніе, въ которомъ принимаютъ дѣятельное участіе массы всякаго народа, и прислушиваясь къ говору этихъ массъ, поэтъ знакомится съ мотивами жизни всевозможныхъ круговъ. Сначала типы и жизнь различныхъ слоевъ общества представляются ему только въ своихъ отличительныхъ чертахъ, неимѣющихъ повидимому ничего общаго между собою и часто совершенно противоположныхъ: тряпичники, роющіеся въ навозѣ и собирающіе разбитыя банки, и вельможи, рѣшающіе судьбы міра—кажутся ему словно существами различныхъ породъ животныхъ. Но мало по малу онъ начинаетъ находить общее въ жизни самыхъ противоположныхъ слоевъ общества, подмѣчать такіе существенные мотивы жизни, которые общи цѣлому народу, вѣку или даже всему человѣчеству. Степени подобныхъ обобщеній бываютъ различны, завися, какъ отъ круга наблюденій поэта, такъ и отъ способности обобщенія, и отъ этихъ степеней только однѣхъ и зависитъ достоинство произведенія писателя. Писателя, умѣвшаго схватить общенародные типы и мотивы, мы ставимъ и цѣнимъ всегда неизмѣримо выше писателей, невыходящихъ изъ сословной сферы; въ свою очередь еще выше ставимъ мы поэтовъ общечеловѣческихъ мотивовъ. Послѣднихъ очень немного, и только ихъ произведенія никогда не теряютъ своего интереса и пользы, и очень понятно почему: когда вы читаете произведеніе писателя, невыходящаго изъ круга частныхъ обобщеній, то, какъ бы глубоко ни проникались вы образами поэта, они все-таки остаются болѣе или менѣе чужды вамъ, если только вы сами не принадлежите къ кругу жизни, хорошо изученному поэтомъ; вы проникаетесь жало-

стью, негодованіемъ къ героямъ произведенія, завидуете имъ или чувствуете свое превосходство надъ ними,—но все-таки чувствуете вмѣстѣ съ тѣмъ, что смотрите на нихъ со стороны; когда же вы читаете произведеніе, схватывающее общечеловѣческіе мотивы жизни, то, хотя бы авторъ изображалъ передъ вами совершенно чуждую вамъ жизнь, онъ и въ этой жизни покажетъ вамъ нѣчто принадлежащее вамъ самимъ, и глубоко взволнуетъ васъ, затронувши ваши личные интересы, мечты, желанія, стремленія и пр.

Всѣ эти теоретическія положенія вполнѣ подтверждаются историческими наблюденіями. Перечтите біографіи всевозможныхъ писателей, вы не найдете ни одного, который бы, живя въ тѣсномъ, замкнутомъ кругу, написалъ бы что либо истинно великое. Напротивъ того, мы видимъ, что всѣ общечеловѣческіе поэты,—начиная съ Эсхила и кончая Байрономъ—жили весьма разнообразною жизнью; они были или тружениками, пробивающимися изъ нищеты и мрака, или скитальцами, изгнанниками, не говоря о томъ, что почти всѣ они являлись въ эпохи наиболѣе напряженнаго пульса общественной жизни, въ которой сами принимали непосредственное участіе и наблюдая ее ужь никакъ не изъ своего кабинета, не по газетамъ и реляціямъ.

Понятно послѣ этого становится и то, почему у насъ не можетъ явиться ни одного писателя, котораго можно было бы поставить на одну высоту съ Шекспиромъ или Байрономъ. До сихъ поръ всю вину въ этомъ исключительно сваливали на необразованность нашихъ поэтовъ и утѣшали насъ обыкновенно тѣмъ, что погодите, молъ, вотъ мы сравняемся съ Европой и даже опередимъ ее, тогда и у насъ будутъ свои Гете и Сервантесы. Но при этомъ вы примите только то въ соображеніе, что хотя у насъ и мало писателей вполнѣ образованныхъ, тѣмъ не менѣе, если вы возьмете русскаго писателя даже самаго необразованнаго, и онъ окажется образованнѣе Софокла, просто уже потому, что живетъ въ XIX столѣтіи послѣ Р. Х., тогда какъ Софоклъ жилъ въ V столѣтіи до Р. Х., когда люди не имѣли еще никакихъ опредѣленныхъ понятій о томъ, какія страны лежатъ далѣе бассейна Средиземнаго моря, думали, что солнце ѣздитъ по небу на колесницѣ Аполлона и злая мойра управляетъ судьбою людей; а между тѣмъ въ тотъ вѣкъ всеобщаго невѣжества—

могъ развиться Софоклъ, тогда какъ у насъ не можетъ произвести Софокла никакое общеевропейское блестящее образованіе. Очевидно, что причины этого нужно искать отнюдь не въ отсталости нашей отъ Европы, а въ чемъ-то другомъ. Въ чемъ же именно? Всѣ вышеприведенныя данныя могутъ дать прямой и ясный отвѣтъ.

Страна удивительныхъ противорѣчій — наше отечество отличается тѣмъ отъ многихъ странъ Европы, что нигдѣ сословныя перегородки такъ не слабы и не шатки, какъ у насъ: мы можемъ похвастаться, что въ настоящее время у насъ почти нѣтъ сословій, которыя спорили бы между собою о правѣ существованія и боролись не на животъ, а на смерть. Но если мы не имѣемъ четырехъ западныхъ сословій, за то у насъ можно насчитать тысячи всевозможныхъ сословій, которыя дѣйствительно не борятся между собой, потому что не хотятъ и знать другъ друга. У насъ, что занятіе, что ремесло, то и свое собственное сословіе, и каждое сословіе отдѣлено другъ отъ друга китайскою стѣною. Да мало еще этого: у насъ люди, получающіе въ годъ 5.000 рублей доходу, только и знаютъ людей, получающихъ столько же; людей же съ 1.000 рублей они уже чуждаются, какъ плебеевъ, а на людей съ 10.000 рублей смотрятъ уже издали, зная, что тѣ не допустятъ ихъ въ свою кампанію, какъ въ свою очередь плебеевъ. При подобныхъ условіяхъ мы всѣ живемъ въ тѣсныхъ замкнутыхъ кружкахъ, считая только свой кружокъ за людей, единственно полезныхъ въ мірѣ, только свою профессію достойною занятія порядочнаго человѣка; на всѣхъ же остальныхъ ближнихъ мы косимся и отстраняемся отъ нихъ въ ужасѣ, какъ бы боясь, чтобы одно прикосновеніе къ нимъ не лишило насъ нашей невинности. Каждый кружокъ у насъ имѣетъ свое особенное прозябаніе, питается своими иллюзіями, создаетъ даже свой особенный языкъ, понятный только для членовъ кружка. Оттого у насъ и случается зачастую, что иной кружокъ, живя въ тѣсной замкнутости и не зная о томъ, что дѣлается за его стѣнами, унесется въ своей иллюзіи въ такія импиреи и выкинетъ вдругъ такое колѣнце на удивленіе всему свѣту, что не въ силахъ отдать себѣ отчета, что побудило людей дойти до подобнаго увлеченія, не зная тѣхъ путей, какими мысли эти людей додумались до чортиковъ,

вы чувствуете себя словно въ какомъ-то бедламѣ и видите людей окончательно поврежденныхъ.

Теперь подумайте, гдѣ же нашимъ писателямъ доходить до такихъ общечеловѣческихъ обобщеній, которыя могли бы поставить ихъ на одну высоту съ Шекспиромъ или Сервантесомъ? Гдѣ же у насъ такая общественная жизнь, такое всемірно-историческое движеніе, которое приводило бы въ столкновеніе и выдвигало бы наружу существенныя стороны людей различныхъ состояній и доставляло бы поэту обильный матеріалъ для наблюденій и обобщеній? Прозябая въ тѣсныхъ, замкнутыхъ кружкахъ, наши писатели только и могутъ доходить до тѣхъ частныхъ, узкихъ обобщеній, какія имъ доставляетъ ихъ кружокъ. Они только и могутъ выставлять рельефно типы своей среды, схватывая общіе мотивы жизни этой среды; обо всѣхъ же прочихъ слояхъ общества они уже судятъ гадательно, гипотетично, изображая только внѣшнія черты; внутреннія-же предполагая все тѣ же, какія имъ удалось подмѣтить въ своей средѣ. Такимъ образомъ, если писатель помѣщикъ, то и всѣ его герои будутъ смахивать на помѣщиковъ: у него и мужикъ будетъ выставленъ какимъ-то селадономъ, млѣющимъ въ порывѣ нѣжной страсти и дрожащимъ при видѣ обнаженной ручки или ножки деренской красавицы; если онъ офицеръ, то у него и всѣ герои будутъ смахивать на офицеровъ, и мужикъ въ его повѣсти, въ порывѣ ревности, выйдетъ съ дубиною въ рукахъ на дуэль съ оскорбителемъ своей чести. При этомъ нужно замѣтить, что немногихъ писателей, которымъ удалось обобщить типы и мотивы жизни цѣлаго класса помѣщичьяго, купеческаго или военнаго, мы по всей справедливости считаемъ нашими первоклассными писателями, потому что обобщенія ихъ, какъ ни частны сами по себѣ, все-таки довольно широки сравнительно съ тѣми писателями, жизнь которыхъ сосредоточивается въ тѣсномъ кружкѣ пяти, шести человѣкъ. Послѣдніе писатели на всю жизнь страны, о которой не имѣютъ ровно никакого понятія, смотрятъ обыкновенно съ точки зрѣнія иллюзій своего кружка и искажаютъ эту жизнь, елико возможно. Кромѣ двухъ, трехъ такъ-называемыхъ положительныхъ типовъ, являющихся ходячими олицетвореніями иллюзій кружка, всѣ остальные герои у нихъ представляются обыкновенно или блѣдными призраками, или стереотипными

манкенами. Вотъ почему многіе молодые таланты наши гибнутъ въ самомъ началѣ своего поприща, не идя далѣе многообѣщающихъ начинаній. Но и первоклассные таланты, при условіяхъ нашей жизни, бродятъ часто въ потемкахъ, рискуя ежедневно попадать въ просакъ. Такимъ блужданіемъ въ потемкахъ является, напримѣръ, отношеніе нашихъ первоклассныхъ беллетристовъ къ молодому поколѣнію. Критика напала на подобное отношеніе вовсе не потому, чтобы требовала отъ беллетристовъ нашихъ непремѣнно выставленія молодаго поколѣнія въ идеальномъ свѣтѣ. Никто этого отъ беллетристовъ не требовалъ; никому и въ голову не приходило, чтобы въ молодомъ поколѣніи олицетворились всевозможныя добродѣтели и не было ни одного порока. Пусть бы беллетристы выставляли отрицательныя стороны молодаго поколѣнія, и критика, и молодое поколѣніе ничего не могли бы чувствовать къ правдивымъ беллетристамъ, кромѣ глубокой признательности; нечего и говорить о томъ, что выставленіе недостатковъ бываетъ всегда вдесятеро полезнѣе и богаче результатами превознесенія достоинствъ. Но для того, чтобы выставлять недостатки какой-либо среды, нужно прежде всего глубоко изучить эту среду, собрать какъ можно болѣе наблюденій изъ ея жизни, и тогда уже рѣшиться дѣлать какіе-либо выводы и обобщенія. Теперь подумайте, могутъ ли, положа руку на сердце, по чистой совѣсти, беллетристы наши громко заявить, что да, они изучили молодое поколѣніе и создавали свои типы не гипотетически, не наобумъ, не по двумъ, тремъ, случайно встрѣчаемымъ экземплярамъ? Видѣли ли ихъ когда нибудь среди этого молодаго поколѣнія, наблюдающими его бытъ, нравы, интересы? Напротивъ того, можно сказать, что послѣднія произведенія нашихъ первоклассныхъ беллетристовъ какъ будто нарочно для того написаны, чтобы показать людямъ несостоятельность теоріи поэтическаго ясновидѣнія и всю важность опыта для поэтическаго творчества. Вся сила таланта не выручила ни Тургенева, ни Гончарова, едва они съ почвы изученной ими дѣйствительности сошли на почву жизни, о которой не позаботились составить себѣ никакого яснаго понятія. Писатель, написавшій «Записки охотника», писатель, создавшій типъ «Обломова»—начали вмѣсто истинныхъ представителей молодаго поколѣнія угощать насъ—совершенно подобно на-

чинающимъ писать гимназистамъ 7-го класса — ходульными героями въ духѣ Марлинскаго! Въ наукѣ всякія самоувѣренныя сужденія, произвольныя заключенія о неизученныхъ фактахъ называются шарлатанствомъ. Въ искусствѣ подобное же отношеніе къ дѣйствительности считается поэтическимъ ясновидѣніемъ!

Вотъ на этомъ основаніи мы нѣсколько разъ уже говорили, и считаемъ нелишнимъ повторять каждый разъ, что единственную надежду нашей современной литературы составляетъ та реальная школа молодыхъ писателей, которые смѣло разрываютъ всякую связь со всѣми литературными традиціями, оставляютъ всякія попытки создавать по отвлеченнымъ теоріямъ положительные типы и вообще творить на основаніи поэтическаго ясновидѣнія, а начинаютъ прямо съ азбуки, наблюдаютъ и изучаютъ народъ въ разныхъ слояхъ его и рисуютъ намъ нашу жизнь такъ, какъ она представляется ихъ наблюденіямъ. Не надѣяться, что подобный способъ индуктивнаго изученія жизни въ результатѣ своемъ произведетъ писателя если не общечеловѣческаго, то всенароднаго, значитъ не придавать никакого значенія индуктивному методу, отрицать самое свойство человѣческаго ума доходить до чего-либо путемъ опытовъ и наблюденій. Пусть подобнаго рода скептики сидятъ у моря и ждутъ появленія такого генія, который не выходя изъ своего кабинета, очаруетъ ихъ глубокимъ анализомъ ихъ жизни, а въ ожиданіи подобнаго чуда пусть тѣшатся эстетическими красотами поэтовъ, никуда незаглядывающихъ далѣе нѣсколькихъ будуаровъ съ запахомъ свѣжаго женскаго тѣла, итальянскихъ оперъ, клубовъ да баденской рулетки.

Мы же будемъ твердо убѣждены, что идя по тому пути, на который наша литература сороковыхъ годовъ только выступила, но тотчасъ же съ него и своротила, и на которомъ изъ пожилыхъ писателей удержались только Островскій, да гр. Л. Толстой, по этому пути раньше или позже литература наша дойдетъ до созданій истинно великихъ произведеній. И мы тѣмъ болѣе имѣемъ право питать подобныя надежды, что рядомъ съ тѣмъ печальнымъ растлѣніемъ, какое представляютъ всѣ прочія отрасли нашей беллетристики, только одна эта отрасль, напротивъ того, имѣетъ постоянный и несомнѣнный прогрессъ. Первымъ замѣчательнымъ явленіемъ на

этомъ пути, явленіемъ, обратившимъ на себя всеобщее вниманіе, были произведенія Рѣшетникова. Какъ ни преждевременно сошелъ съ литературнаго поприща этотъ талантъ, но онъ успѣлъ уже сдѣлать много замѣчательныхъ обобщеній изъ круга жизни низшихъ классовъ нашего общества. Но обобщенія Рѣшетникова были все-таки еще довольно частны; они не простирались далѣе быта нашихъ восточныхъ инородцевъ, рабочаго сословія и духовнаго; едва Рѣшетниковъ выходилъ изъ этихъ рамокъ, онъ уже становился на шаткую почву догадокъ, гипотетическихъ или черезчуръ конкретныхъ образовъ, словомъ, обнаруживалъ полное незнакомство со всѣми прочими слоями нашей жизни. Гл. Успенскій составляетъ шагъ впередъ послѣ Рѣшетникова. Онъ не ограничивается уже изученіемъ быта одного какого-либо слоя или среды общества, а изучаетъ бытъ общества въ его совокупности — въ разныхъ его слояхъ и въ столкновеніяхъ этихъ слоевъ между собою. И вмѣстѣ съ тѣмъ, вы встрѣчаете въ его произведеніи нѣсколько обобщеній, касающихся не одного только крестьянскаго, фабричнаго или помѣщичьяго класса, а всей русской жизни вообще. Да не подумаетъ читатель, чтобы мы вслѣдствіе этихъ обобщеній смотрѣли на произведенія Гл. Успенскаго какъ на высшую точку, до которой можетъ только достигнуть эта школа беллетристики, чтобы мы считали Гл. Успенскаго писателемъ вполнѣ всенароднымъ. Нѣсколько обобщеній еще не составляютъ всего, что входитъ въ идеалъ всенароднаго поэта, къ тому же обобщенія обобщеніямъ рознь, но и тѣ обобщенія, до которыхъ достигъ Гл. Успенскій, ставятъ «Разореніе» въ число замѣчательнѣйшихъ произведеній послѣдняго времени и заставляютъ ожидать отъ Гл. Успенскаго въ будущемъ многаго.

III.

Гл. Успенскій изображаетъ передъ вами нѣсколько типовъ изъ жизни неизвѣстнаго губернскаго города, и типы эти не принадлежатъ даже къ верхамъ интеллигенціи этого города. Что общаго между жителями столицъ, усвоившими себѣ высшую цивилизацію Европы, жадно слѣдящими по

журналамъ и газетамъ за развитіемъ европейской жизни, принимающими живое участіе во всѣхъ современныхъ вопросахъ общественной жизни отечества, раздѣляющимися на партіи, спорящими, соглашающимися, опять спорящими, и нѣсколькими темными лицами, выведенными на сцену Г. Успенскимъ въ своемъ романѣ? Они не только не принимаютъ участія въ дѣлахъ Европы, но многіе изъ нихъ имѣютъ самое неопредѣленное понятіе о томъ, что гдѣ-то за морями лежитъ нѣметчина, живутъ гишпанцы и агличане, за что-то въ высшей степени недоброжелательные къ намъ; ихъ общественные интересы не простираются далѣе круга ихъ околотка и мелкихъ сплетенъ губернскаго захолустья; они тоже спорятъ и мирятся между собою, но не по вопросу о реальномъ и классическомъ образованіи, о земскихъ и городскихъ повинностяхъ, а о какомъ нибудь ухватѣ, разбитой мискѣ со щами, или же — это уже самый высшій общественный вопросъ — о подмазкѣ ревизора, или о томъ, изъ-за чего фабриканту вздумалось угостить чаемъ рабочихъ. Но посмотримъ, дѣйствительно ли такъ-таки и нѣтъ уже ничего общаго между Черемухиными, Птициными, Печкиными, Михаилами Ивановичами, Надями, Ванями и прочими захолустными личностями, являющимися передъ нами въ разсказѣ, и самыми передовыми изъ передовыхъ читателей нашихъ.

Первое, что́ васъ поражаетъ во всѣхъ этихъ людяхъ, — это полное отсутствіе всякой активности, малѣйшихъ попытокъ отстаивать свои принципы или вносить ихъ въ жизнь самостоятельно и неуклонно. Въ мірѣ очерченномъ Г. Успенскимъ есть свои злыя начала и благія, отжившіе и свѣжіе элементы, тираны и угнетенные — но всѣ они являются безразлично жертвами какого-то внѣшняго рока, своего рода мойры, которая управляетъ ихъ судьбою и которой они безропотно покоряются. Жизнь тянется монотонно, безцвѣтно, скучно, вяло, день за день, завтра — какъ вчера. Царство Черемухиныхъ и Птициныхъ, это гнѣздо провинціальнаго хищничества, стоитъ повидимому незыблемо, и нѣтъ ему конца. Все гнѣздо объѣдается и опивается до потери сознанія, что могутъ существовать па свѣтѣ ревизоры, до потери счета нарожденному числу дѣтей, многое множество поглощается этою прорвою чужихъ денегъ, трудовъ и слезъ. Но въ то же время никто не отдаетъ себѣ отчета, откуда вышли

всѣ эти Черемухины, Птицины и гдѣ конецъ ихъ объѣданію и опиванью. Всѣмъ кажется, что такъ всегда было и всегда будетъ, подобно тому, какъ пауки никогда не перестанутъ ѣсть мухъ, а куры вѣчно будутъ глотать червяковъ.

Но вдругъ является нежданно, негаданно толчокъ внѣшней, словно сверхъестественной силы, неимѣющей ничего общаго съ этимъ міромъ глухихъ губернскихъ улицъ. Черемухины, Птицины падаютъ, предаются суду, отставляются, подвергаются всеобщему презрѣнію. Старыя начала побѣждены: новые, свѣжіе элементы торжествуютъ, сказалъ бы иной публицистъ. Ничего не бывало. Можно ли тутъ и говорить о какой-либо побѣдѣ или пораженіи, когда самой борьбы никакой не было. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ обо всѣхъ этихъ Черемухиныхъ, Птициныхъ можно сказать, что они поражены, когда имъ и въ голову не приходило отстаивать свое пированье? Черемухины и Птицины относятся къ своему паденію, какъ къ дѣйствію внѣшней, стихійной силы въ родѣ пожара или землетрясенія. Они воютъ и плачутъ при видѣ своего неожиданнаго бѣдствія, но въ то же время чувствуютъ фатальность его; имъ не на кого жаловаться, некого обвинять, не на кого ожесточаться—и они, какъ всегда это бываетъ въ бѣдствіяхъ, ниспосланныхъ свыше, напускаются другъ на друга, изыскивая причину своего несчастія въ человѣкѣ наиболѣе согрѣшившемъ, разгнѣвавшемъ божество и несъумѣвшемъ умилостивить его.

«Въ семьѣ Птициныхъ шелъ вой и плачъ—говоритъ Успенскій.—Исчезновеніе кармана, изъ котораго можно было произвольно выхватывать, сколько душа желаетъ, подорвало даже идиллію семейной жизни.

«— Въ карманъ-то, въ карманъ-то норови! едва дыша, лепетала бабка.

«— Прокарманили, матушка! Нечего накарманивать-то, плакала ея дочь и съ нѣжностью гладила по головѣ сына, попавшагося въ двадцати уголовныхъ дѣлахъ. — Поцѣлуй меня, зайчикъ мой! говорила она ему.

«— Отстаньте вы съ поцѣлуями... Нашли время! До чего вы меня довели? оскаливался сынъ на матушку, которую ему не за что было уважать.—Что я отъ васъ видѣлъ, пользу какую? Вамъ только подавай... ризу сдѣлать дали обѣщаніе... Ну, и хваталъ... Вы—мать, развѣ я могу ослушаться...

Птицинъ лежалъ въ параличѣ, и надъ нимъ тотъ же рабски покорный сынъ срывалъ свой гнѣвъ.

«— А называетесь генералъ! Не умѣли во-время подмазать ревизора. Вамъ жаль... А небось, какъ съ меня, такъ подавай... Какъ принесешь — «умникъ»... А-а... Богъ васъ наказываетъ... Какой вы отецъ? Удавлюсь вотъ возьму!..»

Неудивительно, что сынъ могъ говорить родителю такимъ образомъ: они были равны въ хищничествѣ.

Развѣ это пораженные люди, а не погорѣльцы, грызущіеся другъ съ другомъ на пожарищѣ и обвиняющіе одинъ другаго въ неосторожномъ обращеніи съ огнемъ? Еслибы они чувствовали себя пораженными, то, конечно, они еще дружнѣе прижались бы другъ къ другу послѣ своего пораженія; но вы видите, что всѣ они начинаютъ чуждаться другъ друга, совершенно подобно дикарямъ, которые, видя ближняго, пораженнаго ударомъ какой-нибудь мойры, бояться прикоснуться къ нему, чтобы и самимъ не подвергнуться гнѣву того же божества.

„Товарищи мужа—читаемъ мы въ романѣ—скомпрометированные тѣмъ же, чѣмъ и онъ, сторонились отъ нея, и, какъ пьянчужки отрезвленные въ кварталѣ, сердито смотрѣли другъ на друга и на нее; иные изъ нихъ, перебравшись въ въ новые суды, перестали нюхать табакъ, стали курить сигары, обрились, умылись и старались казаться людьми совершенно новыми, или отдѣланными заново. Всѣ знакомства, всѣ старинныя пріязни какъ-будто и не существовали, всѣ они держались на «дѣлежѣ», и кончились вмѣстѣ съ нимъ»!..

Совершенно такъ же жители города, разрушеннаго землетрясеніемъ, безропотно покоряются своей участи и разъѣзжаются въ разныя стороны, забывая о существованіи другъ друга.

Такую же пассивность вы видите въ противоположномъ лагерѣ свѣтлыхъ личностей и свѣжихъ силъ этого захолустья. Вѣяніе новой жизни радуетъ тѣхъ изъ нихъ, которые маломальски сознаютъ значеніе этого вѣянья. Паденіе Черемухиныхъ, Птициныхъ кружитъ ихъ голову. Ихъ приводитъ въ восторгъ все, что ни видятъ они вокругъ себя: и то, что въ судахъ или вагонахъ желѣзной дороги обращаются вѣжливо съ народомъ, и то, что какой нибудь прежній грабитель тащитъ въ залогъ къ закладчицѣ изъ крѣпостныхъ послѣдній свой

галстухъ и даетъ ей волю накуражиться надъ нимъ такъ же, какъ онъ прежде надъ ней куражился, и то страшное запустѣнье, какое представляютъ изъ себя жилища Птицыныхъ и Черемухиныхъ. «Обмякла прижимка, теперь уже не то»... торжествуютъ свѣтлыя начала глухихъ губернскихъ улицъ, но во всей этой радости вы опять-таки не видите перваго и самаго главнаго: сознанія своей силы, успѣха своего предпріятія. Это не побѣдители, отдыхающіе въ сладкой усталости усилій борьбы, а какіе-то праздные зрители. Такъ дикари поютъ гимны солнцу, прорѣзавшему мрачныя тучи, или пляшутъ на трупахъ враговъ, пораженныхъ ударомъ грома.

О, конечно, только въ глухихъ улицахъ губернскаго города мы встрѣчаемъ такое поразительное отсутствіе всякой активности, борьбы, самостоятельной жизни, иниціативы. Ну, а въ прогрессивныхъ передовыхъ сферахъ развѣ не то же самое? Загляните въ русскую исторію, и что вы тамъ увидите: развѣ не тѣже толчки внѣшнихъ постороннихъ силъ, являющихся то въ видѣ неожиданныхъ реформъ Петра, то въ видѣ войны 12-го года, то въ видѣ крымской компаніи? Послѣ каждаго подобнаго толчка—тѣже паденія какихъ-нибудь Черемухиныхъ, Птициныхъ, тѣже восторги о наступленіи новыхъ временъ, занимающихся зорь, тѣже возклицанія Михаила Ивановича о томъ, что «прижимка обмякла и что теперь уже не то!» и тоже внутреннее, неотвязное сознаніе, что всѣ наступившія благоденствія пришли извнѣ, что мы тутъ не причемъ, ни въ чемъ не виноваты, и мемемъ только чувствовать признательность, ликовать и благословлять судьбу, которая послала намъ счастіе свалившееся на насъ съ неба безъ всякихъ усилій съ нашей стороны выработать его своими собственными трудами.

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ они, какіе бы то ни было труды? Что дѣлаютъ обыкновенно наши ликующіе герои прогресса до наступленія внѣшняго толчка, который исполняетъ ихъ невинныя души чувствомъ чисто-телячьяго изумленія? Они могутъ видѣть себя, какъ въ зеркалѣ, въ двухъ-трехъ положительныхъ типахъ разсказа Г. Успенскаго, какъ бы ни высоко стояли они по своему образованію сравнительно съ темными героями глухой улицы провинціальнаго захолустья.

Россійскій герой прогресса — это Ваня, отличающійся только тѣмъ отъ своихъ любостяжательныхъ родныхъ, что

чувствуетъ въ себѣ страсть попискивать на скрипицѣ, и на удовлетвореніе этой страсти онъ готовъ промѣнять всѣ соблазнительныя приманки заднихъ крылецъ чиновничьяго гнѣзда. Ему надо очень немного: онъ былъ бы доволенъ, еслибы его оставили въ покоѣ, и онъ могъ бы издавать свои звуки въ тишинѣ, никого не трогая и не задѣвая; но и этого-то малаго не можетъ онъ завоевать себѣ, бѣдняга. Вся жизнь его—рядъ колотушекъ со стороны отца, матери, всякаго рода униженій и оскорбленій со стороны начальства, товарищей. Безропотно, молча, сноситъ онъ все это и дѣлаетъ уступки за уступками безсмысленнымъ усиліямъ приравнять его къ общей чиновничьей рутинѣ. Странная, потрясающая картина живого человѣка, который является въ глазахъ глупцовъ, пошляковъ и злодѣевъ словно какъ-то бездушною куклою, надъ которою они могутъ потѣшаться, какъ имъ вздумается, и этотъ живой человѣкъ не дѣлаетъ даже тѣхъ естественныхъ барахтаній самосохраненія, какія вы видите въ птицѣ или рыбѣ, попавшихся въ руки охотника... Но еще страшнѣе дѣлается у васъ на душѣ, когда вы видите, что этотъ живой человѣкъ доведенъ до такой степени заморености, окончательнаго обезличенья, что, сходя, наконецъ, на смертный одръ, онъ не сохраняетъ даже чувства внутренней правоты, того сладкаго сознанія мученичества, которое одно только остается утѣшеніемъ невинно загубленной жертвѣ; напротивъ того, его начинаютъ терзать раздумья: а что, какъ если люди правы, что если я самъ виноватъ во всемъ и терплю достойныя возмездія за свои собственныя вины? О, россійскій герой прогресса, какъ часто ты доходишь до подобнаго самоизгрызенія и кончаешь тѣмъ, что теряешь всякое сознаніе, гдѣ правая сторона, гдѣ лѣвая, и начинаешь каяться, зачѣмъ ты нѣкогда считалъ своимъ правомъ лелѣять въ сердцѣ два-три естественныя, человѣческія стремленія.

Россійсскій герой прогресса—это Надя, вся жизнь которой проходитъ въ томъ, что она ходитъ изъ одной комнаты въ другую, со двора, въ садъ и жалуется, что ей скучно.

— Да вотъ какъ же, отвѣчаютъ ей на это:—сейчасъ для васъ заиграютъ въ барабаны, въ трубы затрубятъ, чтобы вамъ веселѣе было... Оченно всѣ объ этомъ въ заботѣ, чтобы васъ увеселить... Сію минуту-съ...

На досугѣ начинаются раздумья, откуда эта скука? Рядъ размышленій, толкованій и наблюденій приводятъ Надю, или все равно, героя россійскаго прогресса, къ мысли, что скука происходитъ отъ нечегонедѣланія. У простаго, молъ, человѣка дѣловъ много. Онъ скуки не знаетъ. Никто не видывалъ, чтобы, напримѣръ, мужикъ шатался, да валялся этакъ-то, да зѣвалъ «мнѣ скучно!» Отродясь и не было такого мужика... У простаго человѣка—скуки нѣту, дѣла у него,

Плодомъ такихъ размышленій является отыскиванье дѣла и даже не столько отыскиванье дѣла, сколько размышленія объ отыскиваньи дѣла, размышленія, кончающіяся обыкновенно вопросомъ: неужели надо идти въ кухарки? О, герои россійскаго прогресса! кому неизвѣстны всѣ эти пресловутыя ваши раздумья о такъ-называемомъ *дѣлѣ*, начинающіяся различными опытами надъ собою, всѣмъ извѣстными попытками идти въ портные или сапожники, ѣхать въ Америку для заведенія тамъ земледѣльческихъ колоній! Но всѣ эти исканья оканчиваются обыкновенно сбиваньемъ на старыя рутинныя дорожки; въ результатѣ получается та же скука, сопровождаемая рядомъ горькихъ разочарованій—и только новый внѣшній толчокъ можетъ измѣнить это расположеніе духа; тогда хотя дѣла никакого все-таки не представляется, но и скуки уже не бываетъ, а начинается рядъ ликованій, изумленій и признательностей.

Но лучше всего герой россійскаго прогресса выражается въ Михаилѣ Ивановичѣ. Мы уже говорили выше устами междоумочной критики, что типъ Михаила Ивановича мѣстами слишкомъ субъективенъ, и авторъ высказывается самъ устами своего героя. Здѣсь же мы замѣтимъ, что въ лицѣ Михаила Ивановича изображенъ передъ нами на столько общій типъ россійскаго прогрессиста, къ какой бы средѣ этотъ прогрессистъ ни принадлежалъ, что Г. Успенскому нужно было имѣть невозможную силу объективности, чтобы не слиться самому всецѣло съ этимъ типомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, Михаилъ Ивановичъ—это типъ россійскаго прогрессиста съ головы до ногъ, отъ своего происхожденія до своего исчезновенія, неизвѣстно куда и зачѣмъ. Подобно всѣмъ россійскимъ прогрессистамъ онъ не можетъ даже похвастаться, чтобъ самое его прогрессивное настроеніе было неизбѣжнымъ явленіемъ въ его жизни, чтобы онъ это на-

строеніе принялъ въ себя наслѣдственно отъ отца и дѣда, всосалъ съ молокомъ матери, былъ воспитанъ въ немъ средою. Напротивъ того: то, что Михаилъ Ивановичъ называетъ «своимъ просіяніемъ», является въ его жизни, въ свою очередь, дѣйствіемъ случайнаго, внѣшняго толчка, безъ котораго не было бы передъ вами и прогрессиста, а выработался бы такой же мелкій плутишка, какъ и всѣ его окружающіе. Онъ самъ разсказываетъ о своемъ дѣтствѣ слѣдующее:

— Сталъ я о себѣ думать... И дѣлаю такое замѣчаніе, что у всѣхъ народовъ идетъ грабежъ... Думаю: мужикъ мнѣ не дастъ, съ кого мнѣ? Думалъ, думалъ, затруднялся въ мысляхъ, глядь—бѣжитъ ко мнѣ на печку барчукъ маленькій, черемухинскій сынокъ, «скажи сказочку...» Изволь. Сказалъ. Онъ и повадился ко мнѣ на печку шататься сказки слушать. «Э, думаю, другъ-пріятель: надо быть, тебѣ въ хоромахъ хвостъ-отъ присѣкаютъ, что ты во мнѣ—въ мужикѣ—получаешь нужду...» Подумалъ такъ-то. Бѣжитъ барчукъ. «Скажи сказку...»—«Дай копейку!» Эдакъ-то рѣзанулъ. «Дашъ—скажу, нѣтъ—не будетъ разсказу... Я и то, молъ, языкъ весь отколотилъ, разсказываючи тебѣ». Припугнулъ его такимъ манеромъ, и сталъ онъ мнѣ пятачки, да гроши таскать и сталъ я ихъ попрятывать. И такъ было ловко научился я поколупывать съ него, такъ-то ли пристально въ разбойники приготовлялся, анъ тутъ-то и подвернись ко мнѣ человѣкъ... Максимъ Петровичъ... семинаристикъ, племянникъ Черемухинскій. Часто онъ къ намъ въ кухню хаживалъ, дожидался, пока дяденька, самъ Черемухинъ-то, проснутся, полтинничекъ у него попроситъ... Когда тверезъ—тихій такой... «На сапоги, говоритъ...» А Черемухинъ: «То-то, говоритъ, на сапоги!..» И сердито на него смотритъ, а тотъ боится. Это когда тверезъ. Ну, а коли ежели да пьянъ, такъ ужь тутъ никакого страху для него нѣту... Тутъ ужъ онъ кричитъ, бунтуетъ... И дяденьку-то, такъ-то-ли поливаетъ... «Взяточники, разбойники... Докуда вы разбойничать будете... Провались вы и съ полтинниками...» Разъ зимой скинулъ съ себя полушубокъ и шваркнулъ его объ земь. «Подавитесь вы имъ!..» и ушелъ. Бывало такъ, что и стекла онъ выбивалъ въ дому, и ворота исписывалъ ругательными словами. Вотъ я на этого человѣка и наскочилъ. Отъ него я и получилъ вдохновеніе, напримѣръ. То есть сначала-то меня

за виски отворочалъ, а потомъ ужь объяснилъ мнѣ существо...»

Теперь пусть кто-либо изъ россійскихъ прогрессистовъ скажетъ по чистой совѣсти, чтобы и онъ всѣмъ своимъ «просіяніемъ» не былъ обязанъ совершенно случайно подвернувшейся головомойкѣ, нравственной или физической со стороны Максима Петровича, который, въ свою очередь, по всей вѣроятности, обязанъ своему просіянію дѣлу чистой случайности, безъ которой существовалъ бы членъ врачебной управы, помощникъ столоначальника, діаконъ, ревизоръ, но не было бы прогрессиста.

Но какъ бы то ни было, прогрессистъ созданъ и гуляетъ по бѣлому свѣту въ видѣ Михаила Ивановича съ его просіяніемъ. Что же онъ дѣлаетъ, что производитъ полезнаго его просіяніе, какое дѣйствіе оказываетъ на людей, и на него самого?...

Произведеніе чистой случайности, Михаилъ Ивановичъ является совершенно лишнею спицею въ колесницѣ въ сонномъ прозябаніи нашей захолустной жизни. Внѣшній толчокъ, въ видѣ просіянія, оторвалъ его отъ общей массы, онъ свернулъ съ битой колеи мелкаго плутовства и очутился гдѣ-то въ воздухѣ, но остался въ тоже время съ тѣми же наслѣдственными свойствами своей среды, съ которыми родился. Просіяніе даровало ему только сознаніе того, что вокругъ многое гадко, но не даровало ни малѣйшей энергіи къ борьбѣ съ этимъ гадкимъ, ни малѣйшаго опредѣленнаго плана жизни, выдержки въ этомъ планѣ—однимъ словомъ, ничего того, чѣмъ такъ отличается западный человѣкъ, на какой бы ступени онъ ни стоялъ. Въ сущности, Михаилъ Ивановичъ со всѣмъ своимъ просіяніемъ остался все тѣмъ же безвольнымъ, пассивнымъ существомъ. какимъ былъ бы, еслибы этого просіянія и не случилось. Онъ весь ушелъ въ анализъ всевозможныхъ прижимокъ, которыя представлялись ему на каждомъ шагу, и началъ ежеминутно истощаться въ безплодной злобѣ на все его окружающее.

«Пить бы надо—говорилъ онъ—слабъ, не могъ, а все больше злился, потому, которыя я получалъ отъ Максима Петровича мысли, то никакимъ родомъ онѣ у меня изъ головы не выходили. Злился, злился я: бѣсился, бѣсился, да одново подгулялъ и махнулъ въ арендателя камнемъ... Спа-

сибо, скрось колесо камень прошелъ, а то бы въ каторгѣ быть. Да еще то облегчило, что ночью было, не могли вызнать кто такой, такъ что собственно по подозрѣнію шесть мѣсяцевъ высидѣлъ...»

Вотъ вамъ единственная активность, на которую является способенъ Михаилъ Ивановичъ, активность всѣхъ пассивныхъ натуръ: выйти изъ себя въ одну изъ мрачныхъ минутъ, кинуть, зажмуря глаза, чѣмъ попало и куда попало, не нанеся ни вреда, ни пользы, и затѣмъ радоваться, что дешево обошлось, что камень въ колесѣ застрялъ и что дѣло было ночью, такъ что легко было спрятать кукишъ въ карманъ. Вотъ гдѣ истинная художественность: въ нѣсколькихъ словахъ вы видите обобщеніе, дающее вамъ глубокую перспективу! Подумайте только, къ какой массѣ ежедневныхъ случаевъ нашей жизни можно примѣнить этотъ фактъ! Художникъ, менѣе глубокій, не съумѣлъ бы открыть передъ вами всю иронію поступка Михаила Ивановича. Иной поставилъ бы, конечно, поступокъ этотъ на ходули, какъ взрывъ негодованія честнаго человѣка, у котораго до того накипѣло на сердцѣ, что онъ готовъ на все, и вышло бы нѣчто даже героическое въ этомъ метаніи камнемъ подгулявшаго мастероваго. Другой нравописатель представилъ бы тотъ же самый фактъ съ обличительной точки зрѣнія, что вотъ, молъ, кинулъ пьяный человѣкъ камень; камень попалъ въ колесо, но сейчасъ же поставили дѣло такъ, что какъ-будто онъ хотѣлъ убить арендатера—и совершенно невинный человѣкъ просидѣлъ ни за что, ни про что полгода въ острогѣ. Г. Успенскій въ томъ же фактѣ представилъ одно изъ существенныхъ свойствъ характера недовольнаго человѣка русскаго издѣлія, на какихъ бы ступеняхъ развитія и положенія этотъ человѣкъ ни стоялъ.

И вотъ, въ заключеніе, россійскій прогрессистъ, въ лицѣ Михаила Ивановича, оборванный, худой, голодный, съ глухимъ кашлемъ въ груди—всюду изгнанный, никуда непринимаемый, безъ занятій, безъ денегъ ходитъ изъ угла въ уголъ изъ мелочной лавочки въ кабакъ, отъ Черамухиныхъ къ Птицинымъ, разражается тѣми же безплодными жалобами на всеобщую прижимку, и никто не слушаетъ его, вездѣ гонютъ ёго или смѣются надъ нимъ. Но это еще не верхъ трагичности положенія Михаила Ивановича: въ заключеніе

онъ, гонитель всякой прижимки, самъ попадаетъ на хлѣбы къ той же прижимкѣ, и притомъ въ самой унизительной роли двороваго шута.

Однажды, когда онъ лежалъ пьяный въ канавѣ, бормоча свои проклятія, мимо шелъ барчукъ Галкинъ, проживающій праздно въ свой усадьбѣ и отъ скуки занимающійся стрѣляніемъ галокъ. Галкина заинтересовали нѣкоторыя слова Михаила Ивановича, долетѣвшія до его ушей.

— Вы кто такой? спросилъ барчукъ, когда Михаилъ Ивановичъ выскочилъ изъ канавы.

— Отставной рабочій... съ заводу-съ... Выгнанъ за бунты.

— За что?

— За бунтованія. Потому что я бунтовался, производилъ, напримѣръ, возмущенія... мятежи...

«Это было до того любопытно—читаемъ мы далѣе въ въ повѣсти—что Уткинъ тотчасъ же нашелъ нужнымъ сдѣлать полезное дѣло, пріютить Михаила Ивановича, тѣмъ болѣе, что это дѣло не стоило ни копейки. Михаилъ Ивановичъ поселился въ кухнѣ и въ короткое время пошолъ у всѣхъ за большого чудака. Не одинъ барчукъ смѣялся всякій разъ, когда изъ устъ его выходили слова въ родѣ «прижимка», «къ осьмому часу», «увѣдомился» и проч.

Итакъ, вотъ вамъ заключительная иронія жизни россійскаго прогрессиста: сдѣлаться шутомъ у какого-нибудь пугателя воронъ, который отъ скуки готовъ подъ часокъ позабавиться красивостью слога, рѣзкостью выраженій и отрицаній чудака. Кстати, отчего не пріютить бездомнаго бродягу!

И вотъ Михаилъ Ивановичъ живетъ насчетъ той же прижимки, которую отрицаетъ, причемъ не въ силахъ выпутаться изъ своего положенія, старается смягчить иронію его тѣми палліативными средствами, къ какимъ всегда прибѣгаютъ пассивныя существа. Здѣсь вы опять встрѣчаетесь съ весьма характеристическою чертою нашей жизни. Вы видите сплошь и рядомъ, что пассивные люди, чувствуя унизительность своего положенія, вмѣсто того чтобы выйти изъ него прямо и смѣло куда бы то ни было, хоть бы на голодную смерть въ канаву, стараются обыкновенно замаскировать свое нравственное униженіе напускною грубостью и рѣзкостью съ тѣми, отъ кого зависитъ ихъ участь. Нагрубятъ, и какъ будто поднимутся въ своихъ глазахъ, покажутъ, что хоть мы отъ тебя

и зависимъ, а все-таки мы тебя въ грошъ не ставимъ, и сами не хуже тебя. Подобное самообольщеніе доходитъ часто до того, что тѣ же люди, которые не въ силахъ сдѣлать шагу, чтобы выйти самимъ изъ своего униженія, въ тоже время искренно желаютъ чтобы это произошло само собою посредствомъ ихъ грубости, чтобы виновникъ ихъ униженія вышелъ наконецъ изъ терпѣнія и прогналъ ихъ отъ себя. И если имъ удастся достигнуть этого, то они чувствуютъ себя въ барышахъ: если бы они сами вышли изъ своего положенія, имъ пришлось бы ограничиться простымъ сознаніемъ исполненія нравственнаго долга, теперь же они начинаютъ считать себя не то героями, не то жертвами, съ самодовольствомъ припоминаютъ рѣзкость своихъ отвѣтовъ и рисуются жертвами своей правдивости и людскаго коварства.

Совершенно таковъ Михаилъ Ивановичъ въ своихъ бесѣдахъ съ Уткинымъ.

— Михаилъ Ивановичъ! говоритъ барчукъ, торопливо проходя мимо него по саду, чтобы ошарашить изъ ружья галку.—Такъ увѣдомились?

— Я довольно аккуратно въ жизни своей увѣдомился, какъ простому человѣку... начинаетъ Михаилъ Ивановичъ вслѣдъ барчуку; но въ этотъ моментъ раздается оглушительный выстрѣлъ, крикъ разлетающихся галокъ и лай собакъ...

— Эхъ, ума-то нагулялъ! иронически шепчетъ Михаилъ Ивановичъ, качая головою.—Сколько, чай, на эдакую-то тетерю пошло... Прокъ!..

— Были у Синицына? возвращаясь съ убитой галкой, спрашиваетъ барчукъ.

— Былъ-съ..

Михаилъ Ивановичъ говоритъ съ сердцемъ, но старается скрыть это.

— Аффишъ не было-съ, разобраны... продолжаетъ онъ.

— Что-жь въ городѣ?

— На столбу объявлено воздухоплаваніе слона... въ эрмитажѣ... Рубъ за входъ.

— Чортъ знаетъ что такое.

— Во всѣхъ Европахъ одобряли, прибавляетъ Михаилъ Ивановичъ, не скрывая сердца, и какъ бы говоря въ то же время: «стоишь ли ты слона-то смотрѣть».

По уходѣ барчука, на травѣ остается мертвая птица. Михаилъ Ивановичъ смотритъ на нее и говоритъ:

— Вотъ это господское дѣло!... Хлопнулъ и пошелъ. А ружье кто ему выработалъ?

Теперь подумай, русскій прогрессистъ, какъ часто услужливые романисты, желая изобразить твои гражданскія доблести, только одну доблесть и находятъ въ тебѣ обыкновенно: это твое умѣнье героически нагрубить начальнику отдѣленія и быть изгнанну съ должности столоначальника... О, еслибы подумалъ ты, русскій прогрессистъ, какъ жестоко унижаютъ тебя этимъ наши романисты! Знай же, что истинный прогрессистъ не грубитъ, потому что не ставитъ себя въ такое ложное положеніе, чтобы ему нужно было грубить, или же старается выйти поскорѣе изъ этого положенія, какъ бы то ни было. Грубятъ же рабы, грубятъ существа безвольныя, апатичныя, во всемъ полагающіяся на другихъ, грубятъ дѣти подъ властію родителей, грубятъ люди живущіе на чужой счетъ.

IV.

Слѣдствіемъ пассивности, зависимости различныхъ перемѣнъ жизни не отъ собственныхъ усилій, а отъ случайныхъ внѣшнихъ толчковъ — бываетъ страшная, одуряющая скука, вялость и сонливость существованія, при чемъ всѣ интересы, мечты и надежды человѣка сосредоточиваются въ ожиданіи, что вотъ, вотъ нагрянетъ такой факторъ, который сейчасъ же все вокругъ перевернетъ, и въ заключеніе непремѣнно осыпетъ всевозможными благами угнетенную добродѣтель, сидящую въ ожиданіи этихъ благъ на заваленкѣ у воротъ и вертящую пальчикъ вокругъ пальчика. Такова вѣковая участь россійскаго прогресситта, что онъ, вѣчно скучая и бездѣйствуя въ настоящую минуту, все ждетъ какихъ-нибудь благихъ и необыкновенныхъ перемѣнъ въ близкомъ будущемъ, перемѣнъ, которыя сразу осуществятъ всѣ его надежды и сдѣлаютъ его изъ празднаго лѣнтяя энергическимъ дѣятелемъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы постоянно чего нибудь ожидаемъ и ожидаемъ внѣшняго, отъ насъ нисколько не зависящаго — утѣшая себя, что вотъ, молъ, когда дождемся, тогда только

и будемъ дѣлать дѣло... Если ожидать бываетъ подъ часъ нечего, то мы уносимся въ область фантазіи, и создаемъ себѣ такія мечты, что, какъ встрѣтишься съ инымъ такимъ надѣющимся и ожидающимъ человѣкомъ, только подивишься: казалось бы, не глупый человѣкъ и не безъ здраваго смысла въ головѣ, а между тѣмъ такъ и смотритъ въ бедламъ.

Совершенно точно такъ же предаются всѣ ожиданіямъ и въ разсказѣ Г. Успенскаго. Наденьки, Сашеньки, скромныя, робкія, застѣнчивыя розы глухихъ губернскихъ улицъ, тихохонько ходящія изъ комнаты въ комнату, тихонько поливающіе цвѣты, тихонько читающія «Юрія Милославскаго» — ожидаютъ обыкновенно жениховъ. Эти ожиданія наиболѣе положительныя и осуществимыя. Дѣвушки, конечно, дождутся жениховъ. Безъ сомнѣнія, подвернется такой благорасположенный герой, что осчастливитъ угнетенную невинность, въ родѣ Павла Ивановича Печкина, съ солиднымъ мѣстомъ, солиднымъ жалованьемъ, солиднымъ домомъ, запретъ птичку въ стѣны затхлыхъ комнатъ, припретъ наружную дверь коломъ, чтобы птичка не улетѣла, избавитъ ее, ради благополучія, отъ всѣхъ трудовъ, заботъ, думъ—и будетъ она расплываться въ сонномъ бездѣйствіи, разваливаясь съ утра до вечера на пуховикахъ.

Ну, а ты, читатель, не ожидаешь никакого жениха? Вотъ Михаилъ Ивановичъ, такъ тотъ ожидаетъ. Максимъ Петровичъ, внушившій ему просіяніе ума, уѣхалъ въ Петербургъ, обѣщавши выписать туда Михаила Ивановича, но не выписалъ. И вотъ всѣ мечты, надежды, ожиданія Михаила Ивановича сосредоточились на этомъ миѳическомъ Максимѣ Петровичѣ. Гдѣ онъ, что онъ, можетъ быть его вовсе уже нѣтъ, или онъ терпитъ такую же участь, какъ и Михаилъ Ивановичъ, и ему вовсе не до своего пріятеля; можетъ быть, онъ и самъ возлагаетъ всѣ надежды на какого-нибудь Максима Петровича—всѣ подобныя соображенія не приходятъ и въ голову Михаилу Ивановичу. Максимъ Петровичъ представляется въ глазахъ его какимъ-то неземнымъ, всемогущимъ существомъ, держащимъ въ рукахъ рогъ изобилія, чтобы излить изъ него всевозможныя благополучія на горемычную голову Михаила Ивановича.

Но для того, чтобы достигнуть этого рога изобилія, Михаилъ Ивановичъ лелѣетъ другую надежду: онъ ждетъ не

дождется, когда окончатъ постройку желѣзной дороги, которая повезетъ его въ Петербургъ къ Максиму Петровичу. Чуть не каждый день ходитъ онъ къ строющемуся вокзалу освѣдомляться, не готова ли чугунка. Но онъ не ограничивается надеждою на желѣзную дорогу, какъ на средство къ достиженію Максима Петровича. Какъ истый россійскій прогрессистъ, онъ тотчасъ же возводитъ ожидаемый предметъ въ универсальное средство отъ всѣхъ человѣческихъ бѣдствій. Ему кажется, что когда обладятъ чугунную дорогу, которая скоро можетъ простаго человѣка въ Петербургъ доставлять, тогда наступитъ конецъ всякой прижимкѣ, потому что стоитъ проѣхать на чугункѣ въ Петербургъ, да поразсказать тамъ— и дѣло будетъ въ шляпѣ...

Вамъ, конечно, смѣшны золотыя надежды Михаила Ивановича на чугунку, но одинъ ли онъ, темный и нигдѣ не ученый человѣкъ, ожидалъ отъ нея возвращенія земнаго рая? Не слыхали ли вы на каждомъ шагу и отъ людей, которые не чета Михаилу Ивановичу, подобныхъ же восклицаній, что погодите, молъ, вотъ выстроятъ желѣзныя дороги, увидите, что такое будетъ?

Описаніе пріѣзда перваго поѣзда и впечатлѣнія, какое произвелъ онъ на городъ—составляетъ чуть ли не лучшее мѣсто въ романѣ Г. Успенскаго, и безспорно лучшее, что только являлось въ нашей литературѣ въ послѣдніе годы. Пассивность, скука и вялость жизни губернскаго захолустья сразу всплываютъ наружу и оттѣняются въ виду прошумѣвшаго мимо поѣзда, словно бѣлыя зданія на черномъ фонѣ тучи. Я считаю нелишнимъ сдѣлать нѣсколько выдержекъ, чтобы припомнить читателю это лучшее мѣсто въ романѣ, въ которомъ художественный паѳосъ Гл. Успенскаго доходитъ до своей крайней высоты.

«Не для одного Михаила Ивановича и Черемухиныхъ этотъ день былъ чѣмъ-то особеннымъ, не будничнымъ, когда люди умираютъ отъ скуки, и не праздничнымъ, когда люди могутъ пить, спать до обморока и смотрѣть фейерверкъ въ присутствіи господина начальника губерніи. Въ этомъ днѣ чувствовалось что-то томительное и радостное. Въ нашу глушь, въ нашу скуку, беззащитную, брошенную жизнь, пришло что-то совсѣмъ новое, сулящее лучшее будущее, и еще не измѣнившее нашей тоски, нашего гореванья ни на волосъ.

Не одинъ Михаилъ Ивановичъ ни свѣтъ ни заря суетился и торопился на машину—весь городъ былъ какъ-то наэлектризованъ этою новостью, такъ что когда часовъ въ шесть Михаилъ Ивановичъ, сопровождаемый Надей и Софьей Васильевной, пришелъ въ вокзалъ—здѣсь уже были толпы народа. Все это двигалось, было весело, собиралось уѣхать, улетѣть; ни одной заспанной щеки, ни однихъ глазъ, заплывшихъ отъ одури, нельзя было встрѣтить среди толпы, бродившей по широкимъ комнатамъ вокзала. Вся эта суета, пробужденіе, чѣмъ-то горькимъ отзывалось въ сердцѣ Нади; а Михаилъ Ивановичъ, въ жизни котораго событія слѣдовали въ послѣднее время съ такой ошеломляющей быстротой, почувствовалъ нѣкоторый страхъ, вслѣдствіе чего, попросивъ барышень поглядѣть за узелкомъ, скрылся на время неизвѣстно куда, а возвратившись черезъ нѣсколько минутъ, имѣлъ лицо весьма радостное.

— То-есть, вотъ какъ обладимъ дѣла! сказалъ онъ Надѣ, тряхнувъ кулакомъ.

— Вы водки напились? вмѣсто отвѣта, сказала та.

— Да, голубчики! снимая картузъ, залепеталъ Михаилъ Ивановичъ:—милыя!.. Да какъ мнѣ не выпить?.. Ангелочки вы мои.

И принялся цѣловать у барышенъ руки, что хотя и было не особенно замѣтно среди толпы, однако заставило Надю и Софью Васильевну уйти впередъ на платформу.

Скоро Михаилъ Ивановичъ розыскалъ ихъ и здѣсь. Но отъ изліяній воздерживался, ибо всеобщее вниманіе было обращено на лѣсъ, изъ котораго съ минуты на минуту долженъ былъ выпорхнуть первый поѣздъ. Въ ожиданіи его шли разговоры. Благородные толковали о томъ, что теперь представляется удобный случай ѣздить въ Москву, въ театръ. «Утромъ выѣхалъ, къ обѣду тамъ; умылся, одѣлся и—маршъ, а къ утру опять дома». «Великолѣпно!» Другіе, изъ числа тѣхъ же благородныхъ, смотрѣвшіе на это дѣло глубже, разсуждали о подвозѣ, о расширеніи. Простой народъ, неимѣвшій возможности понять, что оный подвозъ и оное расширеніе могутъ образоваться изъ ихъ дырявыхъ лаптей, трактовалъ чугунку съ точки зрѣнія величайшей умственной чуши.

— Потребовалъ ты чаю, слышалось въ толпѣ.

— Ну?

— Ну, сейчасъ подаютъ тебѣ — га-ярячева... изъ первыхъ кипятковъ... Чуешь, чтобы бѣлымъ ключомъ кипѣлъ— ну, чтобы ты его выпилъ! Ужь, чтобы, братъ, ты его въ три минуты выхватилъ... Ужь, братъ, тутъ ни-ни...

— А ежели не дохлебаю?

— А ежели ты его не дохлебаешь — штрафъ! Потому, ей некогда тебя дожидаться, пока ты расхлебывать будешь! Ты хлебнулъ, а ужь она, братъ, хвостомъ вильнула, — за тыщу верстъ... Тутъ, братъ, ужь ни Боже мой!...

— Хитра пружина!...

Въ другой группѣ слышалось:

— А батюшка?

— А батюшка,—онъ почему? Потому что онъ съ кропиломъ. Какъ она подлетитъ, сейчасъ онъ ей кропиломъ въ эвто мѣсто... Напримѣръ, въ морду ей,— будемъ такъ говорить, для тово, что намъ требуется, чтобы она насъ снабжала, напримѣръ, на пользу, ну нежели, чтобы дозволить ей разводить бѣсину—прости Господи! Надо его выколотить оттэда. Вотъ почему отецъ Амвросій съ причтомъ, а нежели вы утверждаете, чтобы принимать ему благословеніе отъ петербургскаго генерала... фальшъ.

Разговоры публики были прерваны необыкновенно-громкимъ крикомъ какого-то сильнѣйшаго горла, раздавшимся откуда-то сверху.

— Ана-а!... Бра-атцы!...

Все зашумѣло, шатнулось и замолкло.

Изъ глубины начинавшаго темнѣть лѣса, выглянули два красные глаза, донесся жиденькій свистокъ—это былъ первый поѣздъ.

— Вотъ она, матушка! шепталъ замлѣвшій Михаилъ Ивановичъ въ то время, когда среди всеобщаго молчанія, поѣздъ все ближе и ближе подходилъ къ платформѣ.

— Ахъ, голубчики!... слышалось робко то тамъ, то сямъ.

Поѣздъ пришелъ и остановился. Молчаніе смѣнилось еще болѣе оживленнымъ движеніемъ. Говоръ. Шумъ. Смѣхъ. Михаилъ Ивановичъ чуть не плакалъ отъ радости и безпрепятственно цѣловалъ ручки своихъ спутницъ, которыя были совершенно подавлены всѣмъ, что видѣли.

— Дай Богъ вамъ! за вашу доброту!... Надежда Андреевна! Софья Васильевна! бормоталъ Михаилъ Ивановичъ.

— Отыщите брата! Пожалуйста! просила его Надя.

— Подъ землей вырою-съ! На нихъ надежда! Для васъ, для маменьки вашей... Ту-ись...

И снова начиналось хватаніе рукъ, цѣлованье концовъ кофты, въ которую была одѣта Надя... Долго на спинѣ Михаила Ивановича плясалъ узелъ съ пожитками отъ поклоновъ и намѣреній стать на колѣнки. Звонокъ прервалъ эти изліянія.

— Дай Богъ вамъ... крикнулъ Михаилъ Ивановичъ, махнувъ картузомъ и скрылся въ толпѣ. Въ дверяхъ началась давка, уничтожившая сразу всю новизну минуты.

Затертыя толпой, Надя и Софья Васильевна не видали, какъ Михаилъ Ивановичъ, высунувъ голову въ вагонное окно, искалъ ихъ глазами, чтобы еще разъ сказать: «дай Богъ вамъ!» Онѣ слышали, какъ застучали колеса поѣзда, раздались свистки, повисли надъ головой черные клубы дыма.

Видѣли, какъ дымъ поблѣднѣлъ и исчезъ.

Громъ колесъ сдѣлался тише и скоро замолкъ.

Поѣздъ выглянулъ черной массой у новаго чугуннаго моста, прогремѣлъ надъ водой, окуталъ дымомъ старинную зарѣченскую колокольню, на которой жиденькіе колокола возвѣщали третій звонъ, и скрылся.

Толпа долго стояла и смотрѣла вслѣдъ. Многіе почему-то вздохнули и пошли по домамъ.

. . . . . .

На бульварѣ играла музыка и происходило обычное провинціальное гулянье. Между темнѣвшими въ вечернемъ сумракѣ сучьями деревъ, въ особенности же около небольшаго кафе, въ русскомъ вкусѣ, виднѣлись разноцвѣтные фонари, освѣщая то женскую шляпку, то столъ съ чайнымъ приборомъ и проч. Липовая аллея, тянувшаяся по низменному берегу рѣки, около старинной кремлевской стѣны, была наполнена народомъ медленно двигавшимся и весьма скучавшимъ. Когда замолкла музыка, то въ саду наставала почти мертвая тишина; слышался только шумъ ногъ и шлейфовъ по песку, стукъ чайной ложечки о край стакана и возгласъ: «человѣкъ!». Скука, составляющая обычное достояніе провинціальнаго гулянья, такъ-какъ обществу должно же на-

доѣсть исключительное занятіе однимъ гуляньемъ,—эта скука въ нынѣшній день перваго поѣзда была какъ-то упорнѣе и молчаливѣе обыкновеннаго. И можно сказать положительно, что «первый поѣздъ» игралъ въ этой всеобщей задумчивости не послѣднюю роль. То «что-то новое», сопряженное съ нимъ, та новая власть, какъ бы понукающая заснувшій народъ впередъ, которая скрыта въ этомъ событіи, и другіе элементы его, неуловимые, но вломившіеся въ нашъ умъ и тронутые имъ съ новою силою,—все это какъ-то отягчало душу не одного изъ тосковавшихъ на бульварѣ, помимо тѣхъ, разумѣется, которые были озабочены перемѣною начальства, распеканіемъ, даннымъ губернаторомъ, и проч., и проч. Не одинъ семинаристъ, изъ числа тѣхъ, которые выступаютъ на гульбище позднимъ вечеромъ и скитаются по заднимъ аллеямъ, боясь испугать своимъ халатомъ публику, не одинъ изъ нихъ чертилъ въ эту минуту планы будущей жизни въ Петербургѣ, куда теперь такъ легко попасть, и въ ожиданіи котораго нелегко жевется. Не одинъ подгулявшій мастеровой, раздумавшись на лавочкѣ около рѣки о своей судьбѣ, подумалъ о томъ, что «была не была—удеру отсэда! Пропадай!». Не одна Надя и Софья Васильевна завидовали участи улетѣвшихъ изъ этого мертваго царства».

Теперь поразмысли, читатель, надъ этой картиной, имѣетъ ли она одно частное значеніе, т. е. ограничивается ли однимъ изображеніемъ пріѣзда перваго поѣзда въ губернскій городъ, или и въ этомъ фактѣ авторъ съумѣлъ схватить такой общій мотивъ нашей жизни, что, хотя бы ты никогда въ губернскомъ городѣ не былъ и не испытывалъ, какое впечатлѣніе производитъ на губернскаго жителя первый поѣздъ, между тѣмъ, ты чувствуешь во всемъ этомъ что-то какъ будто весьма близкое, испытанное тобою, пробуждающее въ тебѣ какія-то воспоминанія. Это потому, что хотя ты и не губернскій житель, но всетаки русскій человѣкъ, и твоя жизнь немногимъ разнообразнѣе и живѣе жизни глухой улицы въ губернскомъ городѣ; въ ней тоже много монотоннаго, вялаго, тоскливаго. Поэтому и въ твоей жизни бывали своего рода первые поѣзды, въ видѣ минутъ, въ которыя такъ или иначе вдругъ передъ тобою проносилась иная жизнь, полная, тревоги, дѣятельности, страсти. Ты вдругъ просыпался отъ своего

одуренія, но просыпался только для того, чтобы сознать во всей ясности всю пустоту твоего собственнаго прозябанія, и вздохнувши раза два, три отъ всей глубины души, снова погрузиться въ то же онѣмѣніе. Каждое чтеніе какой-либо живой, задирающей книги, каждая встрѣча съ мало-мальски дѣятельнымъ, полнымъ мысли и жизни человѣкомъ, заставляютъ васъ чувствовать тоже, что чувствовали до извѣстной степени жители города по возвращеніи со станціи на бульваръ. И дай Богъ, читатель, чтобы въ твоей жизни почаще случались подобныя минуты пробужденія.

V.

Но вялость и одуряющая скука монотонной жизни являются еще не послѣдними результатами пассивности. Есть результаты еще болѣе трагическіе и роковые. Люди пассивные, ничего не предпринимающіе для устройства своего счастія, во всемъ полагающіеся на другихъ, дѣлаются въ концѣ-концовъ игрушкою въ рукахъ перваго встрѣчнаго афериста или шарлатана, которому ничего не стоитъ обольстить ихъ блестящими обѣщаніями взяться устраивать за нихъ ихъ дѣла—и въ концѣ-концовъ обратить ихъ въ слѣпое орудіе замысловъ и цѣлей, иногда самыхъ постыдныхъ.

Въ романѣ Гл. Успенскаго мы видимъ два рода эксплуататоровъ пассивности, играющихъ не послѣднюю роль въ современной намъ жизни. Перваго рода эксплуататоры—это люди сами по себѣ не глупые и не злые. Они часто вполнѣ искренно желаютъ служить дѣлу прогресса, но вся ихъ несостоятельность заключается въ томъ, что рядомъ съ такъ-называемымъ «развитіемъ», побуждающимъ ихъ приносить пользу, въ нихъ глубоко сидитъ рядъ привычекъ, принятыхъ наслѣдственно и затѣмъ взлелѣянныхъ воспитаніемъ. Вслѣдствіе этого, за что бы они ни принялись, въ нихъ дѣйствуютъ разомъ по сту направленій, они подходятъ къ дѣлу, по выраженію Черемухина, по сорока семи дорогамъ, осѣняемые сорока-семью разнородными взглядами.

«Въ прежнее время,—говоритъ совершенно справедливо Гл. Успенскій—воспѣваніе безплодныхъ шатаній человѣка этой породы составляло единственный подвигъ литературы, кото-

рая такимъ образомъ сдѣлала его почти образцомъ истиннаго героя, никогда не упоминая о вліяніи оброковъ, взятокъ, откупныхъ доходовъ на развитіе нравственнаго капитала человѣка, выросшаго среди ихъ и на нихъ. И, благодаря сокрытію вышеупомянутыхъ, весьма некрасивыхъ вещей, типъ этотъ былъ весьма плѣнителенъ—и разнообразіе его оттѣнковъ было безконечно, хотя сущность оставалась одна и та же—недостатокъ нравственныхъ силъ, вслѣдствіе обезличивающаго вліянія семьи. Въ настоящее время, привлекательная сторона этого типа утратилась безвозвратно, но существованіе его и до сихъ поръ не подлежитъ никакому сомнѣнію, обнаруживается поминутно, только въ иной формѣ. Прежде онъ просто ничего не дѣлалъ и шатался по помѣщичьимъ паркамъ, опустошая сердца помѣщичьихъ дѣвицъ; теперь же онъ пытается дѣлать дѣло, выказываетъ желаніе радѣть народу, но срывается, и внезапно опустошивъ земскій сундукъ, исчезаетъ куда-нибудь подальше доживать свой вѣкъ. Такъ-какъ нравственная пустота весьма удобно принимаетъ всякія направленія и выказываетъ готовность ко всякому сочувствію, подобно стакану, который одинаково способенъ принять и воду, и вслѣдъ за ней вино, то было множество случаевъ, когда шатающійся типъ принималъ участіе въ дѣлахъ совершенно новыхъ, и на первыхъ порахъ казался дѣйствительно дѣльнымъ человѣкомъ, какъ тотъ же стаканъ кажется краснымъ, когда въ немъ красное вино. Но, по обыкновенію, участіе это оканчивалось тѣмъ, что въ дѣло вмѣшивался будочникъ, а самое лучшее предпріятіе оскандаливалось на глазахъ массы и доставляло полную возможность врагамъ его опорочивать и его сущность».

Надо ли много распространяться о томъ, какими миріадами кружатся эти трутни вокругъ такъ-называемаго нашего прогресса. При этомъ мы постоянно видимъ, что, чѣмъ бѣднѣе ихъ нравственное содержаніе, тѣмъ краснорѣчивѣе ихъ языкъ, тѣмъ смѣлѣе замыслы и блистательнѣе обѣщанія, которыми они морочать публику, и тѣмъ скорѣе попадаются на ихъ удочку наши простодушные и пассивные прогрессисты.

Въ романѣ Г. Успенскаго подобными трутнями представляются молодой Черемухинъ, барчукъ Уткинъ и блестящій герой новыхъ судебныхъ учрежденій Шапкинъ.

Молодой Черемухинъ, какъ только встрѣчается съ Михайломъ Ивановичемъ въ Петербургѣ, тотчасъ же забираетъ его въ свой нумеръ, берется разыскать миѳическаго Максима Петровича и устроить всѣ его дѣла. Михаилъ Ивановичъ, какъ истый россійскій прогрессистъ нашего времени, вполнѣ возлагаетъ всѣ свои заботы на услужливаго пріятеля, а самъ складываетъ спокойно на груди свои руки и предается полнѣйшему бездѣйствію въ нумерѣ Черемухина.

И кончается все это тѣмъ, что Черемухинъ пропиваетъ всѣ деньги Михаила Ивановича и въ заключеніе кается ему въ своей несостоятельности.

Уткинъ въ свою очередь является такимъ же эксплуататоромъ Сонечки и Наденьки. Онъ начинаетъ свое знакомство съ ними съ поднятія женскаго вопроса, является передъ ними съ искреннимъ желаніемъ спасти Софью Васильевну отъ безсмысленнаго деспотизма мужа, читаетъ передъ ними чуть не цѣлыя лекціи о необходимости своей корки хлѣба, но рядомъ съ этими красивыми тирадами тотчасъ же и обнаруживаются тѣ сотни направленій, которыя тянутъ его въ разные концы.

Съ одной стороны, чтобы отъ словъ перейти къ дѣлу, оказалась необходимость идти въ первый дворъ и просить заказъ бѣлья. Еслибъ Уткинъ былъ простой мужикъ, умѣющій войти въ первыя ворота, остановить первую бабу, и назвавъ ее теткой или красавицей, прямо объявить ей, въ чемъ дѣло, то онъ бы такъ и сдѣлалъ. Но у него были сотни разнородныхъ взглядовъ на предметъ, и поэтому, какъ только его дѣло обнаружилось вполнѣ, вся серьезность и значеніе его поблекли. Уткинъ представилъ себѣ, какъ онъ, барчукъ, стоитъ среди двора и проситъ бѣлья въ стирку, и какъ потомъ онъ идетъ съ узломъ. Въ головѣ его мелькнула мысль, что такъ не бываетъ, что это даже смѣшно. Онъ былъ совершенно согласенъ съ тѣмъ, что это нужно, что это дѣйствительно такъ, и въ то же время находилъ, что это невозможная и смѣшная чушь. Таковы были свойства нравственной толкучки.

Но подобное препятствіе для оказанія истинной пользы своимъ новымъ знакомкамъ еще не вполнѣ опредѣляетъ Уткина. Вслѣдъ затѣмъ онъ встрѣчается съ шутливымъ офицеромъ, который наводитъ его на совершенно новыя соображе-

нія, развитію которыхъ не мало помогаетъ картина бабъ съ обнаженными колѣнками, полощущихъ бѣлье на рѣкѣ. И вотъ вамъ весь Уткинъ на лицо, во всемъ своемъ нравственномъ безобразіи—открывающій за собою цѣлую толпу подобныхъ ему женскихъ эмансипаторовъ, начинающихъ съ вопроса о женской самостоятельности и корки хлѣба и оканчивающихъ мыслью о томъ, что нельзя ли при этомъ кстати и попользоваться...

Такимъ-же благодѣтелемъ рода человѣческаго является передъ вами и Шапкинъ. Посмотрите на него со стороны—что за красота, что за изящество въ движеніяхъ, въ манерахъ, во всей обстановкѣ его жизни. Его домъ—идеалъ семейнаго блаженства и семейныхъ добродѣтелей, его рѣчи дышутъ благородствомъ и гуманностью. Когда онъ идетъ, стоитъ или говоритъ, то, кажется вамъ, что даже вокругъ него распространяется не то сіяніе, не то благоуханіе. Повидимому онъ такъ горячо сочувствуетъ благу народа, такъ искренно желаетъ оказать всякую пользу неимущему и невѣдующему собрату. Но вотъ онъ стоитъ передъ толпою этихъ собратій. Ему предстоитъ говорить судебную рѣчь. Казалось, что здѣсь-то бы и развернуться его доблести. Безъ сомнѣнія, онъ сообразилъ, что передъ нимъ народъ темный, что необходимо спуститься до его пониманія и заговорить съ нимъ самымъ простымъ и удобопонятнымъ языкомъ, чтобы онъ уразумѣлъ, чего отъ него требуютъ и чего онъ можетъ ожидать. Но тутъ и являются передъ нами тѣ же сотни направленій. Шапкинъ не можетъ забыть, что онъ какъ бы то ни было кончилъ курсъ университета съ степенью кандидата, что онъ блестящій ораторъ, что передъ нимъ сидятъ двѣ, три губернскія львицы, наведены на него лорнеты—въ ожиданіи, какъ польется его красивая рѣчь... И вотъ онъ, забывая, къ кому обращена рѣчь, начинаетъ сыпать своими de capo, ab ovo, ex-abrupto, умственный уровень, декорумъ той среды, гдѣ подсудимый и пр., начинаетъ мотивировать, формулировать, обособлять къ ужасу мужиковъ, недоумѣвающихъ, что таится подъ этими пугалами словами, розга или штрафы. Изъ этого и выходятъ подъ часъ смѣшныя и грустныя комедіи въ родѣ той сцены съ бабой, которую Шапкинъ цѣлый часъ вразумлялъ, чтобы она держалась въ передѣлахъ кассаціи, а она,

въ отвѣтъ на всѣ его краснорѣчивые доводы, ползала передъ нимъ на колѣняхъ, умоляя среди горькихъ рыданій помиловать ея собаку.

— Развѣ ты не понимаешь, что она хочетъ? говорила Шапкину его жена по выходѣ изъ суда.

— Разумѣется, понимаю... Но видишь, въ чемъ дѣло...

— Такъ зачѣмъ же ты не слушаешь ее?... Она говоритъ свое, а ты свое...

— Поэтому-то мы оба и правы: она говоритъ, что ей нужно, а я—что мнѣ нужно.

— Да она не понимаетъ тебя. Ты былъ въ университетѣ, а она...

— Чѣмъ же я виноватъ, что она не была тамъ?

Шапкинъ улыбался. Жена молчала.

— Я самъ въ томъ же положеніи, какъ и она. Я не могу ей сдѣлать добра потому, что она тоже не можетъ доставить мнѣ удовольствія быть ей полезнымъ... Когда мы будемъ вмѣстѣ съ ней по одной книжкѣ читать, тогда все это и кончится.

Вотъ она, вѣчная логика Шапкиныхъ. Они рады оказать своимъ ближнимъ всевозможныя благодѣянія, но для этого необходимо, чтобы ближніе эти развились до счастія принимать благодѣянія изъ ихъ бархатныхъ ручекъ, возвысились до ихъ высокообразованнаго величія. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ же они виноваты, что мужики не понимаютъ ихъ, зачѣмъ не воспитывались въ университетахъ!... При этомъ замѣчательно, что въ тоже время Шапкину и въ голову не приходитъ спросить себя: ну, а пока мы не будемъ читать вмѣстѣ съ этими людьми по одной книжкѣ или говорить съ ними однимъ языкомъ, то въ чемъ же заключается приносимая мною польза на моемъ мѣстѣ и за что я получаю жалованье? За то, что я удивляю двухъ-трехъ барынь съ лорнетками своимъ краснорѣчіемъ? Что же я такое, общественный дѣятель или комедіантъ, потѣшающій публику?

Но всѣ эти простодушные эксплоататоры хороши тѣмъ, что они не долго обманываютъ людей, полагающихся на нихъ, быстро обнаруживая всю свою несостоятельность. Рядомъ же съ ними есть другаго рода артисты, дѣйствующіе уже не

по сотнѣ направленій, а стремящіеся къ какой-нибудь одной опредѣленной своекорыстной цѣли, и пассивные люди являются слѣпыми орудіями въ ихъ рукахъ для исполненія ихъ замысловъ, совершенно не входящихъ въ разсчетъ этихъ пассивныхъ людей. Такимъ слѣпымъ орудіемъ является передъ вами Михаилъ Ивановичъ. Какъ истый россійскій прогрессистъ, онъ только умѣлъ возлагать надежды на чугунку, но въ то же время палецъ о палецъ не двинулъ для того, чтобы снискать средства и быть въ состояніи воспользоваться этою благодѣтельницею, которая должна доставить его къ Максиму Петровичу. Ему и въ голову не приходило, что чугунка даромъ его не повезетъ. Когда чугунка была облажена, онъ тогда только догадался, что у него въ карманѣ ни гроша и ѣхать ему не на что, и впалъ въ мрачное уныніе. Но тутъ подвернулся нѣкій купецъ, подслушавшій случайно его сѣтованія на прижимку. Это былъ одинъ изъ мѣстныхъ кулаковъ, желавшій получить въ аренду казенный заводъ. И вотъ, чтобы предпріятіе это удалось, кулаки вознамѣрились воспользоваться Михаиломъ Ивановичемъ и отправить его въ Петербургъ, чтобъ онъ тамъ, жалуясь на прижимку, внушилъ мысль кому слѣдуетъ: эво, молъ, до чего народъ нѣмцемъ—арендателемъ прижатъ, что ровно бѣшеные, на послѣдніе въ Питеръ бѣгутъ жалиться... Сказано, сдѣлано... Михаилъ Ивановичъ и поѣхалъ въ Петербургъ на купеческія деньги слѣпымъ орудіемъ ихъ замысла, поѣхалъ жаловаться на прижимку, чтобы оказать этимъ пользу такой же прижимкѣ. Это верхъ ироніи. Этимъ по истинѣ Гл. Успенскій имѣлъ полное право закончить романъ. Подобный результатъ жизни Михаила Ивановича — хуже смерти и всякой другой катастрофы, къ какимъ прибѣгаютъ обыкновенно романисты, чтобы покончить романъ и отдѣлаться отъ героя! Еслибы Гл. Успенвздумалъ продолжать романъ далѣе, то ему оставалось бы только сообщить читателю рядъ подробностей, о которыхъ читатели и сами могутъ догадаться. Это было бы все равно, что доведя героя до трагической смерти, начать подробно описывать въ послѣдней главѣ, какъ разлагался его трупъ въ могилѣ!

VI.

Много можно бы еще чего сказать по поводу романа Гл. Успенскаго, потому что на каждой страницѣ его вы найдете сцены и очерки, открывающіе передъ вами глубокія перспективы и наводящіе васъ на цѣлый рядъ размышленій о тѣхъ или другихъ сторонахъ общей неурядицы нашей житейской суеты. Но предоставляемъ это сдѣлать самимъ читателямъ, иначе намъ долго пришлось бы еще бесѣдовать. Въ заключеніе мы скажемъ только, что произведенія Г. Успенскаго особенно полезны при нашей замкнутой жизни, при обыкновеніи смотрѣть на міръ въ узенькое окошечко какого-нибудь тѣснаго кружка нашего прозябанія и уноситься въ милыхъ сердцу юллюзіяхъ въ различныя эмпиреи. Произведенія Гл. Успенскаго однимъ ударомъ способны разрушать всѣ подобныя иллюзіи, открывая намъ жизнь не такою, какова она намъ кажется изъ нашего прекраснаго далека, а во всей ея неподкрашенной правдѣ. Г. Успенскій обладаетъ въ этомъ отношеніи удивительнымъ даромъ, одною небольшею сценкою открыть передъ нами изнанку невыразимой пошлости даже тамъ, гдѣ иной романистъ, конечно, ничего не нашелъ бы, кромѣ однѣхъ свѣтлыхъ сторонъ, и заставилъ читателей отдыхать душою. Такъ напримѣръ, припомните только сцену изъ «Наблюденій лѣнтяя». Вотъ передъ вами нѣсколько молодыхъ людей—такихъ образованныхъ, такихъ гуманныхъ, мыслящихъ—собрались и бесѣдуютъ о высокихъ предметахъ. Какой богатый сюжетъ для начала романа съ великолѣпными женскими типами, анализомъ любви, борющейся съ призваніемъ гражданскаго долга и пр. Романистъ стараго покроя не замедлилъ бы въ кругъ этихъ предающихся глубокомысленнымъ бесѣдамъ героевъ тотчасъ втереть дѣву съ задатками страстности и неразгаданныхъ думъ въ темныхъ очахъ, а Гл. Успенскій вмѣсто этого заставилъ появиться протопопа и вся компанія отъ вызывающихъ на размышленія разговоровъ ринулась — вслѣдъ за приглашеніемъ протопопа топить кобеля, богъ-вѣсть зачѣмъ и для чего, и кончилось дѣло всеобщею попойкою. О, русская жизнь, какъ видна ты

вся, будто на лодони, въ одной этой сценкѣ!... Въ самомъ дѣлѣ, чтобы ты ни предпринималъ, о чемъ бы ни размышлялъ, мой читатель, въ концѣ концовъ ты все-таки придешь къ одному: пойдешь топить кобеля и при этомъ случаѣ напьешься.

1871 г.

АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ ЛЕВИТОВЪ.

АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ ЛЕВИТОВЪ.

(Его жизнь и сочиненія).

Не разцвѣлъ и отцвѣлъ въ утрѣ пасмурныхъ дней!
Полежаевъ.

I.

Въ лицѣ Александра Ивановича Левитова, умершаго въ 1877 г. въ ночь съ 2-го на 3-е января, русская литература утратила еще одну молодую и недюжинную силу; еще одною свѣтлою надеждою, загорѣвшеюся въ началѣ прошлаго десятилѣтія стало менѣе; еще просторнѣе сдѣлалась и безъ того опустѣлая арена молодой пореформенной беллетристики. Поразительна судьба всѣхъ дѣятелей мысли, вышедшихъ на поприще жизни въ концѣ 50-хъ или началѣ 60-хъ годовъ, но беллетристовъ въ особенности. Мало того, что имъ какъ-то не живется на свѣтѣ, что они такъ и умираютъ, одинъ за другимъ, едва достигая цвѣтущаго возраста: Помяловскій, Рѣшетниковъ, Левитовъ, Кущевскій, Вороновъ и многіе менѣе извѣстные могли бы составлять цѣлое созвѣздіе въ современной намъ литературѣ, но они всѣ поспѣшили убраться въ могилы въ такую пору, когда силы писателя обыкновенно только-что начинаютъ развертываться во всемъ цвѣтѣ. Этого, я говорю, еще мало: судьба всѣхъ этихъ беллетристовъ замѣчательна въ другомъ еще отношеніи. Съ одной стороны, если взять въ разсчетъ направленіе и содержаніе поэтическихъ образовъ этой молодой школы русскихъ беллетристовъ и тѣ общественные слои, изображенію кото-

рыхъ эта школа посвятила себя, то можно думать, что она представляетъ собою немаловажный шагъ впередъ въ развитіи нашей литературы. Изъ узко-сословной сферы изображенія жизни однихъ образованныхъ слоевъ общества, въ какой пребывала попреимуществу беллетристика 40-хъ и 50-хъ годовъ, школа эта перешла рѣшительно, смѣло и безповоротно на почву народной жизни въ связи ея съ жизнію всѣхъ прочихъ общественныхъ слоевъ; изъ узкой сферы исключительнаго психическаго анализа индивидуальныхъ страстей и душевныхъ движеній она обратилась къ вопросамъ общественнымъ и массовымъ. Казалось бы, что этотъ важный прогрессивный шагъ впередъ нашей беллетристики долженъ былъ бы ознаменоваться появленіемъ новыхъ блестящихъ талантовъ и выходомъ въ свѣтъ произведеній, которыя затмили бы все предыдущее, нетолько по своему общественному значенію, но и въ чисто-художественномъ отношеніи, въ силу большей широты захвата поэтическаго творчества, вслѣдствіе того, что творчество, въ настоящемъ случаѣ, начало возбуждаться впечатлѣніями не одного какого-нибудь узенькаго общественнаго уголочка, а свѣжею, широкою и могучею струею народной жизни, бьющею живымъ ключемъ богатой красками и звуками и страстной поэзіи. Но странно, на дѣлѣ вышло нѣчто совершенно иное: молодые беллетристы нетолько не создали до сихъ поръ ни одного произведенія, которое можно было бы поставить рядомъ съ «Мертвыми душами» или «Ревизоромъ», но которое выдержало бы соперничество хотя бы съ лучшими произведеніями беллетристовъ 40-хъ годовъ. Вмѣсто тщательно-обработанныхъ, художественно стройныхъ и законченныхъ произведеній, какими мы такъ избалованы всей предыдущею литературою, они подарили насъ рядомъ неконченныхъ отрывковъ и безформенныхъ клочковъ, неуклюжихъ, нестройныхъ, отягощенныхъ мѣстами длинными и скучными разсужденіями, мѣстами фотографическимъ сырьемъ или безконечными описаніями мелочныхъ деталей. Передъ вами точно будто снова выплыло нѣчто архаическое и первобытное, возвратился хаосъ первыхъ дней созданія. Литература, въ лицѣ этихъ молодыхъ беллетристовъ, словно бросила всѣ свои заимствованныя съ Запада, вѣками выработанныя, совершенныя формы и возвратилась къ тому безъискуственному виду, въ которомъ она пребывала въ эпоху Посошкова и

Котошихина, когда наивные граматѣи валили въ одну безформенную рѣчь подъ заглавіемъ «завѣщанія» или «слова» все, что было у нихъ на душѣ—и мораль, и сатиру, и публицистику, и душевный плачъ о неустройствахъ земли русской, и этнографическія свѣдѣнія о заморскихъ странахъ.

Но этого мало, что въ техническомъ, формальномъ отношеніи литература наша сдѣлала такимъ образомъ шагъ назадъ въ лицѣ молодыхъ нашихъ беллетристовъ. Замѣчательно, что въ дѣятельности писателей этой школы мы не видимъ ни малѣйшаго роста ихъ литературныхъ талантовъ. Каковыми являются они въ своихъ первыхъ и самыхъ юныхъ произведеніяхъ, такими же видимъ мы ихъ и въ послѣднихъ, написанныхъ иногда лѣтъ черезъ 10 или 15, а у нѣкоторыхъ, какъ, напримѣръ, у Кущевскаго, замѣчается и регрессъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ.

Странное явленіе это не разъ останавливало вниманіе многихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ, причемъ каждый объяснялъ его по своему. Считая излишнимъ перечислять эти объясненія и входить въ подробный разборъ ихъ, я только замѣчу, что всѣ они распадаются на двѣ категоріи: одни, люди, наиболѣе благосклонные къ беллетристамъ молодой школы, старались объяснить какъ поразительную смертность этихъ беллетристовъ, такъ и отсутствіе развитія ихъ литературныхъ талантовъ, враждебнымъ вліяніемъ общихъ условій жизни. Къ другой категоріи принадлежатъ враги молодой школы, которые всю причину настоящей бѣды полагали въ самомъ возникновеніи и существованіи этой школы. По мнѣнію этихъ людей, школа эта такова ужь по своему существу, что должна парализовать всякое развитіе, губить и сводить въ преждевременную могилу каждый талантъ, пошедшій по этому направленію, какъ бы онъ ни былъ великъ. Это происходитъ будто бы въ силу того, что писатель, увлекшійся направленіемъ этой школы, перестаетъ быть самимъ собою, выходитъ изъ предѣловъ высокой культуры образованныхъ слоевъ общества, умаляется, принижается до узкихъ интересовъ и грубыхъ вкусовъ тѣхъ сферъ общества, изобразителемъ которыхъ онъ является, а, главное дѣло, съ почвы естественнаго и непосредственнаго творчества онъ переходитъ на почву творчества тенденціознаго, подчиняетъ свой талантъ разнымъ искуственнымъ требованіямъ либераль-

ныхъ идей, начинаетъ писать на заданныя тэмы и этимъ путемъ убиваетъ всякій ростъ и развитіе своего таланта.

Что касается враждебнаго вліянія общихъ условій жизни, то люди, опирающіеся на это вліяніе въ своихъ объясненіяхъ разсматриваемаго явленія, забываютъ одно: именно то, что условія эти потому уже самому, что они *общія*, должны были бы враждебно вліять на всю литературу во всей ея сложности, а не на одну небольшую групу ея. И если-бы этими общими условіями объяснялись какъ смертность, такъ и отсутствіе роста талантовъ въ беллетристахъ молодой школы, то слѣдовало бы ожидать, что беллетристы 40-хъ годовъ должны были бы подвергаться еще бо́льшей смертности и еще мѐньшему развитію, потому что на самомъ разцвѣтѣ ихъ талентовъ они встрѣтили условія жизни не въ примѣръ тягостнѣе и враждебнѣе, чѣмъ молодые таланты прошлаго десятилѣтія. Но мы не только не видимъ этого, а напротивъ того: передъ нами тотъ поразительный фактъ, что лучшіе беллетристы 40-хъ годовъ дожили до самыхъ преклонныхъ лѣтъ, пережили почти всѣхъ своихъ юныхъ птенцовъ и наслѣдниковъ и успѣли обогатить литературу нашу нѣсколькими произведеніями высокаго достоинства, которыми она вполнѣ вправѣ гордиться. Въ томъ-то и дѣло, что, вмѣсто того, чтобы все зло полагать во враждебности общихъ условій, не слѣдуетъ-ли поискать особенныхъ и частныхъ условій, вліявшихъ на жизнь нашихъ молодыхъ беллетристовъ и отъ вліянія которыхъ были избавлены ихъ отцы и дѣды. Я не говорю, чтобы общія условія на беллетристовъ какъ 40-хъ годовъ, такъ и 60-хъ, вліяли какъ-нибудь особенно благопріятно или совсѣмъ не вліяли. Я утверждаю только, что въ жизни молодыхъ писателей были какія-то сверхъ того еще особенныя условія, подъ вліяніемъ которыхъ имъ гораздо труднѣе оказалось выдерживать борьбу съ общими условіями, чѣмъ ихъ отцамъ и дѣдамъ. Вотъ въ этихъ-то особенныхъ условіяхъ и слѣдуетъ, по моему мнѣнію, искать ключа къ разгадкѣ нашего секрета.

Что же касается мнѣній второй категоріи, опиравшихся на вредъ самой школы, въ родѣ приниженія до грубыхъ вкусовъ толпы или насилованія творчества подчиненіемъ его либеральнымъ тенденціямъ, то мнѣнія эти отличаются крайнею субъективносъью. Люди, придерживающіеся этихъ мнѣ-

ній, судятъ вполнѣ по самимъ себѣ, и сужденія ихъ могли бы имѣть блѣдную тѣнь справедливости примѣнительно къ нимъ самимъ. Они до такой степени исключительно замкнуты въ узкія сословныя рамки своей среды, что внѣ культурныхъ нравовъ, обычаевъ, приличій этой среды они ничего не могутъ допустить, кромѣ непроглядного мрака, невообразимой грубости нравовъ и самой животной низменности побужденій. Въ то же время, они до такой степени проникнуты интересами своей среды и содержаніемъ ея жизни, что внѣ этихъ интересовъ и содержанія все иное представляется для нихъ совершенно чуждымъ, непонятнымъ, какъ бы вовсе не существующимъ. Понятно, что, если бы они вздумали снизойти до интересовъ толпы, стоящей гдѣ-то тамъ далеко внизу подъ ними, и начать изображать ея жизнь и нравы, то это было бы для нихъ самымъ тяжелымъ насиліемъ, чѣмъ-то совершенно искуственнымъ, натянутымъ, для чего они должны были каждый разъ, принимаясь за перо, совершенно выходить изъ своей тарелки и изворачивать себя въ три погибели. Подобный чисто субъективный предразсудокъ въ значительной степени поддерживается и тѣмъ, что въ литературѣ нашей вы встрѣтите, впродолженіе послѣднихъ 30 лѣтъ, не мало произведеній, которыя и въ самомъ дѣлѣ представляютъ подобныя насилованія и изворачиванія себя различныхъ гуманныхъ господъ, нисходившихъ до изображеній народныхъ нравовъ. Въ силу этого предразсудка, у насъ сложился даже стереотипный образъ беллетриста народныхъ нравовъ, представляющійся непремѣнно въ видѣ господина, переодѣтаго мужикомъ, или же безъ переодѣванія, въ соломенной шляпѣ, въ пиджачкѣ и съ тросточкою въ рукахъ ходящаго, во время лѣтнихъ каникулъ, среди простаго народа по кабакамъ, постоялымъ дворамъ и ярмаркамъ съ спеціальною цѣлью занесенія въ записную книжечку каждаго меткаго выраженьица или разсказика для того, чтобы потомъ, зимою, воротясь въ столицу и въ ея кружки, блестящіе высшею интеллигенцію, предать надлежащимъ анализамъ и обсужденіямъ собранный матеріалъ и состряпать какой-нибудь очеркъ или разсказъ изъ народнаго быта. Что-жь, развѣ у насъ и не было подобнаго рода наблюдателей и собирателей, временно ниспускавшихся въ народныя массы, но въ то же время остававшихся совершенно чуждыми какъ народной

жизни, такъ и народныхъ интересовъ, жившихъ своею жизнію и наблюдающихъ народъ со стороны съ самою ледяною объективностью? Но развѣ подобнаго рода явленія и субъективные выводы, основанные на нихъ, исключаютъ возможность выхода изъ самыхъ нѣдръ народныхъ массъ писателей, съ младенческихъ лѣтъ воспитанныхъ въ этихъ нѣдрахъ, глубоко-проникнутыхъ ихъ интересами и всѣмъ содержаніемъ ихъ жизни и до самой смерти не перестававшихъ жить въ глубокой связи со своею родимою средою, ея непосредственною жизнію. Для такихъ писателей изображеніе народныхъ нравовъ, очевидно, должно представляться вовсе не какимъ-либо насилованіемъ творчества, изворачиваньемъ себя, искуственнымъ списываньемъ со стороны въ угоду либеральныхъ тенденцій, а, напротивъ того, вполнѣ естественнымъ, непосредственнымъ продуктомъ ихъ творчества. Такіе писатели рискуютъ впасть въ искусственность, надуманность и ломанье себя именно тогда, когда пустятся изображать чуждые имъ нравы и мотивы такъ называемыхъ культурныхъ слоевъ общества, что, напримѣръ, было съ Рѣшетниковымъ, когда онъ пускался выводить на сцену великосвѣтскихъ людей, или съ Кольцовымъ, когда онъ брался за философскія тэмы.

Такъ вотъ такимъ образомъ и представляется вопросъ: тѣ молодые беллетристы, о которыхъ идетъ у насъ рѣчь, были ли они больше ничего, какъ гуманные баричи, которымъ, по ихъ происхожденію, воспитанію и образу жизни, гораздо свойственнѣе было бы изображать нравы и мотивы интеллигентныхъ слоевъ общества, а они ломали себя и, наблюдая чуждую имъ народную жизнь со стороны, насиловали свое творчество, подчиняя его либеральнымъ тенденціямъ, или же, напротивъ того, они сами были выходцами изъ народа и творили такъ же естественно, непроизвольно и непринуждено, какъ, по мнѣнію нашихъ чистыхъ эстетиковъ, творятъ Ап. Майковъ и Фетъ? Въ первомъ случаѣ, враги ихъ, конечно, совершенно правы. Но, если мы имѣемъ дѣло со вторымъ обстоятельствомъ, если оказывается, что наши молодые беллетристы, происходя изъ народа и не переставая жить его жизнію и въ тѣсной связи съ нимъ, творили вполнѣ естественно и непроизвольно, нимало не насилуя своего таланта, творили такъ, какъ только могли и умѣли, и все-таки не могли создать до сихъ поръ ни одного крупнаго произведе-

нія, то, конечно, всѣ толкованія враговъ молодой школы рушатся сами собою; вопросъ остается вопросомъ, и разрѣшенія его слѣдуетъ искать въ иномъ мѣстѣ.

Жизнь Александра Ивановича Левитова, въ связи съ его сочиненіями, способна, по моему мнѣнію, какъ нельзя болѣе привести насъ къ разрѣшенію этого вопроса. Съ одной стороны, эта жизнь покажетъ намъ, какъ вполнѣ органически и какъ нельзя болѣе естественно каждое произведеніе умершаго писателя вытекало изъ его жизни и какую глубокую связь имѣло оно съ нею; съ другой стороны, мы увидимъ, какія скорбныя обстоятельства мѣшали А. И. Левитову возвыситься надъ своими первыми очерками и создать что-нибудь особенно крупное.

II.

Для внѣшнихъ фактовъ жизни А. И. Левитова будетъ намъ служить некрологъ г. Нефедова, напечатанный въ мартовской книжкѣ «Вѣстника Европы» 1877 г. къ сожалѣнію, единственный хоть сколько-нибудь обстоятельный изъ всѣхъ, появившихся вслѣдъ за смертію А. И. Левитова въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ. Но изъ этого некролога намъ придется заимствовать только самые крупные факты и кое-какія изъ особенно характеристическихъ обстоятельствъ. Самыя же интересныя подробности жизни поэта, а главное дѣло, факты внутренней, психической жизни мы найдемъ въ самыхъ сочиненіяхъ А. И. Левитова. И вотъ вамъ, на первомъ же шагѣ, доказательство, какъ блистательно рушатся всѣ толкованія объ искуственномъ творчествѣ чуждой поэту жизни, приниженіяхъ, ломаніяхъ и т. п. Въ лицѣ А. И. Левитова мы видимъ одного изъ тѣхъ субъективнѣйшихъ поэтовъ, которые въ каждомъ произведеніи выкладываютъ всего себя и по сочиненіямъ котораго, словно по дневникамъ, можно написать біографію нетолько ихъ внутренняго психическаго развитія, но и многихъ внѣшнихъ обстоятельствъ ихъ жизни.

А. И. Левитовъ родомъ былъ тамбовецъ. Его воспитали и взлелѣяли тѣ самыя тамбовскія поля, широкое раздолье которыхъ подарило насъ уже однимъ дорогимъ сердцу каждаго русскаго и незабвеннымъ поэтомъ—Кольцовымъ. Онъ

былъ сынъ сельскаго священника *) и дѣтство его прошло въ самой бѣдной и убогой обстановкѣ, ничѣмъ не отличавшейся отъ обстановки любаго крестьянина изъ неособенно зажиточныхъ. Въ отрывкѣ изъ своей автобіографіи, носящей заглавіе «Мое дѣтство» (См. «Горе селъ и деревень», стр. 101), онъ приводитъ нѣсколько весьма характеристическихъ воспоминаній о своемъ дѣтствѣ. «Я очень рано начинаю помнить себя, говоритъ онъ:—но эти раннія воспоминанія, какъ тучей, затемняются множествомъ сѣрыхъ, обыденныхъ дней будничной сельской жизни, необыкновенно-похожихъ другъ на друга. Теперь, пристально всматриваясь въ непроглядный туманъ этихъ дней, я какъ будто вижу въ немъ что-то неясное, неопредѣленное, но вмѣстѣ съ тѣмъ страстно любимое мною: вотъ, напримѣръ, подъ однообразный, но могучій шумъ большой рѣки, обтекавшей село съ трехъ сторонъ, проходитъ предо мною эта, такъ манящая меня въ настоящую минуту, тишина сельской жизни, идетъ она, или даже не идетъ, а тихо-тихо летитъ, какъ нѣчто живое, имѣющее свой образъ, который въ моихъ глазахъ имѣетъ совершенно-опредѣленныя формы. Да, я осязательно ясно вижу, какъ надъ молчаливыми сельскими буднями, поднявшись нѣсколько выше свѣтлаго креста на новой церкви, на бѣлыхъ крыльяхъ паритъ, вмѣстѣ съ летучими облаками, кто-то свѣтлый и тихій, съ лицомъ стыдливымъ и кроткимъ, какъ у нашихъ дѣвицъ... Такъ я теперь, отдаленный отъ родного села долгими годами шумной столичной жизни, исполненной невыразимыхъ страданій, представляю себѣ мирнаго генія тихой сельской дѣятельности.

«Но исчезло видѣніе, и опять идутъ медленныя сельскія будни. Въ ушахъ раздается неразборчивый гулъ безпрестаннаго работника—деревенскаго дня. Въ какой-то угрюмой печали прислушиваются къ этому гулу понурыя и растрепанныя крыши домовъ; время отъ времени, по улицѣ пролетитъ какая-нибудь лихая помѣщичья тройка, неистово позванивая валдайскимъ колокольцомъ и громыхая безчисленными

*) У Нефедова значится сыномъ дьякона. Но А. И. Левитовъ въ своей автобіографіи, говоритъ, что отецъ его былъ священникомъ. Я позволяю себѣ считать свѣдѣніе, исходящее изъ-подъ пера самого А. И. Левитова, за болѣе достовѣрное.

бубенчиками; вяло проплетется прощалыга-мѣщанинъ изъ сосѣдняго города, съ краснымъ товаромъ; за тройкой и за мѣщаниномъ одинаково любопытно прорыщутъ сельскіе ребятишки и дѣвчонки, и опять—тишь, важная, медленная, и человѣка, желающаго поговорить съ нею, подмѣтить въ ней хоть какіе-нибудь признаки жизни, до глубокой тоски мучащая своимъ хмурымъ и какъ бы упрямымъ молчаніемъ.

«Если и нарушается въ моихъ воспоминаніяхъ это молчаніе, такъ очень рѣдко и неопредѣленно. Иногда, среди этихъ сташныхъ морозовъ, яростно-визгливыхъ мятелей, среди длинныхъ, какъ вѣчность, ночей, когда въ избѣ все слѣпо отъ дымной лучины, я вдругъ начиналъ примѣчать, что лучина горитъ свѣтлѣе, чѣмъ въ это мучительно-длинное *всегда*, лица дѣлались радостнѣе, веретена и самопрялки полусонныхъ пряхъ, вмѣсто однообразнаго и невыносимо скучнаго жужжанія, принимались напѣвать что-то такое, необыкновенно похожее на пѣсню ребенка. Въ черную избу глядитъ свѣтлый, морозный мѣсяцъ и, временемъ, когда пряха, сидящая подлѣ свѣтца, не успѣвши замѣнить догорѣвшую лучину другою, давала ей погаснуть, тогда темноту избы такъ чудесно освѣщали какія-то золотыя, плавноволновавшіяся по грязному полу мѣсячныя полосы. Въ полосахъ отражались четырехстекольчатыя окна избы до того явственно, что я, по разсказамъ, съ младенчества близорукій, начиналъ думать въ это время, не прорубила ли какая-нибудь невидимая рука въ нашемъ полу другихъ оконъ, чтобы въ избѣ свѣтлѣе было, и поэтому я вскакивалъ съ лавки и бросался къ полосамъ. Работница, между тѣмъ, уже успѣвала вздуть огня, и полосы исчезали.

«— Гдѣ же онѣ? задумчиво спрашиваю я, смотря по направленію къ настоящимъ окнамъ, въ которыя улетѣли мѣсячные лучи.

«— Кто гдѣ? спрашиваетъ меня, въ свою очередь, изъ-за стола отецъ, опершійся надъ громадною чети-минеею, которую онъ передъ тѣмъ читалъ своимъ многочисленнымъ домочадцамъ.

«— А эти... отвѣчаю я, не умѣя назвать даннымъ именемъ то, что сейчасъ позолотило нашъ полъ и опять улетѣло куда-то.—Окна-то были какія сейчасъ... Гдѣ же?

«— Ахъ ты, дурашка! позѣвывая, говорилъ отецъ.— Рази это окна?—Это мѣсяцъ.

«— Мѣсяцъ, вонъ онъ, спорю я:—въ нёбушкѣ. А это— гдѣ? Куда они улетѣли?.. Откуда взялись? Въ голосѣ моемъ слышатся слезливыя ноты.

«— Глупо̀! возвышаетъ отецъ свой голосъ, дѣлая удареніе на о̀, за что онъ считался самымъ умнымъ человѣкомъ и проповѣдникомъ во всемъ уѣздѣ. (Онъ былъ священникомъ въ описываемомъ мною селѣ).—Глупо́! повторяетъ онъ. Ступай, сядь на лавку и слушай, въ про́тивнѡмъ случаѣ смотри у меня: не пролей сухарной жижки... И затѣмъ онъ продолжалъ прерванное чтеніе.

«— И пріиде бѣсъ къ праведному и возглагола ему гласомъ льстивымъ: авва! И отвѣща ему преподобный: вскую шаташеся, бѣсе!..

«Многозначительно хмыкаетъ и серьёзно задумывается отецъ нашъ надъ трудными, неудобопонимаемыми, по его выраженію, мѣстами патрологіи — и тогда все, что сидитъ и трудится около него, повертывая жужжащія прялки, ковыряя лапти, починивая узорчатыя рыболовныя сѣти, стругая полозья и оглобли—принимается усиленно молчать, ибо понимаетъ, *что батька не въ своей тарелкѣ.*

«— Тише, ты, слышится въ избѣ:—не видишь рази? Можетъ, онъ таперича вона какую думу задумываетъ!.. Можетъ, онъ про Божество.

«Въ моей дѣтской головѣ въ это время какъ-то смѣшанно, но неотвязно и властительно засѣли постоянно одна другую смѣняемыя думы объ улетѣвшихъ сейчасъ съ пола золотыхъ полосахъ, о только-что оконченномъ житіи святаго мученика и о словахъ отца, которыми онъ засадилъ меня на лавку и заставилъ слушать чети-минею. Пристально всматриваюсь я, съ моего сидѣнья, въ темный, запачканый уголъ. Оттуда виднѣется мнѣ косматая голова Ѳомы, нашего работника, который орудовалъ тамъ, при помощи топора и долота, надъ санными полозьями. Мои глаза почему-то остановились на затылкѣ Ѳомы и упрямо ищутъ на немъ разъясненія отцовой фразы.

«— Не пролей сухарной жижи! думаю я. Какой такой сухарной жижи? Отчего ее нельзя пролить? И ежели, наконецъ, сухарная жижа стояла бы вотъ здѣсь, передо мною,

и я бы розлилъ ее, что бы мнѣ было за это отъ тяти? Высѣкъ ли бы онъ меня за это, какъ однажды, когда я разбилъ въ горницѣ стекло, или только отодралъ за вихры? Да, наконецъ, почему же бы не дать мнѣ гостинца за розлитую жижу.

«И, словно вызванные торжественнымъ отцовскимъ голосомъ, проходятъ предъ моими младенческими годами важные образы великихъ подвижниковъ христіанства. Съ ихъ широкихъ одеждъ, прямо въ лицо мнѣ, такъ ласково летятъ благовонія, какъ бы отъ кіевскихъ кипарисныхъ крестовъ, которыхъ такъ много приносили намъ наши сельскіе богомольцы и богомолки; свѣтлыя, какъ молнія ночью, искры сыпались съ ихъ круглыхъ, золотыхъ вѣнцовъ и затемняли убогій свѣтъ лучины, а вмѣсто тоскливой тишины, изба наполнялась несказанно-сладкими и звучными голосами.

«До истомы замираю я, всматриваясь и вслушиваясь во все это; но глаза мои, противъ воли, слипаются, разгорѣвшаяся голова склоняется на колѣна матери, и чуть-чуть только, сквозь отяжелѣвшія рѣсницы, видятся еще мнѣ кроткія лица, свѣтлые вѣнцы; но видятся неопредѣленно, отъ чего сердце мое начинаетъ мучительно тосковать, и я принимаюсь рыдать...

Затѣмъ, авторъ описываетъ тяжкую болѣзнь, продолжавшуюся всю зиму и едва прекратившуюся весной, къ святой недѣлѣ. Сквозь эту болѣзнь, по всей вѣроятности, тифъ, сопровождаемый безпамятствомъ и бредомъ, мелькаютъ кое-какія смутныя воспоминанія, изъ которыхъ особенно характеристично описаніе Рождества и христославленія отца автора.

«Будили меня, говоритъ авторъ: — по временамъ крики матери, разговоръ Ѳомы, топанье мужиковъ, вносившихъ отца, какъ и меня больнаго, въ горницу на рукахъ и укладывавшихъ его на постель. Помню я, одни изъ мужиковъ несли самого отца, въ рукахъ у другихъ находилась его высокая мѣховая шапка съ зелено-плисовымъ верхомъ, третьи держали его красивый кумачный кушакъ, войлочный теплый сапогъ, обшитый кожей. Всѣ они говорили матери съ улыбками, необыкновенно похожими на праздничную улыбку отца:

«— Матушка! Извольте принять: все въ сохранности. Вотъ—кушакъ-съ; а вотъ—шапица; а вотъ—деньговъ рупь пять копеекъ... Въ цѣльности все, потому мы — не какіе-

нибудь, а дѣти духовные, своего батюшку-священника помнимъ и знаемъ По рюмочкѣ, матушка, мужичкамъ для праздника Христова, ваша милость будетъ...

«— Однѣхъ курочекъ, маменька, тридцать семь, ласкательно говорилъ раскраснѣвшійся Ѳома, вдругъ врываясь въ горницу: — четыре пѣтушка, маменька, сто двадцать шесть хлѣбцовъ-съ. Вотъ, мы нонѣшній день-съ какъ съ батюшкой орудовали-съ... Пожалуйте ручку-съ, маменька!

«Мужики, смотря на ухорство Ѳомы, принимались смѣяться, закрывая, впрочемъ, свои рты широкими и закорузлыми ладонями, чтобы попадья не видала ихъ улыбокъ, а мать кричала на Ѳому:

«— Разбойникъ! Разбойникъ! Доколѣ ты меня мучить будешь? Вѣдь это ты все батюшку пьянствовать-то назуживаешь. Чѣмъ-бы поберечь хозяина, а онъ — накось! Ишь, какъ самъ нализался! Не просила ли я тебя, безстыжія твои бѣльмы, поберечь его, а?.. Просила, или нѣтъ, сказывай! Помяни мое слово, Ѳомка, послѣ новаго года я тебя въ три шеи отъ себя протурю».

Рядомъ съ этими грустными и тоскливыми дѣтскими воспоминаніями по всѣмъ «Степнымъ очеркамъ» А. И. Левитова разсѣяны и болѣе отрадныя и свѣтлыя картины его дѣтства: это—именно обаяніе южной, степной природы, положившіе глубокій, неизгладимый слѣдъ на всю его жизнь и дѣятельность, сцены дѣтской бѣготни по широкому раздолью степей, игръ, занятій, пѣсенъ и самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній. Особенно въ этомъ отношеніи отличается очеркъ: «Уличныя картины—ребята и учители». «Дѣти раздольныхъ полей, говоритъ А. И. Левитовъ: — широкихъ луговъ и улицъ, мы всегда убѣгали отъ грустныхъ матерей нашихъ въ поля или на улицы, гдѣ обыкновенно забывали и про обѣдъ, и про эти колотушки, которыми такъ тщетно заставляли насъ забывать про эти обѣды (Ст. очерки гл. 2 стр. 51)». Очеркъ «Дворянка» отличается, по всей вѣроятности, въ такой же степени субъективностью личныхъ воспоминаній. Въ немъ описываются игры степныхъ ребятъ подъ предводительствомъ полоумной старухи Забаихи, помѣшавшейся вслѣдствіе того, что младшая сестра ея, оставшаяся на ея рукахъ, была обольщена какимъ-то бариномъ и умерла, проживши съ нимъ ребенка и покинутая имъ.

Этотъ ребенокъ въ видѣ черноглазой, бойкой и ласковой степной смуглянки, является въ очеркѣ первою любовью разсказчика. Племянница Забаихи предводительствовала всѣми дѣтскими играми, командовала надъ самою полоумною теткою и вскорѣ такъ привязалась къ разсказчику, что они жить не могли другъ безъ друга и поклялись даже, когда выростутъ большіе, вступить въ законный бракъ. «Отецъ принялся, между прочимъ, учить меня граматѣ, разсказываетъ А. И. Левитовъ: — которая особенно потому мнѣ не нравилась, что на цѣлые дни разлучала меня съ дѣвочкой. Я безполезно проводилъ мучительно-длинные и жаркіе лѣтніе дни, сидя надъ азбукой и тоскуя о знакомомъ огородѣ. Его веселье, его трава и плетень, раскаленное солнцемъ небо, покрывавшее его, представлялись мнѣ гораздо виднѣе, чѣмъ всѣ эти азбучные азы и титлы; а черномазая дѣвочка, съ своими длинными волосами, съ ясными, всегда такъ нѣжно смотрѣвшими глазами, бѣгавшая по этому огороду, окончательно затемняла глаза мои, такъ что они очень плохо знакомились съ раскрашенными яркою краской картинами въ священной исторіи, которыми отецъ хотѣлъ заохотить меня къ граматѣ»...

Послѣ цѣлаго ряда руготни и истязаній отецъ мальчика, видя, что безъ дѣвочки ученье не идетъ въ голову сыну, рѣшился учить вмѣстѣ съ нимъ его подругу. Съ дѣвочкой ученье пошло быстро, такъ что очень скоро они, по собственному сознанію отца, и читать, и писать стали не въ примѣръ лучше его. Отъ «Сто четырехъ священныхъ исторій» съ картинами они перешли къ знакомой уже намъ Чети-Минеи и «цѣлый годъ, повѣствуетъ А. И. Левитовъ:—кажется, у насъ не было другого разговора, какъ только о пріобрѣтеніи мученическаго вѣнца. Различные примѣры мучениковъ и мученицъ закалили наши головы страстнымъ истомлявшимъ желаніемъ идти куда-нибудь и прославлять святое имя Христово по всѣмъ широкимъ концамъ земнымъ. Сонныя видѣнія наши были не что иное, какъ отрывки изъ святыхъ поэмъ Чети-Минеи.. Но Чети-Минея была скоро прочитана. Еще намъ откуда-то досталъ отецъ божественныхъ книгъ... Однажды услышалъ наши разговоры дьяконскій сынъ — семинаристъ, который ходилъ къ моему отцу учиться живописи. Какъ теперь помню, первая книга, которую онъ далъ намъ читать,

была «Графъ Монте-Кристо». Послѣ Монте-Кристо мы перечитали всѣ историческія сказки Дюма, а потомъ семинаристъ, пріѣхавъ чрезъ годъ уже на лѣтнія вакаціи, началъ читать вмѣстѣ съ нами Галахова «Хрестоматію». Онъ терпѣливо и охотно вселялъ все лѣто въ наши мозги настоящее дѣло. Горько плакали мы въ это время надъ «Бусурманомъ», весело смѣялись съ Киршей, а потомъ, когда пришла пора, семинаристъ объяснилъ намъ мучительную прелесть Пушкина и мрачно-величавое уныніе Лермонтова!..»

Кончается этотъ очеркъ очень печально.

«Цѣлыхъ десять лѣтъ, говоритъ авторъ: — прошло, нежели я увидѣлъ дворянку. Разъ шелъ я по петербургскимъ улицамъ, весь изможденный тѣми дарами цивилизаціи, которыми обыкновенно осыпаетъ она плебея, старающагося, какъ говорится, съ суконнымъ рыломъ пробиться въ калачный рядъ. Шелъ я, говорю, и, вслѣдствіе многоразличныхъ обстоятельствъ, группировалъ въ головѣ моей небольшіе остатки нѣкогда пріобрѣтенныхъ мною географическихъ познаній, которыя бы могли мнѣ припомнить широкія дороги въ мою широкую степь, къ родимой сохѣ, къ которой, въ этотъ день, я окончательно положилъ себѣ возвратиться.

«Моя дума дѣлала меня до того невнимательнымъ къ столичному шуму, что я рѣшительно не примѣтилъ, какъ мои дырявые сапожонки въ одинъ моментъ истерзали одно необыкновенно-шикарное шелковое платье. Я быстро приподнялъ голову, придумывая получше извиненіе. Предо мной, съ яростнымъ гнѣвомъ на невѣжу и съ грозно поднятымъ зонтикомъ, стояла барышня.

«— Барышня! это — ты? вскрикнулъ я.

«— Ну, моли Бога, Иванъ, что я тебя прежде узнала, чѣмъ ты меня.—А то бы я тебя такъ зонтикомъ обровняла, долго бы помнилъ.

«— Давно ли ты здѣсь? Какъ попала сюда?

«— А, вотъ, пойдемъ ко мнѣ на квартиру. Я тебѣ разскажу, какъ я попала сюда.

«Разсказъ ея былъ не длинный, обыкновенный разсказъ. Но только послѣ него я, какъ нѣкогда Забаиха, заложилъ надъ головой свои руки, вцѣпился ими въ жидкіе волосы и, терзая себя, съ давно позабытыми слезами, кричалъ:

«— Сестра моя! сестра моя! Что же ты сдѣлала надъ собой? Зачѣмъ ты нашу честную родину опозорила?

«Говоря про родину, я и не думалъ, что съ нею вмѣстѣ барышня опорочила и любовь мою, потому что я такъ былъ убѣжденъ въ погибели моей горемычной головы, что было бы съ моей стороны крайне преступно припоминать дѣвушкѣ наше прошлое; но, однако же, мы его припомнили. Припомнили, да, Боже мой! Какъ же пили, какъ же только звѣрски пили мы съ дворянкой, припоминая это прошлое, единственное наше добро, къ которому, на великую нашу бѣду, чувствовали, даже во время пьянства, что нѣтъ намъ возврата, нѣтъ и никогда не будетъ!»

Я позволяю себѣ считать этотъ очеркъ вполнѣ субъективнымъ, прямо относящимся къ личности автора. По крайней мѣрѣ, навѣрное можно сказать, что съ А. И. Левитовымъ случилось нѣчто подобное, что въ дѣтствѣ онъ пережилъ первую любовь въ подобномъ родѣ, и она кончилась именно такъ печально. Въ этомъ убѣждаетъ насъ не одна страстность разсказа, не одни детали игръ, ученья, книгъ, прочтенныхъ съ подругою, детали очень схожія со всею обстановкою дѣтства А. И. Левитова, но также и то обстоятельство, что образъ степной дѣвушки, совращенной съ пути въ столичномъ омутѣ, принадлежитъ къ числу самыхъ любимыхъ авторомъ и наиболѣе глубоко внѣдренныхъ въ его фантазіи; онъ возвращается къ нему очень часто въ своихъ очеркахъ и всегда съ такою же страстью, тоскою, рыданіями и проклятіями.

Всѣ эти факты дѣтства А. И. Левитова обнаруживаютъ намъ его въ видѣ крайне болѣзненнаго и нервно-впечатлительнаго ребенка, съ богатымъ воображеніемъ, развитымъ подъ обаяніемъ южной природы и возбужденнымъ фантастическими грезами подъ вліяніемъ чтенія Четій Миней и слушанія всевозможныхъ сказокъ, легендъ и повѣрій, которыми въ обиліи была преисполнена среда, окружавшая мальчика. Въ играхъ съ сверстниками онъ, конечно, не былъ запѣвалой и предводителемъ. Отсутствіе физическихъ силъ, вмѣстѣ съ пламенною экзальтаціею и грёзами о всевозможныхъ мученическихъ вѣнцахъ, дѣлали его въ глазахъ здоровыхъ, сильныхъ, и реально-мыслящихъ степныхъ мальчугановъ какимъ-то особеннымъ существомъ, не то блаженненькимъ, не то

баричемъ. Его осыпали градомъ колотушекъ и насмѣшекъ, прозывали не иначе, какъ дворянчикомъ, и все это въ дѣтскихъ годахъ будущаго поэта положило уже сѣмена того мрачнаго ожесточенія противъ людской неправды, безчеловѣчной ко всему слабому и немощному—ожесточенія, составлявшаго главную сущность поэзіи Левитова. Уѣздная бурса и губернская семинарія еще болѣе развили это ожесточеніе.

III.

Для этого самаго ужаснаго періода жизни А. И. Левитова отличнымъ матеріаломъ для насъ будетъ служить разсказъ его «Петербургскій случай», въ которомъ рисуется передъ нами петербургскій чиновникъ Иванъ Николаевичъ, мрачный, нелюдимый, сосредоточенный, сильно пьющій и подъ конецъ сходящій съ ума. Описывая галлюцинаціи бѣлой горячки своего героя, авторъ заставляетъ его вспоминать дѣтство и училищные годы, и передъ нами воскресаютъ, очевидно, воспоминанія самого аврора, да мало еще этого: въ разсказъ вклеены отрывки изъ семинарскаго дневника, съ обозначеніемъ даже чиселъ. Какъ всѣ детали этихъ воспоминаній, такъ и самый тонъ ихъ, исполненный слишкомъ нервно-болѣзненнаго и мрачнаго ожесточенія, доходящаго до отчаянья, невольно заставляютъ насъ думать, что и здѣсь мы имѣемъ дѣло съ чисто автобіографическими фактами.

«Во снѣ, повѣствуетъ авторъ про своего героя, Ивана Николаевича:—очень долгое время передъ нимъ бѣсилось коростовое стадо разношорстныхъ ребятишекъ, голодныхъ и потому воровавшихъ у всякаго все, что только попадало подъ руку; безпризорныхъ и потому позвѣрски изодравшихся; безъ хорошихъ, руководящихъ примѣровъ и, слѣдовательно, въ самомъ дѣтствѣ уже обреченныхъ на гибель, какъ, почти безъ исключенія, погибаютъ всѣ люди, неприспособляемые съ раннихъ лѣтъ къ правильнымъ пониманіямъ и отношеніямъ къ жизненной дѣйствительности. Пронзительный звонъ колокольчика загонялъ это стадо въ какія-то смрадныя стойла, гдѣ большею частью ему говорились какія-то ни въ одномъ слоѣ общественной жизни неупотребительныя слова. Шипѣнье гибкихъ, двух-аршинныхъ розогъ, ревъ десятка дѣтей,

которыхъ въ разныхъ стойлахъ полосовали ими, звонъ колокольчика и, наконецъ, ни отчего отъ этого непрерывавшееся внушеніе тарабарской гибели, сливались въ одинъ общій, исполненный самаго варварскаго безобразія гулъ и заставляли Ивана Николаевича, какъ одержимаго горячкой метаться на постели и кричать:

«— Боже мой! Боже мой! Что же это за несчастныя времена были? Сколько честнаго и даровитаго сгублено ими?..

«Болѣзненное личико сутулаго ребёнка опять выглянуло на него изъ этого омута, въ которомъ, какъ бы въ кипящемъ котлѣ, безразлично варились плачущія дѣти, свистящіе прутья и какія-то миѳологическія образины, то протяжно пѣвшія: слудующій! Приступимъ:—Marci Tullii Ciceronis orationum caput secundum, то снисходившія до сладострастной скороговорки: «такъ такъ! Поджарь, поджарь кашку-то, lictor! Хе, хе, хе! Не жалѣй казенненькихъ-то!.. Ихъ цѣлый возъ въ прошлую пятницу на базарѣ куплено. Въ тактъ дѣйствуй, подлецъ! Чикъ, чикъ, чокъ, чокъ! Зайди съ другой стороны, чтобы ровнѣе шли... Я в-васъ!..» Пуще всѣхъ истязуютъ сутулаго мальчика, потому что онъ, по мѣткому выраженію одного изъ преподавателей татаромудрія въ одно и то же время составлялъ и красу, и безобразіе стойла. Красой онъ былъ потому, что лучше и легче другихъ умѣлъ усвоить себѣ неусвоиваемое, безобразіемъ—потому, что, въ дѣйствительности, былъ некрасивъ, болѣзненъ и робокъ. Отсюда происходило то, что мальчишки на смерть заколачивали его, изъ зависти къ его красѣ; а татарщина терпѣть его не могла потому, что была лишена всякой возможности представить вниманію гг. ревизоровъ стойла болѣе представительнаго и красиваго премьера.

«И вотъ, видится ему, что стойло, всегда смрадное, возможнымъ образомъ прибрано: его грязный полъ усыпанъ свѣжимъ сѣномъ, промзглыя стѣны выбѣлены; лохматые ребятишки выстрижены наголо, и прорѣхи на ихъ рваньѣ коекакъ стянуты толстыми, суровыми нитками. Въ притихшемъ стойлѣ уныло звучитъ болѣзненый голосокъ сутулаго мальчика, не безъ нѣкотораго самодовольствія разсказывавшій, какъ когда-то illustrissimus dux на голову расколотилъ цѣлую тьму какихъ-то paganissimos.

«Съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой и, кромѣ того, съ любовью къ изученному дѣлу, мальчуганъ передаетъ въ назиданіе своихъ сверстниковъ всѣ тѣ симпатіи, какія доблестный дѣеписатель выражаетъ къ illustrissimus'у, и равномѣрно все глубокое отвращеніе къ этой расколоченной имъ въ пухъ прахъ сволочи—paganissimus'овъ... Это былъ послѣдній муштръ, которымъ муштровали мальчика въ стойлѣ, и, когда онъ окончился, Иванъ Николаевичъ видѣлъ, какъ сутулый мальчикъ изъ ушата, стоявшаго на дворѣ стойла, умывалъ лицо, раскровавленное нетерпѣливой руководительскою дланію, какъ онъ заботливо пряталъ за пазуху какую-то книжку, какъ переходилъ отвратительный мостишко, перекинутый черезъ великолѣпную рѣку. Потомъ мальчикъ потянулъ въ гору по безконечно-длинной дорогѣ, обсаженной двойнымъ рядомъ густыхъ ветелъ и залитой дивнымъ сіяніемъ солнца. Иногда онъ останавливался, вынималъ изъ-за пазухи книгу и съ видимою радостью принимался читать ея заглавный листъ, на которомъ было написано слѣдующее: за благонравіе и отличные успѣхи въ наукахъ ученику такого-то стойла и проч.

«Вотъ уже виднѣется одинъ только картузишка ребёнка съ разорваннымъ пополамъ козыркомъ. Ивану Николаевичу кажется, что картузишка этотъ плаваетъ на поверхности хлѣбнаго моря, какъ на настоящей рѣкѣ остается и долго плаваетъ шапка человѣка, который спрятался на тѣнистомъ рѣчномъ днѣ вмѣстѣ съ своимъ смертельнымъ горемъ...

«Нѣтъ болѣе сутулаго ребенка! Всего его схоронила эта пустыня, ласковая и величивая.

«— Это онъ домой пошелъ на вакацію! шепчетъ Иванъ Николаевичъ.—Ахъ, какъ тамъ хорошо теперь!»

Затѣмъ воспоминанія Ивана Николаевича переселяютъ насъ въ губернскій городъ и въ семинарію, и тутъ уже начинаются выписки изъ дневника, въ самомъ разсказѣ внесенные въ ковычки. На первомъ планѣ рисуется намъ здѣсь вступительный экзаменъ въ семинаріи.

«Мой тятенька, лѣтописалъ ребёнокъ, все время крестился и плакалъ, стоя у растворенныхъ классныхъ дверей. Съ нимъ вмѣстѣ стояло много священниковъ, дьяконовъ и дьячковъ. Всѣ они вытирали заплаканныя лица красными ситцевыми платками и тоже, какъ и отецъ мой, глубоко

вздыхали и крестились. Я писалъ разсужденіе на латинскомъ языкѣ: serva ordinem et orde servàbile, но не могъ хорошо писать, потому что отъ страха мнѣ хотѣлось спать... Отецъ, въ это время, потихоньку взглядывалъ на меня изъ-за дверной притолки и грозился пальцемъ, чтобы, я старался... Я отъ этого еще пуще пугался...

«Подлѣ меня сидѣлъ мальчикъ съ большими синими глазами. Онъ какъ будто ничего не боялся, а все засматривалъ въ мою тетрадь и все спрашивалъ у меня, кàкъ будетъ perfectum такого-то глагола, кàкъ supinum. Я ему подсказывалъ, что зналъ... Потомъ, мы съ нимъ разговорились шепотомъ, не глядя другъ на друга, чтобы насъ не замѣтили, и онъ сказалъ мнѣ: «напиши мнѣ разсужденіе, amice! Я тебѣ арбузъ ужотка куплю». Я ему сталъ писать, а меня вызвали на середку.

«И какъ я на билеты былъ очень счастливъ, то меня спросили про Китай. Я очень хорошо зналъ про Китай и сталъ отвѣчать, а преосвященный сталъ смотрѣть на меня (сѣдой весь), а глаза у него въ это время то смыкались, то открывались, словно бы и ему спать хотѣлось. Я не могъ смотрѣть ему въ глаза, и самъ отъ страха зажмурился. Такъ и отвѣчалъ, а самъ все думалъ: кàкъ бы меня не спросили изъ физической географіи или изъ Россійской Имперіи! Изъ нихъ я не понялъ, какъ земля совершаетъ двоякое движеніе—около себя и около своей оси; а изъ Россіи, кромѣ какъ наизусть выучилъ всѣ губернскіе и уѣздные города, ничего не зналъ, особенно рѣки, кромѣ Волги, ни объ одной понятія не имѣлъ... Этого я очень опасался... Однако, Богъ спасъ... Спрашивали еще изъ Остъ-Индіи, и это отвѣтилъ отлично. Преосвященный изволилъ благословить меня и сказалъ «хорошо, дитя, старайся!»

«Не помню, какъ я выбѣжалъ къ отцу въ корридоръ. Онъ и дядя стали цѣловать меня и говорить: «молодецъ! Вотъ такъ отрѣзалъ!» Примѣтилъ я, что отъ нихъ обоихъ пахнетъ водкой. Какіе тутъ стояли другіе духовные, всѣ хвалили меня, гладили по головѣ, а одинъ какой-то благочинный съ наперснымъ крестомъ и въ полинялой бархатной камилавкѣ, во все время ходившій поодаль отъ другихъ и важно гладившій бороду, подошелъ къ намъ, далъ мнѣ гривенникъ и, благословивши, сказалъ: «преуспѣвай, остроумецъ! Я на

тебя надѣюсь!» Отъ него и ото всѣхъ пахло водкой. Всѣ другъ надъ другомъ поэтому случаю тихомолкомъ подшучивали?!..

«На другой день мы съ отцомъ встали еще до свѣту, и онъ сталъ говорить мнѣ съ искренними слезами, такъ что всего его въ это время лихорадка била, чтобъ я, какъ можно, старался учиться получше. Богъ дастъ, говорилъ отецъ, окончишь курсъ, поступишь въ попы, такъ, по крайности поможешь сестрамъ въ честное замужество выйти. Не кончишь курса—шабашъ! Сестры твои шинки откроютъ, мы съ матерью побираться пойдемъ, потому мы къ тому времени всѣ жилы изъ себя на васъ повымотаемъ, состаримся.

«Слушая это, я тоже дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и думалъ, какъ это я такъ не окончу курса? Какъ это мои сестры шинки откроютъ, а отецъ съ матерью побираться пойдутъ? За одинъ разъ мнѣ и сердце щемили отцовы слова, и смѣяться хотѣлось отъ нихъ.

«Кромѣ того, отецъ очень сердился на меня за то, что примѣтилъ во мнѣ непочтительность къ старшимъ. «Все, говоритъ онъ:—ты дѣлаешь срыву. Ни къ кому никакого ласкательства не оказываешь.» Я чувствовалъ за собою этотъ порокъ, т. е. что ласкаться мнѣ къ людямъ стыдно, подумаютъ, что я у нихъ прошу чего-нибудь, и потому сталъ плакать, а отецъ утѣшалъ меня и совѣтовалъ какъ можно скорѣе *исправиться*.

«Потомъ я проводилъ его до заставы. Было холодно и дождь лилъ, какъ изъ ведра. Около заставы стоялъ кабакъ, мы вошли въ него. Тамъ горѣла тусклая сальная свѣчка, и сидѣли мужики съ красными, задумчивыми лицами. Отецъ вынулъ изъ за пазухи кошелекъ и всѣ деньги высыпалъ мнѣ. Въ кошелькѣ оказалось три серебряныхъ цѣлковыхъ и гривенъ шесть мѣдныхъ. «Вотъ, говоритъ:—тебѣ до Рождества—кормись! А за квартиру самъ заплачу, когда за тобой пріѣду брать тебя на Рождество». Я сталъ говорить ему, чтобы онъ взялъ у меня рубль, но онъ отказался отъ рубля, а отсчиталъ себѣ только три гривенника, изъ которыхъ одинъ тутъ же и пропилъ. Я спросилъ у него: ка́къ же ты съ двугривеннымъ полтораста верстъ пройдешь? Что ѣсть будешь?

«— Ничего! Какъ-нибудь пройду. Притворюсь дежурнымъ изъ консисторіи—попадьи, надо полагать, кормить будутъ... Дай-ка мнѣ еще гривенничекъ, я выпью.

«Я далъ ему гривенникъ... и онъ выпилъ. Выпивши, обнялъ онъ меня, заплакалъ и, рыдаючи, сказалъ:

«— Несчастные мы! Несчастные! Несчастнѣе насъ, кажется, во всемъ бѣломъ свѣтѣ нѣтъ никого... Всю жизнь, всю-то жизнь жизненскую майся безъ отдыха. Отовсюду, за твой голодъ и холодъ, насмѣшки паскудныя, брань мерзкая— и ничего не подѣлаешь!.. т. е. никакими средствами не вылѣзешь... Какъ-бы не вы, ребята, засѣлъ-бы я въ любомъ кабакѣ и поколѣлъ-бы въ немъ. Ближе мнѣ было-бы!.. Ну, прощай! Да будетъ воля Господня! Смотри-же, другъ, учись, старайся! Выручай!..

«Онъ пошелъ; а я долго смотрѣлъ ему вслѣдъ—до тѣхъ поръ смотрѣлъ, пока совсѣмъ не закрыли его отъ меня туманныя стѣны дождя.

«У меня такъ и разрывалось сердце отъ жалости къ отцу— и я едва-едва не убѣжалъ вслѣдъ за нимъ...»

3-го сентября. Какъ только я, проводивши отца, пришелъ въ классъ, ученики прозвали мена франтомъ, потому-что я былъ въ ватной сибиркѣ изъ желтой нанки и въ замшевыхъ перчаткахъ, такъ какъ руки у меня дома отъ работы и отъ нечистоты закоростевѣли, и отецъ намазалъ мнѣ ихъ сѣрой съ коровьимъ масломъ. Всѣ меня со смѣхомъ принялись бить, плевать въ лицо, а за мальчика съ большими глазами, который наканунѣ укралъ у меня задачу, стали звать выслужкой, т. е. ябедникомъ. Пришелъ профессоръ въ короткомъ сюртукѣ и въ пестрыхъ штанахъ, которые были на манеръ ситцевыхъ. Онъ сталъ говорить со мной, и тогда весь классъ почему-то вдругъ громко захохоталъ, а я сталъ плакать. Профессоръ, вмѣсто того, чтобы заступиться за меня, подморгнулъ ученикамъ и сказалъ имъ: «не тревожьте его, братцы! Это—прекрасный молодой человѣкъ, сочиненіе Поль-де-Кока, романъ въ двухъ частяхъ».

«Цѣлыхъ полтора часа издѣвался надо мною профессоръ, а классъ грохоталъ и, наконецъ, когда пробили звонокъ, онъ сказалъ мнѣ: «ну, прощай, дамскій портной! ха, ха, ха!»

«Такъ съ тѣмъ я и остался, и ни отъ кого мнѣ не было прохода, и имени мнѣ отъ товарищей другаго не было, какъ только дамскій портной и прекрасный молодой человѣкъ. Всѣми силами старался я подружиться съ кѣмъ-нибудь изъ

нихъ, но всѣ они, обругавши меня, насмѣявшись надо мной, уходили отъ меня.

«*Декабря 1-е.* Дали сочиненіе: «Весна пріятна». Нужно было написать три періода: причинный, уступательный и относительный; но я не понялъ, какъ профессоръ училъ сдѣлать это, а просто взялъ и сталъ говорить, какъ приходитъ весна, какъ солнце сушитъ грязь и, вмѣсто нея, встанешь иной разъ поутру, увидишь тропинку мягкую такую, такую бѣлую... Кто протопталъ ее за ночь, не знаешь; а потомъ побѣжишь по ней... Она криво бѣжитъ къ лавкѣ, къ попу, въ кабакъ, потомъ въ лѣсъ, гдѣ и прячется въ прошлогодней, успѣвшей уже обтаять, травѣ. Въ травѣ вода чистая и холодная, какъ ледъ. Руки и ноги, бывало, ужасно, какъ зазнобишь, бродя въ этой водѣ. Онѣ сдѣлаются, бывало, красныя, какъ огонь, а потомъ посинѣютъ. У кого посинѣютъ руки и ноги, мы тому скажемъ: «у тебя руки и ноги помертвѣли», потомъ всѣ бросимся на этого мальчишку, или дѣвчонку и станемъ оттирать, а сами хохочемъ на весь лѣсъ... Около насъ шумѣла глубокая и широкая рѣка, а по ней скоро неслись большія льдины съ густымъ камышомъ. Подъ нимъ бѣгали и жалобно кричали зайцы, а самыя льдины сіяли на солнцѣ такъ, что мы жмурили глаза... Мы смотрѣли на это по цѣлымъ днямъ и цѣлые дни смѣялись...

«Все это я такъ и написалъ. И много другого еще про бабочекъ, про птицъ—потомъ, какъ у насъ однажды въ полноводье лодка плыла съ мельницы, которую чуть-чуть не затопила вдругъ прорвавшаяся плотина. Въ лодкѣ была мельничиха, сама она правила, отталкивала льдины и кричала, чтобы ей помогли и дѣти у ней въ лодкѣ ползали и кричали, а кто былъ на берегу, всѣ молили Бога, чтобы Онъ помогъ ей. Когда-же она подъѣхала къ берегу, тогда всѣ бросились цѣловать ее, а ребятишки, какія тутъ были, смѣялись и плясали.

«На другой день пришелъ въ классъ профессоръ и спросилъ меня:—кто это тебѣ, чучело, написалъ сочиненіе? Я ему сказалъ—никто! Это я самъ написалъ, и въ это время у меня лицо сдѣлалось красное, потому что я на него осерчалъ, зачѣмъ онъ мнѣ не вѣритъ, и мнѣ хотѣлось плакать. Тогда онъ схватилъ меня за уши и закричалъ:—врешь, под-

лецъ! Сейчасъ сознавайся, кто тебѣ это написалъ? Я громко зарыдалъ, а ученики загрохотали.

«Профессоръ согналъ меня въ это время съ перваго мѣста на послѣднее, а я написалъ письмо матери, чтобы она пріѣхала ко мнѣ и *исключила* меня, потому, что я не могу понять ученья, т. е., какъ писать.

«Мать привезла мнѣ сухой малины и орѣховъ; долго плакала, прыскала мнѣ голову святою водой, потому, что голова у меня горѣла, какъ въ огнѣ, а потомъ уѣхала домой съ обратными мужиками, и я остался одинъ...

«Передъ Святой, какъ-то сидѣли мы въ классѣ и профессоръ сказалъ намъ:—ну братцы! Теперь скоро публичный экзаменъ будетъ и намъ нужно навостриться стихи сочинять. Вотъ они какіе бываютъ стихи-то; какъ развернулъ книгу и началъ намъ читать стихотворенія разныхъ размѣровъ, объясняя при этомъ, что такое ямбъ, хорей, дактиль, анапестъ и т. д. И, какъ я у дѣдушки, у протопопа, такихъ стиховъ прежде много читалъ, то и подумалъ, что писать ихъ не мудрено... Еще подумалъ, что, какъ только я напишу стихи, сейчасъ меня всѣ полюбятъ, и профессоръ посадитъ меня на первое мѣсто... Ну, кто же напишетъ, братцы? еще разъ спросилъ онъ, и тогда я всталъ съ мѣста и сказалъ, что я могу писать. Онъ задалъ мнѣ Осень — и къ концу класса я приготовилъ вотъ какіе стихи:

Перезрѣли въ просахъ зерна,
Перезрѣли.
Звонкимъ летомъ надъ рѣками
Птицы пролетѣли.
Вслѣдъ имъ пущенъ громкій выстрѣлъ
Отъ сѣннаго стога.
До весны прощайте, птицы,
Путь вамъ и дорога!
Имъ стрѣлокъ сказалъ, ступая
Топкой колеею,
Былъ онъ съ темными усами.
Съ мерзлой бородою.

«Отъ этихъ стиховъ мнѣ стало еще хуже. Профессоръ избилъ меня за то, что онъ думалъ, что я ихъ списалъ изъ какой-нибудь книги, и все спрашивалъ меня, какого они размѣра, но я не зналъ этого. Пуще прежняго всѣ возненавидѣли меня; ученики изъ другихъ классовъ останавливали

меня на улицахъ, въ корридорахъ и требовали, чтобы я прочиталъ имъ что нибудь *вдругъ изъ своего ума*, и когда я не могъ этого сдѣлать, они били меня и говорили:—эхъ ты, сочинитель кислыхъ щей!

«Однажды я попался на глаза инспектору. Онъ спросилъ у профессора словесности: этотъ, что-ли, у тебя парнишка стихи-то сочиняетъ? Профессоръ отвѣтилъ: такъ точно-съ! Дрянь самая безнравственная... Извольте обратить вниманіе на морду, ваше—іе! всегда внизъ... А это, доложу вамъ—вѣрнѣйшій признакъ злохудожной души-съ...

«Инспекторъ долго и свирѣпо смотрѣлъ на меня, потомъ принялся ощупывать мою голову, стукать по ней въ разныхъ мѣстахъ концами пальцевъ и кулакомъ (всѣ говорили, что онъ отлично умѣетъ узнавать человѣческія способности, и потому многіе господа привозили къ нему для этого своихъ дѣтей) и потомъ, обратившись къ профессору, сказалъ:

«— У него, дѣйствительно, очень развита шишка сочинительства. Только ты гляди у меня, сочинитель:—не пей!.. Знаю я вашего брата. Всѣ вы таковы. Запорю, коли что узнаю... А вы смотрите за нимъ построже, за каждый шагъ пробирайте... Небойсь, остынетъ, а то, вѣдь, это искушеніе сильно... Не всякій съ нимъ совладѣетъ... О-охо-хо!.. Пошолъ прочь!..

«Прошло цѣлыхъ два года еще такого-же безсмѣннаго горя, оскорбленій, слёзъ—и видно было, что ребенокъ формируется. Онъ уже не плакалъ, а злился и негодовалъ, и эта злость и негодованіе были выражены уже не ребячьимъ лепетомъ, а жаркимъ слогомъ юноши, въ которомъ закипѣло страстное и сильно-чувствующее сердце.

«Все-бы это опротивило мнѣ до безумія, писалъ мальчикъ:—еслибы я не подружился съ Васильемъ Западовымъ, который однажды заступился за меня, а потомъ посовѣтывалъ мнѣ, чтобы я самъ старался всякому носъ сорвать...

«— Какого ты чорта смотришь на этихъ подлецовъ? говорилъ Западовъ.—Колони въ морду какого-нибудь мерзавца, сейчасъ же тебѣ отъ этого веселѣе сдѣлается... Это, братъ—вѣрно! Ей Богу! Я это пробовалъ и, вотъ, самъ видишь, кто теперь на меня налетаетъ? А то, вѣдь, и меня, какъ и тебя, чуть-чуть не заклевали...

«Я очень его полюбилъ, и вчера мы выпили съ нимъ

потихоньку отъ нашихъ квартирныхъ полуштофъ сантуринскаго и потомъ за полночь читали книгу «*Мертвыя Души*». Я много плакалъ, смѣялся, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мнѣ дѣлалось до того страшно чего-то, что зубы мои стучали, какъ въ лихорадкѣ... Въ мозгу пробѣгала какая-то смутная мысль о томъ, что «если-бы и мнѣ такъ-то»... Потомъ мысль эта вдругъ смѣнялась стыдомъ и злостью на себя за то, что она шевелится во мнѣ. Въ груди и головѣ моей неотступно сидѣлъ кто-то и сердито говорилъ: развѣ ты смѣешь желать *этого?* и этотъ говоръ былъ настолько слышенъ мнѣ, что я терялъ всякую надежду на что́-то; а между тѣмъ, впервые услышанный мною *громъ другихъ рѣчей*, которыми поэтъ живописалъ людей и природу, лился на меня неизъяснимо-увлекавшей музыкой, отъ которой вздрагивало тѣло и расширялась грудь, вся переполненная чѣмъ-то кипучимъ и необыкновенно сильнымъ»...

«Сантуринское вино вмѣстѣ съ потрясающимъ впечатлѣніемъ чтенія Гоголя произвели то, что мальчикъ впалъ въ безпамятство и снова тяжко заболѣлъ. Очнулся онъ въ больницѣ послѣ кризиса, спустя, повидимому, не малое время:

«— Да что ты, чортовъ сынъ, когда перестанешь барахтаться-то? загремѣлъ, разсказываетъ онъ:—надо мною голосъ человѣка, старавшагося связать мои руки. Ишь, дьяволенокъ, ишь здоровый какой! повторялъ этотъ голосъ.

«Я открылъ глаза и увидѣлъ выбѣленныя стѣны семинарской больницы, мать, умолявшую фельдшера не бить и не вязать меня и обѣщавшую за это сейчасъ же пойти въ лавку и отрѣзать ему сукна на штаны, и Васю Западова.

«— Ну, мать, молись Богу! заговорилъ фельдшеръ матери.—Очнулся, значитъ, сто лѣтъ проживетъ. Бѣжи теперь, тащи мнѣ сукна, да прихвати атласцу на галстукъ аршинчикъ. Очень я галстухами-то пообносился... Ухвати, кстати, маменька, четверточку табаку жукетцу, мы тутъ воскуримъ съ твоимъ птенцомъ. Теперича ему это очень въ пользу пойдетъ...

«И странное дѣло! Вышелъ я изъ больницы съ совершенно облѣзлою головою. Посмотрю на себя въ зеркало, толкачъ толкачомъ, какъ есть уродъ; и между тѣмъ никто надо мною не смѣялся. Я сталъ думать, отчего это меня обижать перестали, хотя, по прежнему, смотрѣли недобро-

желательно, изъ-подлобья, сумрачно—и дѣло объяснилось очень просто: мы всегда и въ классѣ сидѣли, и по улицамъ ходили вдоемъ съ Западовымъ и, если на насъ налеталъ кто-нибудь съ дракой, мы его колотили до того, что начинали, противъ воли, истерически хохотать надъ его болями и бросали тогда уже, когда намъ самимъ дѣлалось нестерпимо больно отъ нашего смѣха... Потомъ, мы съ Западовымъ стали брать деньги за то, что писали за другихъ учениковъ сочиненія—и на эти деньги покупали красное вино, которое въ банѣ и выпивали. Это еще болѣе увеличило почетъ, которымъ мы начинали пользоваться. У насъ оказалось много преданныхъ ребятъ, которымъ мы писали даромъ, и они разсказывали всѣмъ, что мы необыкновенно умные и добрые, такъ что къ намъ стали ластиться изъ страшихъ классовъ. Разсуждая обо всемъ этомъ, мы съ Васильемъ очень смѣялись надъ товарищами и говорили другъ другу: вотъ скоты! Когда мы имъ хотѣли душу отдать, они издѣвались надъ нами, какъ надъ собаками, а теперь... вонъ какая штука пошла!..

«Долго мы съ своими неопытными умами вертѣлись около этой штуки и, наконецъ, рѣшились поступать всегда такимъ образомъ: пробирать всѣхъ и вся, а то самого убьютъ...

«Ужь и доставалось же отъ насъ нашимъ пріятелямъ! Мы состроили себѣ изъ двухъ нашихъ маленькихъ физическихъ силъ одну, о которую разбивались всѣ остальныя, а нравственныя силы къ намъ обоимъ сами пришли... Понявши этотъ фактъ, мы смѣялись и колушмятили, колушмятили и смѣялись...

«— Вотъ теперь въ насъ съ тобою сидятъ подлинно злохудожныя души! часто съ громкимъ хохотомъ говаривалъ Василій, раздавая направо и налѣво забористые тумаки.

«Впрочемъ, когда мы оставались съ Западовымъ одни, мы долго совѣтывались, какъ бы намъ безъ драки помириться со всѣми—и не находили никакого другаго средства. Я до слезъ унывалъ отъ этого, а Васютка надвинетъ-бывало брови, по лицу у него забѣгаютъ въ это время угрюмыя и вмѣстѣ печальныя тѣни—и скажетъ:

«— Э! не плачь! Чортъ съ ними! Давай-ка читать...»

«И они съ жадностью принимались читать... и далѣе воспоминанія А. И. Левитова передаютъ рядъ впечатлѣній,

производимыхъ на юношей чтеніемъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Дикенса, Тэккерея и пр.

IV.

Это обиліе чтенія имѣло тѣ послѣдствія, что на 17-мъ году А. И. Левитовъ покинулъ семинарію, будучи на философскомъ отдѣленіи, и рѣшился отправиться въ Москву, въ университетъ. За неимѣніемъ средствъ, ему пришлось совершить это путешествіе въ 500 верстъ пѣшкомъ. Прійдя въ Москву, онъ началъ слушать лекціи въ университетѣ и готовиться ко вступительному экзамену. Горизонтъ его жизни въ эту пору значительно прояснился; это была, повидимому, лучшая эпоха его жизни. Онъ попалъ въ Москву и въ университетъ въ самое оживленное и горячее время общественнаго пробужденія передъ реформами. Послѣ той страшной семинарской каторги, какую мы видѣли на предъидущихъ страницахъ, началась для него, полная надеждъ и мечтаній, горячихъ споровъ, разумнаго чтенія, жизнь въ студенческомъ кружкѣ (въ которомъ, вмѣстѣ съ Левитовымъ, былъ Кельсіевъ). Выдержавши вступительный экзаменъ, А. И. Левитовъ, однако же, не остался въ московскомъ университетѣ, а перебрался въ Петербургъ, гдѣ поступилъ въ медико-хирургическую академію. Здѣсь жизнь его потекла также дѣятельно, разумно и оживленно, какъ и въ Москвѣ: рядомъ съ студенческими занятіями, онъ отдавалъ весь досугъ свой чтенію и изученію какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ поэтовъ и беллетристовъ. Но печальный случай измѣнилъ все; Левитовъ былъ запутанъ въ какія-то исторіи, исключенъ изъ академіи и очутился на далекомъ сѣверѣ—въ Шенкурскѣ, потомъ въ Вологдѣ.

Эта шенкурская и вологодская эпоха тяжело отразилась на всей жизни А. И. Левитова. Вдали отъ интеллигентныхъ центровъ, въ борьбѣ съ нищетою, среди уѣзднаго общества, тонущаго въ грубомъ матеріализмѣ, А. И. Левитовъ окончательно ожесточился, одичалъ и сжился съ тѣми низшими слоями общества, изобразителемъ жизни которыхъ онъ является. Въ тоже время, скука, праздность, лишенія и уныніе, вмѣстѣ съ заразительнымъ примѣромъ окружавшей его

среды, развили и ожесточили въ немъ тотъ порокъ, задатки котораго, въ видѣ выпиванія сантуринскаго и краснаго вина вмѣстѣ съ Западовымъ, мы видѣли уже въ семинарской жизни А. И. Левитова. Если можно какимъ добромъ помянуть этотъ періодъ его жизни, то развѣ тѣмъ, что въ это время онъ серьезно приступилъ къ литературнымъ трудамъ и уже въ Шенкурскѣ были начаты имъ «Степные Очерки», а, съ переѣздомъ въ Вологду, онъ въ состояніи былъ окончить нѣкоторыя изъ начатыхъ работъ и послать въ Москву, въ редакцію одного журнала. »Въ 1861 году, повѣствуетъ Нефедовъ въ своемъ некрологѣ:—Левитовъ возвратился въ Москву. Возвращеніе это потребовало нѣсколькихъ мѣсяцевъ: онъ шелъ, по обыкновенію, пѣшкомъ и безъ гроша денегъ. Чтобы не умереть съ голоду и продолжать дальнѣйшее путешествіе, онъ принужденъ былъ останавливаться въ селеніяхъ, нанимался писать въ волостныхъ правленіяхъ и получалъ за свой трудъ по полтиннику въ недѣлю. Такъ онъ и дошелъ до Москвы».

Съ 1861 года начинается дѣятельное участіе его въ литературѣ. Онъ помѣщаетъ свои очерки сначала въ журналахъ: «Зрителѣ», Развлеченіи», «Русской рѣчи,», потомъ во «Времени», «Современникѣ», «Библіотекѣ для Чтенія», «Искрѣ», «Недѣлѣ» и многихъ другихъ періодическихъ изданіяхъ. Къ этому-же времени относится между прочимъ и знакомство его съ разными литературными дѣятелями того времени, напримѣръ съ Ап. Григорьевымъ, который привѣтствовалъ его появленіе на литературное поприще и поощрилъ начинавшій талантъ. Вся дальнѣйщая жизнь А. И. Левитова носитъ довольно однообразный характеръ, такъ что, вмѣсто подробнаго перечисленія фактовъ ея по годамъ, что́ было бы и довольно затруднительно, вслѣдствіе неимѣнія обстоятельныхъ свѣдѣній для этого, я ограничусь одною общею характеристикою этой жизни.

Въ сущности, это была не жизнь въ истинномъ смыслѣ этого слова, а какое-то непрестанное маянье и постепенное угасаніе. Литературный трудъ очень плохо обезпечивалъ бѣднягу и, къ тому-же, онъ поспѣшилъ обзавестись семьею, чѣмъ еще болѣе отягчилъ и безъ того нерадостную жизнь свою. Можно положительно сказать, что въ продолженіи всей жизни человѣкъ этотъ не зналъ, что значитъ имѣть

свой домашній очагъ, мебель, обстановку, хотя бы самую убогую: онъ былъ вѣчнымъ безпріютнымъ странникомъ, вмѣщавшимъ все свое добро въ маленькій чемоданчикъ, и съ этимъ чемоданчикомъ скитался по меблированнымъ комнатамъ, по столичнымъ чердакамъ и подваламъ. Къ тому же, онъ не могъ нетолько примкнуть къ одному какому-либо изданію и сдѣлаться его постояннымъ сотрудникомъ, но и укорениться въ одной изъ столицъ: поживетъ въ Москвѣ годикъ, другой, а то и нѣсколько мѣсяцевъ, и начинаетъ тяготиться московскою жизнію: «здѣсь все начинаетъ плесневѣть, говоритъ раздраженно своимъ близкимъ: — тутъ сдѣлаешься или пошлякомъ, или сопьешься...» Ѣдетъ въ Петербургъ: тамъ, въ сущности — тоже самое: подвальчики, чердачки, борьба съ нищетою, да еще къ тому и убійственный климатъ, подъ вліяніемъ котораго у Левитова ожесточается кашель, начинается кровохарканье, грудныя боли—онъ ѣдетъ опять въ Москву — поправиться съ силами, отдохнуть, повидаться съ знакомыми. А въ Москвѣ опять ждетъ его все та же убогая, сырая, холодная комнатка гдѣ-нибудь въ захолустьѣ, и тоскливое одиночество вмѣстѣ съ проклятіями смрадной, удушливой физической и нравственной атмосферы столичной жизни и тщетными порываніями степняка въ родной край, на широкій и вольный просторъ благоухающихъ степей. Но, чтобы нагляднѣе представить себѣ душевное настроеніе такой жизни, развернемъ сочиненія А. И. Левитова и посмотримъ, какъ самъ онъ разсказываетъ про него въ началѣ своихъ очерковъ «Жизнь московскихъ закоулковъ». Представьте себѣ пасхальную ночь, всеобщую праздничную суету и приготовленія къ торжеству и среди этого всего одинокое, безпріютное дитя степей, кинутое въ столичный омутъ и въ смрадъ комнатъ «*снебелью*».

«Почти полночь, читаемъ мы на 7-й страницѣ этихъ очерковъ: — въ комнатахъ «*снебилью*» тишь. Всѣ разошлись по заутренямъ. Всегда темный корридоръ нашъ слабо освѣщенъ чуть-чуть мерцающей гдѣ-то въ углу лампадкой. Кто настолько ведетъ одинокую жизнь, что и въ эту ночь сидитъ одинъ дома, тому, мало сказать — скучно, потому что того смертнаго томленія, того съ каждой минутой болѣе и болѣе гнетущаго изнываніе души, которое неминуемо объемлетъ одинокаго человѣка, нельзя обозначить этимъ словомъ. Мнѣ

въ эту минуту скучно именно такъ, какъ сказалъ я, потому что я сижу одинъ. Мнѣ вспоминается мое прошлое, когда я не былъ одинъ. Сельская церьковь, думаю я: — иллюминована теперь общими стараніями прихода; на улицахъ веселая, дѣтски-радующаяся жизнь. Предъ образами ярко горятъ свѣчи прихожанъ; еще ярче блестятъ имъ въ глаза парчевыя ризы священниковъ. Мой десятилѣтній дискантъ валдайскимъ колокольчикомъ звенитъ съ клироса, заглушая доморощенный хоръ.

«Ба! что это такое необыкновенно теплое вдругъ охватило всю грудь мою, залило сердце и волной хлынуло въ глаза? Я давно не испытывалъ такого ощущенія. Во время оно за нимъ слѣдовали слёзы. Но, увы, нѣтъ теперь слёзъ, какъ нѣтъ людей, съ которыми я былъ не одинъ!

«Одинъ! Что такое одинъ? А вотъ что́: въ комнатахъ снебилью я задолжалъ теперь сорокъ рублей восемнадцать копеекъ. Отопру я сейчасъ-же вотъ этотъ столъ, возьму изъ него свои документы и сейчасъ же уѣду изъ квартиры, отряхнувши прахъ съ сапоговъ моихъ. Пойду направо — никого не встрѣчу, кто бы сказалъ мнѣ: приходи поскорѣе: пойду налѣво — тоже... И такъ до гроба!

«Тяжесть ночной думы объ одиночествѣ можетъ быть, впрочемъ, значительно облегчена скрежетаніемъ зубовъ, не театральнымъ, а настоящимъ царапаньемъ своими ногтями своей груди, а главное—стараніемъ увѣрить себя, что нѣтъ худа безъ добра...

«Безпомощное положеніе бѣднаго, одинокаго человѣка вызываетъ у него энергію, которая, еслибъ онъ былъ обезпеченъ, могла-бы, пожалуй, совсѣмъ не проявиться», слышалъ я недавно.

«Это очень хорошо-съ!.. «Съ», прибавляю я здѣсь съ тою именно цѣлью, чтобы какъ можно учтивѣе похвалить это правило.

«— Когда говоришь съ какимъ-нибудь бариномъ, вразумляла меня покойница-мать (а правило слышалъ я отъ одного очень состоятельнаго барина): — говори всегда: слушаю-съ, сударь-съ! Такъ съ господами говорить, милый ты мой, политика требуетъ. Перенимай, что́ тебѣ хорошіе люди скажутъ, а мы съ отцомъ послѣднія жилы изъ себя вытя-

немъ да учиться тебя отдадимъ. Ты тогда у насъ самъ бариномъ будешь.

«Бѣдная! Ученье мое дѣйствительно порвало у васъ съ отцомъ послѣднія жилы, хотя я и не знаю, чему я выучился, точно такъ же какъ не знаю того, кто теперь, послѣ смерти отца, будетъ пахать ту наслѣдственную полосу, которую я долженъ былъ пахать послѣ него.

«Какія однакожь странныя думы иногда забираются въ голову, какъ неожиданно и, повидимому, непослѣдовательно вызываютъ онѣ одна другую! Наслѣдственная полоса! наслѣдственный садъ!.. Снѣгъ въ моей полосѣ растаялъ теперь, весенній разливъ до сыта напиталъ ея землю; ждетъ она теперь, чтобы теплое солнце весеннее согрѣло ее, назябшую зимними холодами, ждетъ, чтобы пріѣхалъ пахарь-хозяинъ и бросилъ сѣмена въ теплыя нѣдра. Говорю: ждетъ еще всего этого моя полоса, потому что въ настоящую минуту такъ-же пусто, такъ-же грустно и молчаливо на ней, какъ вотъ въ этой комнатѣ. А садъ? Ранняя нынче весна, и надо полагать, что дорожки его просохли уже; но вѣрно и то, что тихо и пусто теперь въ немъ, какъ тихо и пусто на полосѣ. Какъ, я думаю, испугались и забѣгали зайцы, пріютившіеся въ немъ на зиму, когда увидѣли, какъ на сельской колокольнѣ запылало зарево праздничнаго освѣщенія! Я какъ будто слышу даже, какъ шуршатъ они въ непроходимомъ вишнякѣ, стараясь укрыться въ его разрѣженной морозомъ чащѣ. И думается мнѣ, что и садъ, запущенный вслѣдствіе ученья моего разнымъ наукамъ, ждетъ теперь, когда кончится обѣдня и взойдетъ свѣтлое, праздничное солнце. Не пусто будетъ тогда въ немъ, потому что вбѣгутъ въ него въ это время рѣзвыя дѣти, такія-же красивыя и цвѣтущія, какъ были, припоминаю я, красивы и цвѣтущи молодые вязы, что̀ росли въ четырехъ углахъ нашего сада. Вотъ передо мной и вязы, подъ тѣнію которыхъ я, мои братья и сестры игрывали когда-то. Такъ, это именно стоятъ теперь передо мной стройные стволы деревьевъ, которыя росли вмѣстѣ со мною; это ихъ зеленые листья, что бывало вѣчно шепчутся межъ собой и заставляютъ задумываться. А вотъ за чертой, которую дѣлали вязы—и родное село. Я живо вижу его тихую улицу. Черезъ пятнадцать лѣтъ я не забылъ ни одной лачужки. Прошлое, прошлое мое! Картины

твои всѣ тѣже, какими они были когда-то. Гдѣ-же люди, которые ихъ оживляли? Вѣдь, безъ людей онѣ—мертвы.

«— Умерли люди, умерли! говоришь ты мнѣ старина.— Всѣ умерли?—Всѣ.—Хорошо-съ! Это очень хорошо-съ! А полоса моя, а садъ мой, вязы, село—все это живо еще, все это, разсчитываю, не измѣнилось!—Разсчитывай! Все это не измѣнилось, все это живо.—Спасибо, старина, спасибо!

«Громъ кремлевскихъ пушекъ прокатился въ этотъ моментъ по московскимъ улицамъ. Но думы мои, испугавшись этого грома, не вдругъ отлетѣли отъ меня. Я осмотрѣлся. Передо мной за столомъ сидѣлъ мой сосѣдъ по комнатамъ снебелью, выгнанный изъ службы—талантливая натура. Полведерная, неподкрашенная бутыль нагло возвышалась на столѣ, уменьшенная, впрочемъ, болѣе, нежели на четверть.

«Я бросился къ открытому окну. Въ глаза мнѣ наказывающею молніей блеснула иллюминація Ивана-Великаго, въ лицо пахнулъ холодный вѣтеръ ночной. Сотни колоколовъ таинственно говорили съ сурово-молчащею ночью о воскресеніи Вѣчнаго Свѣта, разгоняющемъ всякій мракъ. Въ тысячѣ мѣстъ тысячью громовыхъ голосовъ раздавалось громовое пушечное эхо.

«— Съ прра-а-здникомъ! бормоталъ мнѣ полусонный и совершенно пьяный сосѣдъ. Фыцьемъ, лю-бе-е-зный другъ!

«Я не могъ отвѣчать ему, потому что языкъ мой не слушался меня. Мою душу и голову жегъ огонь сознанія, что въ эту ночь я гнусно наругался надъ святыми заповѣдями отца и матери.

«Стояли они передъ глазами моими, эти простые, столько любившіе, столько страдавшіе люди; головы свои сѣдыя склонили къ чахлымъ грудямъ и плачутъ... Молча плакали они, но мнѣ понятно было, что они хотѣли сказать мнѣ: «Обманулъ ты насъ, Вася! Обманувши, въ гробъ силою вколотилъ», слышалось мнѣ въ мертвенно унылой тиши комнатъ *снебелью...*»

Такъ жестоко страдалъ, томился и вянулъ степной цвѣтокъ, оторванный отъ родной почвы и непригрѣтый въ суетѣ и смрадѣ столичной жизни... Тоска по родинѣ и тщетныя порыванья въ родной край «на наслѣдственную полосу» проходятъ по всѣмъ сочиненіямъ А. И. Левитова; отражаются они и въ некрологѣ Нефедова.

«— Я усталъ, говорилъ Александръ Ивановичъ Нефедову въ одну изъ бесѣдъ:—мнѣ необходимъ отдыхъ. Здѣсь, въ Москвѣ, или въ Петербургѣ объ этомъ нечего и думать... Довольно, будетъ ужъ съ меня «*столицій*-то: слава Богу, въ загривокъ-то достаточно-таки онѣ наклали мнѣ... Ахъ, братъ, на родину какъ тянетъ, еслибы ты зналъ!.. Стариковъ моихъ вживѣ ужъ нѣтъ — не хватило у нихъ силъ, мочи перенести горе; мой Шенкурскъ убилъ и отца, и мать. Такъ и не привелось видѣться съ стариками... Теперь остались только сестра и братъ. Хоть бы на нихъ взглянуть!..»

И вотъ, не въ силахъ, за неимѣніемъ средствъ, попасть на родину и, желая быть къ ней хоть поближе, онъ начинаетъ хлопотать о мѣстѣ уѣзднаго учителя въ Ряжскѣ. «Ряжскъ, говоритъ онъ:—вѣдь это—ужъ почти что моя родина: отъ Ряжска до Козлова по желѣзной дорогѣ, а тамъ—рукой подать, мое село». Съ большими мытарствами и трудомъ досталъ себѣ это мѣсто А. И. Левитовъ, но не долго пробылъ на немъ: въ августѣ 1866 уѣхалъ изъ Москвы, а въ декабрѣ писалъ уже Нефедову: «много ошибокъ и безтактныхъ вещей дѣлалъ я на своемъ вѣку, но, говоря по всей совѣсти, онѣ положительно блѣднѣютъ передъ такой великой глупостью, какъ мое поступленіе учителемъ въ Ряжскъ», и на рождественскихъ праздникахъ Левитовъ снова былъ уже въ Москвѣ. Такъ же неудачна была попытка его посѣтить родину и позже, въ 1870 гооу. Въ іюнѣ этого года, онъ писалъ Нефедову: «Ѣду на родину. Проѣздомъ черезъ Москву, непремѣнно заверну къ тебѣ. Наконецъ-то сбылись мои давнишнія мечты и желанія: я увижу родину»!.. Но, пріѣхавъ въ Москву, онъ засѣлъ въ ней, и, вмѣсто родины, ему пришлось остаться въ Москвѣ и поселиться близъ ваганьковскаго кладбища, въ коморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозь крышу дождь, и опять пошла жизнь, полная страданій и лишеній.

Впрочемъ, нужно замѣтить, что не одинъ недостатокъ въ средствахъ и дороговизна центральныхъ квартиръ загоняли его постоянно на городскія окраины, въ глушь, какъ онъ выражался, «*дѣвственныхъ* улицъ». Эти дѣвственныя улицы привлекали его также и потому, что въ нихъ не было ненавистнаго ему городскаго шума, и онѣ напоминали ему своимъ полудеревенскимъ видомъ его родину, какъ объ этомъ

самъ онъ говоритъ во многихъ мѣстахъ своихъ сочиненій. «Пріѣхавши въ столицу, читаемъ мы на 225 стр. «Жизни московскихъ закоулковъ»:—изъ глубины степей болѣе или менѣе откормленнымъ парнемъ, я нѣкоторое время былъ объятъ глубокой тоской по родинѣ. Эта тоска усиливалась до тяжкой болѣзни, когда, бывало, городской шумъ прорывалъ золотую цѣпь моихъ представленій о тишинѣ степей нашихъ, о ихъ могущественной красотѣ, о ихъ, наконецъ, своеобразной, непримѣтной для посторонняго глаза жизни, которая въ неисчислимое количество разъ казалась мнѣ иногда и дѣятельнѣе, и разумнѣе жизни, такъ возмущавшей своимъ громомъ мою степную натуру противъ столичной дѣятельности. И вотъ, когда я въ первый разъ, случайно, попалъ въ одну изъ дѣвственныхъ улицъ, когда я увидѣлъ за заборомъ одного домика развѣсистую яблоню, а на улицѣ невыполотую траву, въ которой играли котята и чирикали молодые воробьи, тогда я почувствовалъ къ этимъ улицамъ необыкновенную слабость. Въ ихъ успокоивающей тиши очень скоро проходила хандра отъ отношеній и обязанностей, которыя неумолимо принуждаетъ меня выполнять городская жизнь: поэтому, вотъ, уже нѣсколько лѣтъ брожу я по этимъ улицамъ, ищу ихъ близь заставъ, въ Замоскорѣчьи, ищу въ сердцѣ Москвы, и я даже открылъ такую мѣстность, которую сами обыватели не могли назвать мнѣ. Недавно только, когда я изучалъ прилегающія къ ней улицы, со мной встрѣтился необыкновенно-дряхлый старецъ, который сказалъ мнѣ, что мѣсто это называется «Марьиной Слободкой», что это очень хорошее мѣсто, потому что живутъ они себѣ здѣсь тихо да смирно, ровно у Христа за пазухой».

Но не одна сельская обстановка и тишина дѣвственныхъ улицъ, разгонявшія хандру городской суеты и успокоивавшія раздраженные нервы страдальца, манили его къ себѣ: любилъ онъ и скромныхъ, бѣдныхъ обитателей этихъ улицъ, безхитростно-простыхъ, радушныхъ, душевныхъ людей нищеты, мастеровыхъ мѣщанъ, отставныхъ солдатъ и т. п. Онъ бѣжалъ къ этимъ людямъ отъ нравственныхъ противорѣчій, искуственности, напускной гуманности и черстваго высокомѣрія интеллигентныхъ слоевъ общества и чувствовалъ себя у нихъ, какъ дома, отдыхалъ среди нихъ душою. Довѣріе, которое они питали къ нему, умѣнье стоять съ ними на

равной ногѣ по-пріятельски—составляли его нравственную гордость, которую онъ высказываетъ въ разныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій и которою тщеславится передъ своимъ интеллигентнымъ читателемъ:

«Когда я, читатель, говоритъ онъ на 339 стр. «Жизни московскихъ закоулковъ»:—одинъ иду къ хорошимъ людямъ, я дохожу до нихъ такъ же легко, какъ пришелъ сейчасъ истый москвичъ въ своей собственный домъ. Я и съ будочникомъ побалуюсь, я и собакъ поласкаю, ежели онѣ смирны, а ежели злы, то даже и побью ихъ, несмотря на то, что отъ «гуманства» этого, которое во мнѣ понасыпано, я бы въ пропасть всею головою моею готовъ во всякое время шарахнуться безъ малѣйшаго разговора... Снѣговые сугробы, или даже грязь по колѣно меня тоже нисколько не останавливаютъ на моей дорогѣ, потому что я такую пѣсню знаю, которая говоритъ, что «Черезъ черную грязь перепелицей». Но ты, читатель, всегда былъ, есть и будешь для меня тяжелой обузой, потому что ты ежегодно тратишь шестнадцать съ полтиной на какую-нибудь газету или журналъ, выписка котораго обязываетъ всѣхъ твоихъ друзей твердо вѣровать въ то, что ты—человѣкъ цивилизаціи, другъ прогресса и т. д. Друзья съ благоговѣніемъ просятъ у тебя почитать журнальчика или газеты, и ты снисходительно даешь имъ оные и тутъ же сообщаешь имъ, что—Гарибальди... что—земная кора... питаніе опять... соціальность... терпимость и... и чортъ тебя знаетъ, о чемъ ты съ чужого голоса нагородилъ въ разныя минуты своей жизни, чего совсѣмъ не городятъ въ тѣхъ улицахъ, гдѣ мы находимся съ тобой въ данную минуту и куда, по настоящему, ходить тебѣ рѣшительно не за чѣмъ; но ты въ послѣдніе дни твоего существованія очень приналегъ на всѣ эти «Петербургскія», «Московскія», «Варшавскія» et coetera трущобы, и, такъ какъ роли политика, натуралиста, соціалиста и, наконецъ, порицателя или поощрителя различныхъ внутреннихъ мѣропріятій тебѣ демонски опротивѣли, то ты, вспомнивши золотое время твоего *невозвратно-минувшаго дѣтства*, захотѣлъ, на старости лѣтъ, еще разъ порисоваться въ роли знаменитѣйшаго принца Герольштейна; и пошелъ ты по этому случаю, вмѣстѣ съ авторами различныхъ трущобъ, по столичнымъ кабакамъ, для изученія младшей, падшей и вообще всяческой братіи,

которую ты почему-то считаешь во всѣхъ отношеніяхъ хуже себя и которую, на этомъ основаніи, ты назвалъ *меньшею братіей*. Авторы-то кое-какъ выкарабкались изъ кабаковъ; конечно, не всѣ, и правда, что съ достаточнымъ угарцемъ, потому что быть въ огнѣ и не обжечься—нельзя; но тебя-то, непривычнаго человѣка, тамъ либо исколотили на смерть, либо самъ ты запился въ нихъ, не могши сладить съ своимъ ретивымъ, которое до конца изомлѣло и сокрушилось отъ того крѣпкаго буйства, какому предавались кабачные, погибающіе люди на порогахъ своихъ видимыхъ могилъ.

«Вотъ почему ты для меня—обуза, читатель, на этой улицѣ. Воротись лучше назадъ отъ дѣйствительности, которою ты брезгаешь до отвращенія или боишься до смерти. Вернись, говорю. Слышишь, какъ будочникъ Илюша, только-что сейчасъ по-ребячьи игравшій съ москвичемъ, пристально всматривается въ насъ съ тобой и совсѣмъ какъ настоящій часовой, грозно вскрикиваетъ:—Кто идетъ?—А эти собаки? Обличаемыя каждымъ нумеромъ московскаго «Развлеченія», онѣ тѣмъ не менѣе не перестаютъ пробирать незнакомыхъ пѣшеходовъ, безпокоящихъ ихъ мирную жизнь въ тихой улицѣ. Видишь, какимъ бѣшенымъ стадомъ и съ какимъ неистовымъ лаемъ мчатся онѣ на насъ? Бѣжи! Бѣжи и не связывайся съ этимъ извозчикомъ, который вдругъ, ни съ того, ни съ сего, строго и бранчиво принимается уличать тебя въ полунощничествѣ и въ шаромыжничествѣ, легкимъ посвистываніемъ натравляя на то, чтобъ онѣ согнали тебя съ «ихней» улицы.

«— Часовой! кричишь ты, справедливо полагая, что будочникъ Илюша сейчасъ прольетъ за тебя всю кровь и сразится съ собаками не на животъ, а на смерть. Бѣдный! ты сильно ошибаешься.

«— Проваливай, проваливай! отвѣчаетъ на твой крикъ Илюша и затѣмъ суетливо начинаетъ соваться въ разныя стороны, разговаривая промежь себя, «что ахъ ты, братцы мои, куд-ды это дубину я тутъ положилъ? Ах-хъ! Хорошо бы это вдоль ногъ ему запустить...»

«— Здравствуй, Илюша! привѣтствую я лично стража тихой улицы.—Какъ живешь—можешь?

— А, здорово, баринъ! Кто это съ тобой проходилъ сейчасъ?

«— Да это такъ, Илюша! Это—читатель.

— Читатель?.. Какой такой?—Нынѣ, самъ знаешь, какъ стррог-га!

«— Ну тебя къ лѣшимъ! Ты на именины, чтоль, къ Мирону Петровичу собрался? Я, вѣдь, слышалъ, какъ ты съ нимъ переговаривался. Я самъ тоже къ нему.

«— Къ самому?

«— Нѣтъ, я къ прачкѣ—къ Петру Александрову. Дома скучно стало. Дай, молъ, схожу поболтать.

— Такъ, такъ! совсѣмъ ужь ласково подтверждаетъ Илюша.—Вмѣстѣ, значитъ, пойдемъ. Я тебя черезъ заборъ подсажу, а то у нихъ экую рань ворота всегда запираютъ, такъ чтобъ не испугать, не безпокоить, потому дѣдъ у нихъ—дворникъ и сердитый такой на счетъ безпокойства... Такъ-то «облаетъ»... (См. «Ж. м. зак. стр. 319).»

Тщеславясь такимъ образомъ разницею отношеній простаго люда къ нему и читателю, въ другомъ мѣстѣ онъ, наоборотъ, выставляетъ на видъ различіе своихъ личныхъ отношеній къ простому люду и къ интеллигентному слою. Изображая себя въ одномъ изъ очерковъ («Фигуры и тропы о московской жизни») проснувшимся послѣ сильной попойки у знакомаго московскаго обывателя дѣвственныхъ улицъ, Чижа, онъ восклицаетъ: «Повторяю, въ концѣ концовъ, что я былъ очень радъ, что очутился у Чижа, потому что часто также приходится мнѣ трудить ошалѣлую голову надъ разгадкой, у кого именно изъ моихъ барственныхъ друзей встрѣчаю я извѣстное утро, тысячью невидныхъ и неслышныхъ для посторонняго глаза голосовъ и лицъ, но безпощадно осуждающее меня бездомовнаго пьяницу, то словно жалѣющее и плачущее надо мною горячими слезами родныхъ людей, которыхъ я хочу выжить изъ моей памяти и никакъ не выживу?.. Съ ужасомъ думалъ я, разговаривая съ Чижихой: чтобы было со мной, ежели бы я проснулся теперь не въ ея квартирѣ? Благовоспитанный другъ мой читалъ бы мнѣ мораль, что необходимо и проч. отпаивалъ бы кофеемъ, говорилъ бы со мною *по-мужицки*, либеральничалъ; между тѣмъ, самъ я, въ каждомъ звукѣ, изъ какихъ состояли бы его нескончаемыя рацеи, явственно разбиралъ звонкій нестерпимо-рѣжущій хохотъ уродливаго дьяволенка пьянства, который самымъ подлымъ образомъ вихлялся бы передо мной въ синемъ пла-

мени спиртовой лампы, варившей кофе, дразнилъ бы меня и кричалъ другу моему и наставнику:

«— Да что это ты ему разговоры разговариваешь? ха, ха, ха!—Ему погромче тебя въ мильйонъ разъ говорили когда-то, да не послушалъ... ха, ха, ха! («Горе селъ и дер.» стр. 420)».

«Въ Москвѣ у меня бездна литературныхъ и университетскихъ друзей, повѣствуетъ онъ въ другомъ мѣстѣ (См. Ж. моск. закоул. стр. 296):—которые меня весьма терпятъ и у которыхъ, слѣдовательно, я удобно могъ бы сложить свой страннический посохъ, но, пославъ ихъ въ душѣ моей къ Богу въ рай, я, по прибытіи въ Москву, направился прямо въ дѣвственную улицу, гдѣ жилъ мой старый другъ, старый отставной унтеръ-офицеръ, который былъ кумъ, т. е. у котораго, благодареніе Создателю, мнѣ довелось привести въ крещеную вѣру трехъ дѣтей».

Всѣ эти выдержки ясно показываютъ намъ въ лицѣ А. И. Левитова вовсе не интеллигентнаго наблюдателя народныхъ нравовъ со стороны, а человѣка, вполнѣ сливавшагося съ народною жизнію и до конца своихъ дней не перестававшаго быть человѣкомъ народа. Не на народъ, а на интеллигентные слои онъ смотрѣлъ со стороны, и то презрѣніе къ ихъ напускной гуманности, искусственности и нравственнымъ противорѣчіямъ, какое мы видѣли въ вышеприведенныхъ цитатахъ, доходитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его сочиненій до крайней нетерпимости. Такъ, въ очеркѣ «Крымъ» (Жизнь моск. закоул.), онъ изливаетъ подобныя чувства именно на одного изъ элегантныхъ наблюдателей народныхъ нравовъ, затесавшагося въ кабакъ и ломавшагося тамъ своими легковѣсными фразами въ либеральномъ духѣ: «Между тѣмъ, говоритъ онъ:—великосвѣтскія манеры моего случайнаго знакомаго неимовѣрно бѣсили меня, потому что, чѣмъ дальше сидѣли мы съ нимъ въ зловонномъ трактирѣ, тѣмъ больше онъ пропитывалъ харчевную атмосферу своими тончайшими духами, такъ-что самые нахальные крымскіе глаза безъ какого-то смущенія и даже какъ будто-бы страха не могли выносить блеска опала въ его золотой булавкѣ, а въ то время, когда, казалось, самыя стѣны подземелья хотѣли лопнуть отъ шумнаго скопища, тискавшагося въ немъ, около нашего стола непонятнымъ образомъ, былъ нѣкоторый про-

сторъ. «Чортъ его побери совсѣмъ! злобно думалъ я про моего элегантнаго друга:—угораздитъ же человѣка, одѣтаго въ такую изящную жакетку, въ галстукѣ котораго блеститъ, наконецъ, такое сверкающее произведеніе Фульды, затесаться въ *Крымъ!* Кажется, мнѣ придется хорошенько раскровянить его! И клянусь вамъ, раскровянить этого молодца непремѣнно бы слѣдовало, потому что его барство до крайности напугало присѣвшаго къ нашему столу стараго солдата. По его задумавшемуся лицу я очень хорошо видѣлъ, что солдатъ, такъ же какъ и я, съ большимъ удовольствіемъ съѣздилъ бы въ физіономію къ баричу».

Въ этой цитатѣ А. И. Левитовъ—весь передъ вами, со всѣми его симпатіями и антипатіями и во всей наивной грубости степнаго дикаря. Хотя къ этому нужно замѣтить, что грубость эта была однимъ внѣшнимъ слоемъ грязи, наросшимъ на поэтѣ, вслѣдствіе обстановки жизни его, но въ существѣ это была натура крайне нѣжная и деликатная, нимало неспособная приводить въ дѣйствіе тѣ угрозы, которыми онъ разразился противъ элегантнаго друга, смутившаго его своимъ пребываніемъ въ «Крымѣ». Объ этомъ мы можемъ судить по тѣмъ рефлексіямъ и насмѣшкамъ надъ собою, которыми ниже въ своемъ очеркѣ разражается поэтъ въ сознаніи неспособности къ выполненію грубой угрозы.

Послѣдніе годы жизни А. И. Левитова носятъ все тотъ же мрачный колоритъ, что и вся его жизнь, если еще не мрачнѣе. Съ 1870 года до самой смерти, Левитовъ почти безвыѣздно жилъ въ Москвѣ; въ послѣдній разъ онъ посѣтилъ Петербургъ на короткое время въ 1871 году. Попрежнему, зимою онъ жилъ гдѣ нибудь у драгомиловскаго моста, въ подвалѣ, или у ваганьковскаго кладбища; потомъ переселялся въ какую-нибудь подгородную деревню или Петровско-Разумовское. Здоровье его медленно, но замѣтно уходило; кашель сталъ повторяться все чаще и чаще. Литературныя его работы шли тихо; лучшая вещь, написанная имъ за послѣдній періодъ, помѣщена въ журналѣ «Грамотѣй», и носитъ заглавіе «Аховскій посадъ». Главнымъ, если не единственнымъ средствомъ къ жизни служило ему въ эти годы изданіе его сочиненій. Съ начала 1875 года онъ началъ быстро худѣть, зловѣщій кашель мучилъ его, и онъ часто жаловался на боль въ груди.

И умереть пришлось ему, какъ умираютъ многіе такіе же бездомовные и безпріютные странники, закинутые въ чужедальную сторону, какимъ былъ и онъ: въ казенно-черствой обстановкѣ университетской клиники.

Я не знаю, какіе нужно коментаріи и нужно ли какія-бы то ни было при видѣ этой столь безотрадно-прожитой жизни для уясненія тѣхъ особенныхъ причинъ, которыя помѣшали молодымъ беллетристамъ, и А. И. Левитову въ томъ числѣ, возвыситься въ развитіи своихъ талантовъ до чего либо великаго и геніальнаго. Впрочемъ, что касается до читателей, не отличающихся особенною быстротою соображенія и даромъ сопоставленій и сравненій, я прошу ихъ представить только себѣ общій характеръ жизни всѣхъ предыдущихъ, дореформенныхъ нашихъ поэтовъ и беллетристовъ, и читатели поймутъ тогда, какую діаметральную противоположность представляетъ этотъ характеръ жизни съ характеромъ жизни пореформенныхъ беллетристовъ. Прежніе наши поэты и беллетристы съ самаго нѣжнаго возраста были окружаемы всѣми и матеріальными, и умственными благами, способствовавшими къ процвѣтанію и быстрому развитію ихъ талантовъ. Дѣтство ихъ проходило гдѣ-нибудь на лонѣ природы, подъ тѣнистыми садами родимыхъ усадебъ, въ холѣ и нѣгѣ со стороны не чающихъ въ нихъ души родителей, подъ попеченіемъ русскихъ и иностранныхъ пѣстуновъ, при чемъ очень часто будущіе украсители русскаго слова начинали свой младенческій лепетъ по-французски или по-англійски. По бо̀льшей части случалось такъ, что или отецъ, или мать имѣли большое пристрастіе къ летературѣ, и въ домѣ была масса книгъ, журналовъ, кипсековъ, или гдѣ-нибудь въ углу дома таилась дѣдовская библіотека, въ которой мирно почивалъ, въ русскомъ захолустьѣ, гордый царствомъ разума XVIII-й вѣкъ. Глядишь, мальчикъ шести лѣтъ уже становился къ классическія позы и декламировалъ передъ гостями изъ Расина или Корнеля, а 10-ти лѣтъ писалъ стихами цѣлыя поэмы. Затѣмъ, слѣдовали юношескіе годы, университетъ, отвлеченно-философскіе споры и шумныя студенческія попойки, на которыхъ торжественно варилась жжонка и весело лилось шампанское... Потомъ начиналась настоящая жизнь, описаніе которой біографы относительно почти каждаго писателя, начинаютъ съ того, что «вырвавшись изъ-

подъ школьной феруры, NN или ZZ, нѣсколько лѣтъ провелъ въ вихрѣ шумныхъ, свѣтскихъ развлеченій»... Затѣмъ, если литературное призваніе преодолѣвало страсть къ волокитству, кутежамъ и картамъ, то остепенившійся поэтъ запирался въ кабинетъ и имѣлъ возможность предоставить полную волю своему вдохновенію. Ему ничто не мѣшало то или другое произведеніе по нѣскольку разъ переписывать, передѣлывать, работать надъ нимъ мѣсяцы и годы, пока, наконецъ, оно не возводилось въ его глазахъ въ «перлъ творенія». Въ то же время, онъ примыкалъ къ какому-нибудь литературному кружку, чему-нибудь въ родѣ «Бесѣды любителей россійскаго слова», «Арзамаса», или позже къ кружку, группировавшемуся вокругъ Бѣлинскаго. И вотъ, не ограничиваясь однѣми уединенными бесѣдами съ музой, каждую написанную строчку подвергалъ онъ неоднократнымъ чтеніямъ различнымъ авторитетнымъ и компетентнымъ друзьямъ, при чемъ слѣдовали взаимныя обсужденія и обсужденіе этихъ обсужденій, совѣты и обсужденія этихъ совѣтовъ, передѣлки и новыя обсужденія этихъ передѣлокъ и т. д. Одинъ литературный ветеранъ добраго стараго времени недавно еще выражалъ по этому поводу удивленіе, сравнивая его время, когда каждая написанная страница чуть не наизусть выучивалась всѣми друзьями и почитателями поэта прежде, чѣмъ отправиться въ типографію, и наше время—когда авторы спѣшать сдавать наборщикамъ свои рукописи, не перечитывая ихъ и не дожидаясь даже, чтобы обсохли, на нихъ чернила. Но пусть этотъ ветеранъ познакомится съ обстоятельствами жизни А. И. Левитова, и онъ убѣдится тогда, имѣли-ли возможность, какъ этотъ писатель, такъ и многіе собраты его (Помяловскій, Рѣшетниковъ, Кущевскій), жизнь которыхъ имѣетъ большую и поразительную аналогію съ жизнію А. И. Левитова даже во многихъ мелочахъ, имѣли ли они возможность, говорю, культивировать, развивать свои таланты и творить такъ, какъ это дѣлали ихъ предшественники? Мы видимъ, что въ самомъ нѣжномъ ихъ дѣтствѣ, подъ сѣнію родительскихъ домовъ, успѣвали уже внѣдряться въ ихъ сердца задатки унынія и ожесточенія. Ихъ окружали со всѣхъ сторонъ и смущали ихъ младенческія души тяжкія хлопоты о насущномъ хлѣбѣ и разъѣдающія дрязги нищеты. Случалось, что родители проклинали часъ и день ихъ рожденія,

смотря на нихъ, какъ на лишніе, голодные рты, и съ тукманками совали въ эти голодные рты послѣднюю черствую корку хлѣба. Въ родительскихъ домахъ они нетолько не видѣли ни одной свѣтской книжонки, но, напротивъ того, встрѣчали ту подозрительность и нерасположеніе къ свѣтской литературѣ, которыя до сихъ поръ замѣчаются среди народа. Затѣмъ слѣдовала отупляющая семинарская долбня, сопровождаемая рядомъ самыхъ безчеловѣчныхъ истязаній. Затѣмъ, послѣ большихъ мытарствъ и съ громадною тратою молодыхъ силъ, добирался юноша до столицы, но тамъ его встрѣчали голодъ, холодъ и сырость убогихъ каморокъ «*снебилью*», и безпомощный не пригрѣтый ни чьимъ участіемъ, юноша окончательно надламывался. Эта надломленность потомъ производила свое обратное дѣйствіе и парализовала всякую возможность къ дальнѣйшимъ шагамъ его на пути жизни. Являлась какая-то опущенность, апатія и полное равнодушіе къ окружающей обстановкѣ. Мало того: укоренялось что-то въ родѣ привычки къ скитальчеству и безпріютности, и послѣднее возводилось во что-то въ родѣ нравственнаго принципа. Такъ, когда юношѣ улыбался какой-либо успѣхъ, являлся хорошій заработокъ и нѣсколько лишнихъ копѣекъ въ карманѣ, ему вдругъ дѣлалось жаль своей нищеты и словно будто совѣстно: ему начинало казаться, что онъ сейчасъ-же разлѣнится, ожирѣетъ, зазнается и забудетъ свое горе и горе тысячъ подобныхъ ему; и вотъ, вмѣсто того, чтобы употребить зашедшую въ карманъ лишнюю копейку на улучшеніе своего положенія и средствъ къ дальнѣйшимъ успѣхамъ, онъ спѣшилъ поставить ее ребромъ, отдѣлаться отъ нея, словно она жгла его карманъ и какъ-будто въ ней-то именно и лежало все зло и весь ядъ нравственной гибели. Такъ, А. И. Левитовъ, по словамъ многихъ его знавшихъ, начиналъ чувствовать себя словно будто отступникомъ и испытывать муки совѣсти, когда ему приходилось мѣсяцъ-другой проживать не въ какой-либо роскоши, а въ мало-мальски чистенькомъ номерѣ меблированныхъ комнатъ, которымъ едва удовлетворился бы студентъ, но, пожалуй, и побрезговалъ-бы средней руки чиновникъ. У меня вотъ лежитъ на конторкѣ одна ненапечатанная еще нигдѣ рукопись Левитова, поля которой исписаны выдержками изъ русскихъ поэтовъ, особенно приглянувшимися и поразившими

Левитова, и на первомъ планѣ красуется слѣдующее мѣсто изъ Лермонтова:

Глупецъ! Гдѣ посохъ твой дорожный?
Возьми его, пускайся вдаль.
Пойдешь-ли ты черезъ пустыню,
Иль городъ пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигдѣ пріютъ себѣ не строй...

Это было, такимъ образомъ, не одна вынужденная обстоятельствами нищета, но возведенная въ принципъ, своего рода подвижничество. Прибавьте ко всему этому, что всѣ беллетристы, о которыхъ мы говоримъ, изъ самаго ранняго возраста выносили пристрастіе къ вину и очень рано начинали пить горькую чашу, и пьянство ихъ представляло изъ себя не одинъ веселый загулъ молодости, а носило тотъ мрачный характеръ питья въ одиночку, какой представляетъ изъ себя такъ часто запой русскаго человѣка, и вамъ понятно станетъ, можно ли было и думать объ особенно тщательномъ культивированіи, о развиваніи ихъ поэтическихъ талантовъ. Однимъ словомъ, въ лицѣ этихъ беллетристовъ, представляется ничто иное, какъ нѣсколько выходцевъ изъ степей и различныхъ россійскихъ захолустій, наивно-простодушныхъ самоучекъ, которые безхитростно выражали въ своихъ разсказахъ и очеркахъ все, что видѣли, слышали, сами испытывали, все, что волновало, поражало и ожесточало ихъ. Передъ вами самородное и самодѣльное русское искусство, естественно возросшее на чистомъ воздухѣ русской жизни, внѣ всякихъ теплицъ, искуственныхъ орошеній и подогрѣваній. Поэтому, произведенія этихъ писателей вдвое поучительны въ томъ смыслѣ, что показываютъ вамъ, какое искусство можетъ произростать на настоящей русской почвѣ, сообразно качеству ея и всѣхъ условій произрастанія.

Въ то же время, изъ всего вышеизложеннаго понятно станетъ, почему произведенія этихъ беллетристовъ представляютъ изъ себя такой необработанный въ техническомъ отношеніи видъ и хаотическій характеръ. Имѣли ли возможность эти писатели заниматься тщательною обработкою своихъ произведеній и приданіемъ имъ художественно совершенныхъ и прекрасныхъ формъ, когда съ одной стороны — въ лицѣ ихъ мы видимъ самоучекъ, не успѣвшихъ даже и

познакомиться иногда со всѣми таинствами традиціонной, художественной техники, нетолько что вполнѣ усвоить ихъ, а съ другой стороны — до того ли было имъ возводить свои произведенія въ «перлъ созданія», когда каждую едва написанную строчку приходилось поскорѣе торопиться сбывать на литературный рынокъ изъ опасенія завтра остаться безъ обѣда! Имъ очень часто некогда было и оканчивать свои произведенія, нетолько что обработывать ихъ. Такъ мы видимъ, что весьма многіе разсказы А. И. Левитова представляются началами, отрывками, эпизодами изъ большихъ работъ, задуманныхъ, но оставшихся невыполненными. Чтобы читателямъ представлялись вполнѣ наглядно причины подобной невыполненности работъ и отрывочности разсказовъ А. И. Левитова, я считаю нелишнимъ сдѣлать нижеслѣдующую выдержку изъ некролога Нефедова. Когда въ 1870 году Левитовъ пріѣхалъ изъ Петербурга въ Москву съ цѣлію отправиться далѣе на родину, у него былъ задуманъ романъ подъ заглавіемъ «Сны и факты» съ эпиграфомъ изъ Некрасова «Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ», и онъ сообщилъ уже Нефедову планъ этого романа.

— Первую главу я ужь началъ писать, говорилъ Левитовъ.—Поѣду теперь на родину, поживу тамъ и буду продолжать.

«Но, продолжаетъ Нефедовъ:—видно ужь такъ на роду было написано, чтобы желанія Левитова никогда не исполнялись: злая судьба не переставала надъ нимъ тѣшиться... Вмѣсто родины, ему пришлось остаться въ Москвѣ и поселиться близь ваганьковскаго кладбища, въ каморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозь крышу дождь. Опять жизнь, полная лишеній и страданій... Одинъ изъ его друзей перетащилъ его на другую квартиру, на Остоженку. Здѣсь Левитовъ окончилъ первую главу своего романа. Здоровье его ухудшалось; видимо, онъ ужь началъ сомнѣваться, что не въ силахъ будетъ осуществить планъ. Вмѣсто романа, Левитовъ хотѣлъ написать повѣсть, которая была-бы эпизодомъ изъ романа; заглавіе повѣсти онъ далъ: «Говорящая обезьяна». Онъ не окончилъ и этой повѣсти; гнетущая нужда, необходимость дневнаго существованія вынуждали его искать денегъ. Написавши первую главу «Говорящей обезьяны», Левитовъ отослалъ ее въ одну изъ петербургскихъ ре-

дакцій и черезъ нѣсколько времени получилъ гонораръ до напечатанія; при этомъ была возвращена и рукопись, такъ какъ не найдено было возможнымъ печатать разсказъ въ такомъ неоконченномъ видѣ».

Вотъ, въ какомъ ужасномъ видѣ представлялось зачастую творчество нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Ну, не смѣшно-ли, въ виду всего этого, претендовать на законченность и совершенство художественныхъ формъ ихъ произведеній?

Вообще, обращая вниманіе на всѣ условія жизни А. И. Левитова, остается удивляться не тому, что онъ преждевременно сошелъ въ могилу, не успѣвъ возвыситься надъ своими первыми разсказами и создать что-либо выдающееся и великое, а, напротивъ того, поразительно, какъ онъ могъ все-таки прожить 45 лѣтъ и остаться до своей смерти на высотѣ своихъ «Степныхъ очерковъ», которые, при всѣхъ ихъ техническихъ недостаткахъ, во всякомъ случаѣ, обличаютъ въ немъ несомнѣнное и весьма недюжинное художественное дарованіе. Это, еще разъ повторяю я, заслуживаетъ большого удивленія и показываетъ, какими мощными физическими, умственными и нравственными силами обладалъ покойный поэтъ.

V.

Познакомившись съ фактами жизни А. И. Левитова, теперь мы обратимся къ его сочиненіямъ. Эти факты жизни выяснили передъ нами тѣ обстоятельства и условія, которыя дѣйствовали на творчество поэта подобно тому, какъ поздніе весенніе и лѣтніе морозы дѣйствуютъ на всходы хлѣбовъ, особенно же нѣжныхъ полуденныхъ растеній, несвойственныхъ слишкомъ сѣвернымъ широтамъ, и помѣшали этому творчеству развернуться вполнѣ роскошнымъ и богатымъ цвѣтомъ, во всей его красѣ. Теперь мы посмотримъ, какъ тѣ же самыя обстоятельства обусловили собою характеръ и содержаніе произведеній А. И. Левитова, какъ вполнѣ естественно и органически вытекли образы и мотивы творчества покойнаго поэта изъ фактовъ и условій его жизни. Мы увидимъ, такимъ образомъ, въ лицѣ А. И. Левитова вовсе не одного изъ тѣхъ искусственно-тенденціозныхъ писателей, ка-

кими привыкли у насъ представлять себѣ всѣхъ беллетристовъ этой школы. Подобное представленіе предполагаетъ обыкновенно отсутствіе всякой органической связи между жизнью поэта и образами его произведеній. Онъ можетъ быть богатъ и бѣденъ, счастливъ или несчастливъ, можетъ жить въ какой угодно средѣ общества, пожалуй, хоть въ полномъ затворничествѣ кабинетнаго труженичества, это — рѣшительно все равно: онъ искуственно нанизываетъ въ своихъ произведеніяхъ тѣ факты жизни, какіе внушаетъ ему тенденціозность, которую онъ проводитъ. Его сердце, можетъ быть, переполнено счастіемъ и блаженствомъ только-что удовлетворенной любви, но долгъ велитъ ему изображать муки и слезы семейнаго раздора, и онъ долженъ во что бы то ни стало настраивать свои нервы на скорбный ладъ и выжимать изъ глазъ непослушныя слезы; ему тепло и сытно послѣ какого-нибудь лукуловскаго обѣда передъ ярко-горящимъ каминомъ, а ему слѣдуетъ во что бы то ни стало изображать муки голода и холода непокрытой нищеты. Сочиненія А. И. Левитова въ связи съ обстоятельствами его жизни показываютъ намъ совершенно противное. Мы видимъ, въ лицѣ А. И. Левитова, поэта въ истинномъ смыслѣ этого слова — поэта, который въ каждой строкѣ выражалъ всего себя, всецѣло, со всѣми внутренними тайниками своей души, каждая строка котораго была пережита, вымучена не однимъ задѣваніемъ симпатическихъ струнъ его сердца, но и личнымъ, тяжкимъ опытомъ. Однимъ словомъ, передъ нами — вовсе не поэзія гуманнаго сочувствія и состраданія, а поэзія личнаго горя. Въ этомъ отношеніи скорѣе можно усомниться относительно органической связи съ жизнію и непроизвольной непосредственности въ твореніяхъ весьма многихъ нашихъ поэтовъ, считающихся представителями «чистаго искуства», въ родѣ, напримѣръ, Ап. Майкова, Тютчева, Фета и проч. чѣмъ въ произведеніяхъ А. И. Левитова. Можно скорѣе подумать, что какой-нибудь «Клермонтскій соборъ» Ап. Майкова или «Василій Шабановъ» гр. А. Толстого суть произведенія искуственно вымышленныя, неимѣющія ни малѣйшей связи ни съ внутреннимъ міромъ поэтовъ, создавшихъ эти произведенія, ни съ внѣшними обстоятельствами ихъ жизни, чѣмъ предположить это относительно любого изъ очерковъ А. И. Левитова.

Стоитъ обратить вниманіе на одну внѣшность произведеній А. И. Левитова, на форму ихъ, языкъ, пріемы автора, «физіономію» поэзіи его, если можно такъ выразиться, чтобы убѣдиться въ этомъ. Произведенія эти, какъ уже было объ этомъ говорено нами выше, представляютъ рядъ отрывочныхъ, клочковатыхъ, нестройныхъ и по большей части неоконченныхъ очерковъ. Но, собственно говоря, названіе «очерковъ» не совсѣмъ точно и можетъ дать нѣсколько ложное понятіе о формѣ произведеній А. И. Левитова. Подъ очеркомъ разумѣется произведеніе объективно-эпическое, изображающее тѣ или другія явленія жизни въ общихъ, наиболѣе крупныхъ чертахъ и притомъ касающееся преимущественно внѣшнихъ сторонъ, не заходя глубоко въ сущность изображаемыхъ явленій. Но А. И. Левитовъ былъ слишкомъ субъективный поэтъ для того, чтобы быть способнымъ писать подобнаго рода художественно-созерцательные или тенденціозно-поучительные очерки. Поэтому, если вы захотите въ точности опредѣлить форму произведеній его, то вы не найдете иного термина, какъ развѣ «безформенныя лиро-эпическія импровизаціи»! Каждое произведеніе А. И. Левитова представляетъ изъ себя обыкновенно разноцвѣтный калейдоскопъ образовъ, воспоминаній, мыслей и воплей наболѣвшей души. Все это въ пестромъ хаосѣ тѣснится, словно спѣша и едва поспѣвая другъ за другомъ и смѣняясь съ такою же капризною произвольностью, какъ смѣняются сны или грёзы въ горячечной головѣ. Съ большими обиняками добирается обыкновенно авторъ до главнаго предмета своего повѣствованія, и много ему нужно сначала выпустить переполняющихъ голову образовъ и впечатлѣній, чтобы, наконецъ, добраться. И всѣ эти обиняки дѣлаются безъ всякой предвзятой цѣли, съ тою же непроизвольностью, съ какою въ головѣ каждаго человѣка одни представленія смѣняются другими, занося его иногда не вѣсть въ какую область. Ему, напримѣръ, хочется изобразить вамъ горе какого нибудь сапожника или отставного солдата, но начинаетъ онъ рѣчь не иначе, какъ съ самого себя, изображая свою особу въ видѣ бездомнаго горемыки Ивана Сизаго, обычнаго своего псевдонима, и вотъ онъ разсказываетъ, какъ этотъ Иванъ Сизой идетъ поздно ночью по улицамъ какого-нибудь московскаго захолустья, тонетъ въ сугробахъ и разговариваетъ въ хмѣльномъ чаду съ

едва мигающими фонарями. И вотъ развертывается передъ вами картина этого хмѣльного чада, проносятся образы одни другихъ мрачнѣе, цѣлый рядъ разъѣдающихъ думъ, сѣтованій, и вдругъ среди этой страшной мглы словно блеснетъ яркій лучъ солнца и развернется передъ вами, въ видѣ воспоминаній дѣтскихъ лѣтъ, степная картина, блещущая яркими красками и отраднымъ, теплымъ колоритомъ, а далѣе— опять мракъ, снѣжные сугробы, свинцовыя грёзы бѣлой горячки, а на слѣдующей же страницѣ передъ вами внезапно раздается молодой, бойкій, раскатистый хохотъ надъ какимъ-нибудь смѣшнымъ движеніемъ или выраженіемъ героя, и вся страница обливается мѣткимъ, сильнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, простодушно-веселымъ юморомъ. Однимъ словомъ, видно, что авторъ никогда не заботился ни о строгомъ планѣ, ни о размѣрахъ и соотвѣтствіи частей своего произведенія, а отдавался всецѣло на волю своей прихотливой фантазіи, не зная заранѣе, куда она его занесетъ. Фантазія же эта была живая, пламенная, и вообще можно сказать, что поэзія А. И. Левитова по яркости колорита, по страстности и лиричности, вполнѣ представляетъ изъ себя южный типъ. Это отражается и въ языкѣ А, И. Левитова. Слогъ его своею музыкальностью, пѣвучестью, принимающею въ лирическихъ и патетическихъ мѣстахъ почти стихотворные размѣры, напоминаетъ въ этомъ отношеніи слогъ Гоголя: рѣчь А. И. Левитова представляетъ собою рядъ періодовъ, такихъ же длинныхъ и закрученныхъ, какъ у Гоголя, и точно также длиннота ихъ, главнымъ образомъ, происходитъ отъ массы картинныхъ и затѣйливыхъ эпитетовъ, метафоръ и уподобленій, которыми до излишества оснащена рѣчь поэта. Въ то же время одною изъ самыхъ рѣзкихъ, бросающихся въ глаза и весьма характеристическихъ особенностей поэзіи А. И. Левитова представляется страсть къ олицетвореніямъ мертвой природы: ни одного очерка не обходится у А. И. Левитова безъ того, чтобы у него не переговаривались между собою или съ героями стулья, столы, диваны, самовары и пр. Такъ, въ одномъ очеркѣ, онъ олицетворяетъ старое бревно, лежавшее у кабака, въ одномъ степномъ селѣ, въ образъ пропившагося, обнищалаго старичонки и заставляетъ это бревно произносить цѣлые монологи о кабачныхъ посѣтителяхъ, садившихся на немъ калякать между собою, а подъ конецъ бревно это, возмутившись сце-

нами, происходившими возлѣ кабака, «приподнялось съ земли, гнѣвно засверкало впалыми глазами и заговорило столь грозно, что дорожная пыль отъ говора того яростно кружившимися столбами къ небу взвилась и всего его затуманила». Въ другомъ же мѣстѣ своихъ произведеній («Вѣрное средство отъ раззоренія») онъ заставляетъ разговаривать между собою мраморныя статуи на лѣстницѣ одного купеческаго дома въ Москвѣ, и статуи произносятъ цѣлые сатирическіе монологи о грубости и дикости купеческихъ нравовъ и пр. Эта страсть къ олицетвореніямъ, выходящая мѣстами изъ всѣхъ границъ и отягощающая излишними длиннотами рѣчь, и безъ того уже чрезвычайно образную и преисполненную яркихъ метафоръ и уподобленій, есть тоже одно изъ свойствъ южнаго типа поэзіи А. И. Левитова.

Но довольно о внѣшней физіономіи поэзіи А. И. Левитова; обратимся теперь къ внутреннему ея характеру и содержанію. Но здѣсь на пути нашемъ стоитъ рядъ ходячихъ предразсудковъ, обойти которые нѣтъ никакой возможности и отъ которыхъ первымъ дѣломъ слѣдуетъ расчистить путь нашей характеристики. Предразсудки эти происходятъ вслѣдствіе отсутствія всякаго твердаго и опредѣленнаго критерія относительно беллетристики народнаго быта. Каждый руководствуется въ этомъ случаѣ своими личными требованіями и вкусами, смотря по тому, какими самъ глазами смотритъ на бытъ народа, насколько ему знакомъ или незнакомъ этотъ бытъ и что въ онъ немъ предполагаетъ или отрицаетъ. Такъ мы видимъ, что одни читатели и судьи вполнѣ удовлетворяются вѣрностью изображенія народнаго быта съ одной внѣшней его стороны, въ духѣ грубаго натурализма. Для нихъ совершенно достаточно, чтобы изображаемые мужики говорили совершенно вѣрно по-мужицки, чесали въ затылкѣ пятернею, когда слѣдуетъ, и просили на водку совершенно такъ же точно, какъ это происходитъ въ дѣйствительности. Затѣмъ, если писатель съумѣетъ описать довольно натурально базарный или праздничный день въ селѣ, знаетъ, гдѣ у мужика лежатъ соха и борона, когда и какъ происходитъ сватовство, какія рѣчи ведутся и какія пѣсни поются на дѣвичникѣ, при этомъ съумѣетъ описать ухаживанье парня за дѣвкою такъ, что оно выйдетъ настоящимъ деревенскимъ ухаживаньемъ, а не облеченными въ мужицкія рѣчи нѣжными изліяніями

въ любви салонныхъ селадоновъ, да если еще ко всему этому съумѣетъ ловко ввернуть два-три мѣстныя словечка или особенности жаргона, то весьма многіе будутъ готовы видѣть въ авторѣ самого тонкаго и глубокаго знатока народнаго быта. Зато иные подходятъ къ этой беллетристикѣ съ такими страшными по своей необъятности и туманности требованіями, что невольный ужасъ беретъ за бѣдныхъ изобразителей народнаго быта. Людямъ этимъ постоянно мерещется, что гдѣ-то тамъ, въ нѣдрахъ народныхъ массъ, въ самой глубокой глубинѣ народной, словно на морѣ Океанѣ, на островѣ Буянѣ, за тридесятью замками, таится нѣкій кладъ, въ видѣ особеннаго какого-то народнаго міросозерцанія, народныхъ идеаловъ, постиженіе которыхъ и должно будто бы составлять задачу каждаго нравоописателя народнаго быта. Народъ, по мнѣнію этихъ господъ, вовсе не проводитъ открыто въ самой жизни этихъ своихъ завѣтныхъ идеаловъ, а блюдетъ ихъ въ своей душѣ и особенно тщательно скрываетъ ихъ отъ каждаго человѣка, носящаго европейское платье, питая къ такимъ людямъ крайнее недовѣріе. Поэтому, самою высшею заслугою и конечною, идеальною цѣлію нравоописателя должно представляться умѣнье заслужить полное довѣріе народа, войти въ его душу и успѣть захватить тамъ за хвостъ искомую жаръ-птицу, для того, чтобы вывести ее на свѣтъ Божій въ очеркахъ, повѣстяхъ или романахъ. Такія рѣчи доводилось мнѣ не разъ слышать не отъ однихъ славянофиловъ, но и отъ людей, неимѣющихъ ничего общаго съ этимъ ученіемъ. Это—своего рода мистицизмъ, исканіе чего-то невѣдомаго, особеннаго, фантастически-чудеснаго и желаннаго, но чего именно—искатели сами не могутъ дать себѣ отчета.

Я не говорю, чтобы мы вполнѣ знали народную жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ и разнообразныхъ отношеніяхъ, знали всѣ нужды, желанія народа, всѣ его симпатіи и антипатіи и пр., и чтобы намъ нѣчего было изучать въ этой области и нѣчему поучаться въ ней. Напротивъ того, я первый готовъ утверждать, что область эта мало изучена, что мы—большія невѣжды въ ней и что все, сдѣланное до сихъ поръ для этого изученія—капля въ морѣ нашего невѣжества. Но, въ то же время, мнѣ сдается, что изученіе это должно быть настоящимъ, реальнымъ изученіемъ различ-

ныхъ народныхъ отношеній, нуждъ и возникающихъ изъ нихъ требованій, а вовсе не мистическимъ исканіемъ нѣкоего клада, который можетъ быть въ одинъ прекрасный день найденъ и открытъ ключемъ довѣрія и проникновенія въ душу простаго человѣка, и затѣмъ должны будто бы послѣдовать сразу различныя сліянія, просвѣтленія, возрожденія и т. п. Путемъ науки, разсматривающей жизнь народа въ ея собирательномъ цѣломъ, науки, вооруженной статистическими, экоэкономическими, этнографическими, филологическими, историческими и пр., и пр. данными, мы, можетъ быть, раньше или позже дойдемъ до болѣе обстоятельнаго и точнаго знанія народной жизни, чѣмъ какое имѣемъ въ настоящее время, но какимъ бы безконечнымъ довѣріемъ вы ни пользовались въ кругу простыхъ людей, и хоть бы, пользуясь этимъ довѣріемъ, вы залѣзали въ души тысячъ мужиковъ на всемъ пространствѣ Россіи, повѣрьте, что вмѣсто искомыхъ таинственныхъ идеаловъ, вы всегда будете натыкаться на массу конкретныхъ отношеній и дрязгъ жизни, въ хаосѣ которыхъ совсѣмъ потеряетесь, и какъ ни будете копаться въ испытуемыхъ душахъ, ничего въ нихъ не откроете, кромѣ мелочныхъ будничныхъ, насущныхъ заботъ о кускѣ хлѣба, о томъ какъ бы свалить съ плечъ недоимку, выгодно сбыть съ рукъ негодную лошадёнку, которою въ прошлую ярмарку надулъ барышникъ, прибрать къ рукамъ и поутюжить лѣнивую невѣстку и т. п.—и тщетны будутъ всѣ ваши исканія. Но подите, вразумите въ этомъ нашихъ мистиковъ по части народныхъ идеаловъ: повѣрьте, что какія бы новыя данныя и открытія ни представляла имъ наука въ своемъ изученіи народной жизни, они все будутъ оставаться недовольны; имъ все будетъ казаться, что за этими данными и открытіями таится нѣчто такое, что именно и составляетъ самую суть-то, такъ сказать, пупъ земли.

Понятно, что подобные господа должны остаться неудовлетворенными и недовольными всѣми беллетристическими произведеніями изъ народнаго быта, какія только когда-либо проявлялись въ нашей литературѣ, не исключая даже произведеній и такихъ знатоковъ народной жизни, какъ Решетниковъ, Гл. Успенскій или Левитовъ. Имъ подавай такой разсказъ, въ которомъ на нѣсколькихъ печатныхъ листахъ народная жизнь была бы исчерпана вся дотла, со всѣхъ ея

сторонъ, во всей ея глубинѣ и во всей сути народныхъ идеаловъ, и чтобы въ разсказѣ этомъ героями парадировали не какіе-либо Ѳедоръ, Иванъ, Сидоръ, а нѣкій собирательный русскій человѣкъ, въ лицѣ котораго весь народъ предсталъ бы передъ ними, какъ онъ есть до самого нутра. Но замѣтьте при этомъ, что еслибы проявился такой чудо-разсказъ и сразу избавилъ бы васъ отъ заботы изученія народнаго быта, предоставивъ вамъ только прочесть его и въ мигъ постигнуть всѣ таинства народныхъ идеаловъ, то мистики наши, все-таки, не удовлетворились бы, имъ все-таки казалось-бы что нѣтъ, это—не то, что народные идеалы, все-таки продолжаютъ скрываться гдѣ-то за тридесятью замками на морѣ Океанѣ, на островѣ Буянѣ.

Имѣя въ виду всѣ подобнаго рода требованія отъ разсказовъ изъ народнаго быта,—съ одной стороны, требованія слишкомъ поверхностныя и жалкія по своимъ результатамъ, съ другой—слишкомъ строгія и неисполнимыя, я впередъ заявляю, что произведенія А. И. Левитова стоятъ совершенно внѣ этихъ требованій, не имѣя съ ними ничего общаго. Вовсе не заботясь о тщательномъ изученіи жизни народной со стороны, А. И. Левитовъ ни мало не заботился и о томъ, чтобы изображать народный бытъ въ его внѣшнихъ проявленіяхъ со всѣхъ возможныхъ сторонъ, во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, и въ то же время не имѣлъ онъ въ виду никакихъ мистическихъ проникновеній въ суть народныхъ идеаловъ. Какъ истинный, вполнѣ наивно-непосредственный художникъ, будучи самъ человѣкомъ народа и жившій его жизнію до послѣднихъ своихъ дней, онъ изображалъ въ своихъ произведеніяхъ не всю народную жизнь всецѣло, а только тѣ ея стороны, которыя его занимали, поражали, соотвѣтствовали фактамъ его личной жизни и вслѣдствіе этого наиболѣе возбуждали его творчество.

Такимъ образомъ, въ произведеніяхъ А. И. Левитова мы имѣемъ изображеніе народной жизни только съ нѣкоторыхъ сторонъ, наиболѣе авторомъ излюбленныхъ и завѣтныхъ, и, согласно законамъ художественнаго творчества, эти стороны народной жизни представляется въ произведеніяхъ А. И. Левитова въ гораздо болѣе рельефномъ, рѣзкомъ, поразительномъ цвѣтѣ, чѣмъ они существуютъ въ дѣйствительности,

гдѣ они стушевываются въ массѣ разнородныхъ, конкретныхъ фактовъ.

VI.

Какія-же именно стороны народной жизни наиболѣе отразились въ произведеніяхъ А. И. Левитова, и почему онѣ именно, а не какія-либо другія? Отвѣтить на этотъ вопросъ было-бы очень легко даже priori, не читая произведеній этихъ и будучи совсѣмъ съ ними незнакомымъ. Очевидно, что человѣкъ, прожившій жизнь такъ мрачно и безотрадно, какъ прожилъ ее А. И. Левитовъ, вынесшій изъ нея такъ много горя, слезъ и униженій, долженъ невольно обращать вниманіе преимущественно на мрачныя стороны окружающей его жизни, долженъ особенно близко принимать къ сердцу всяческое горе своихъ ближнихъ и чутко отзываться на каждый стонъ людскихъ страданій. И дѣйствительно, это мы и видимъ въ произведеніяхъ А. И. Левитова. Онъ вполнѣ справедливо и весьма мѣтко озаглавилъ одно изъ изданій своихъ сочиненій «Горемъ селъ, деревень и городовъ». Дѣйствительно, въ лицѣ А. И. Левитова мы видимъ пѣвца народнаго горя и, прибавимъ мы отъ себя, народнаго пьянства, вытекающаго изъ этого горя и сопровождающаго его. Подъ «народнымъ горемъ», пѣвцомъ котораго является А. И. Левитовъ, слѣдуетъ разумѣть здѣсь не одно какое-либо тенденціозное горе, что-либо въ родѣ «гражданской скорби». по случаю несправедливостей исправника или неправедныхъ поборовъ становаго, но горе вообще во всѣхъ его многоразличныхъ видахъ: горе нищеты, семейнаго раздора, горе невѣжества, грубости нравовъ и суевѣрій, горе обманутыхъ ожиданій и неудавшейся жизни, горе безпомощнаго сиротства и безчеловѣчнаго надруганья, ломанья и помыканья всяческой силы надъ всяческой слабостью и пр. и пр. Однимъ словомъ, это—то самое «горе злосчастіе», которое народъ воспѣваетъ во множествѣ пѣсенъ и сказокъ, олицетворяя его въ видѣ чудовища, преслѣдующаго людей отъ колыбели до могилы и отъ котораго некуда схорониться доброму молодцу, ни въ пескахъ сыпучихъ, ни въ лѣсахъ дремучихъ.

Уже «Степные очерки», этотъ сборникъ первыхъ юношескихъ произведеній автора, являются передъ нами преис-

полненными этого горя. Кстати здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что ничто такъ не говоритъ въ пользу полной органичености и непроизвольной естественности произведеній А. И. Левитова, какъ время и обстоятельства жизни, подъ вліяніемъ которыхъ они являлись. Такъ, нѣтъ ничего естественнѣе, что наивный степнякъ, возросшій среди простора и раздолья заволжскихъ луговъ, подъ теплыми лучами полуденнаго солнца и затѣмъ кинутый судьбою на дальній сѣверъ въ шенкурскую глушь, долженъ былъ, томясь тоскою по родинѣ, съ особенною отрадою и грустью вспоминать родную сторону. Всѣ ея краски должны были ярко воскресать въ его воображеніи, гораздо ярче, чѣмъ еслибы онъ оставался на родинѣ и не покидалъ ея; всѣ малѣйшія подробности ея быта должны были принять радужно-поэтическій, волшебный колоритъ. И, конечно, первыя произведенія поэта въ положеніи А. И. Левитова должны были отразить все это настроеніе и быть посвящены воспоминаніямъ о родномъ краѣ. Такъ, Гоголь, пріѣхавши изъ Малороссіи, во время первыхъ лѣтъ своего одинокаго скитальчества по Петербургу и всякихъ мытарствъ, писалъ «Вечера на хуторѣ близь Диканки»; такъ и Левитовъ первыя свои произведенія посвятилъ изображенію жизни роднаго края и написалъ рядъ «Степныхъ очерковъ». И дѣйствительно, «Степные очерки», это лучшее произведеніе А. И. Левитова, блещутъ особенно яркимъ, поэтическимъ колоритомъ: они изобилуютъ описаніями красотъ степной природы, всѣхъ малѣйшихъ подробностей жизни обитателей степей, всѣхъ ихъ заботъ, хлопотъ, обычаевъ, повѣрій и суевѣрій. Массы личныхъ воспоминаній дѣтства разсѣяны по всѣмъ очеркамъ. Рѣдкій очеркъ обходится безъ изображенія дѣтей, играющихъ по степнымъ лугамъ и лѣсамъ и живущихъ одною жизнію съ окружающею природою. И въ то же время, каждая мелкая черточка выведена съ горячею, нѣжною любовью и блещетъ слезами надрывающей тоски бобыля, заброшеннаго въ чужедальнюю сторону.

Но всѣ прелести степной природы и все поэтическое обаяніе воспоминаній беззаботнаго дѣтства не могли заглушить преобладающихъ струнъ поэзіи А. И. Левитова, и въ своихъ «Степныхъ очеркахъ», какъ и во всѣхъ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ, А. И. Левитовъ является передъ вами все тѣмъ же пѣвцомъ народнаго горя: общее впечат-

лѣніе, какое выносите вы изъ «Очерковъ«, сводится все къ тому же всеобщему горю, которое одно только и видитъ поэтъ во всей окружающей его жизни.

«Истинно скажу, говоритъ онъ въ своемъ очеркѣ «Уличныя картины.—Ребячьи учителя» (см. «Степ. Очерки», Т. II, стр. 68):—что человѣкъ, которому приведетъ судьба нетолько что родиться на мягкой почвѣ нашихъ сельскихъ улицъ, но и помять много травы этой, бѣгаючи по ней дитей неразумнымъ до тѣхъ поръ, пока придется ему въ послѣдній разъ потяготить гробомъ своимъ ихъ родную ширину, такъ присмотрится къ нимъ человѣкъ этотъ, что и самъ непремѣнно сдѣлатся такимъ же молчаливо-печальнымъ, такимъ же покорно-страдающимъ, какими кажутся улицы, потому что во всю его жизнь лишь одно только горе, какъ обозъ какой нескончаемый, тянулось по нимъ. Родитъ горе степнаго человѣка и оно же его, по нашей пословицѣ, въ ранній гробъ кладетъ. Голова у него закружится и глаза ослѣпнутъ отъ слёзъ при видѣ страданья, безсмѣнно ползущаго по уличной пыли, при видѣ нищеты, пугливо, какъ настращенный звѣръ, сравнявшейся съ этой пылью. Смотритъ на всё это степной человѣкъ каждый день Божій до того, что и на свѣтлое солнышко взглянуть ему некогда, да и нельзя никакъ проглянуть къ нему, потому что не столько заслоняютъ его отъ хорошихъ глазъ пыльные столбы, вздымаемые страданіемъ и нищетою, сколько тѣми громадными, все небо занимающими клубами, которые вздымаетъ на нашихъ улицахъ глупая, чванливая, но богатая спѣсь, когда она съ крикливымъ хвастаньемъ, заглушающимъ всякій человѣческій голосъ, валитъ по посаду впереди и вслѣдъ за горемъ страдающимъ и горемъ нищенствующимъ...»

Еще ярче и рельефнѣе выражаетъ авторъ подобныя же свои мысли о степномъ горѣ въ другомъ своемъ очеркѣ «Степная дорога днемъ» (т. I, 84 стр.). «Миръ вамъ! Миръ вамъ, добрые, бѣдные люди, обставлявшіе нѣкогда мою бѣдную, дѣтскую жизнь! Миръ тебѣ и покой бѣдная, родная сторона моя! Давно я покинулъ тебя, потому и не знаю, какъ живутъ твои дѣти, но какъ они тогда при мнѣ жили—я знаю, и опять говорю: миръ вамъ, добрые, бѣдные люди! Миръ тебѣ и покой, бѣдная, родная сторона моя! Какъ люди, нѣкогда жившіе на тебѣ, знаю я, нуждались

въ покоѣ, хоть бы даже въ смертномъ, какъ они говорили, такъ и ты, помню я, нуждалась тогда въ немъ и, можетъ быть, даже и теперь также ищешь его...

«Сквозь рѣдѣющій мракъ, закрывавшій отъ меня лицо матери-степи, я увидѣлъ, наконецъ, что все та же она, какою я оставилъ ее много лѣтъ назадъ... Длинный строй рогатыхъ вѣшекъ-сиротъ выстроился по обѣимъ сторонамъ степной, проѣзжей дороги; сама дорога малоѣзжаная, но избитая кѣмъ-то до того, будто только сейчасъ прошла по ней мильонная армія, лѣпилась по придонскимъ горамъ, спускалась въ глубокіе овраги и, выгибая свою безцѣльную дугу, пугливо пряталась отъ глазъ, опечаленныхъ унылымъ видомъ. Все та же ты, степь! Вотъ довольно ясно показались мнѣ долины и косогоры, испещренные хлѣбами, единственнымъ богатствомъ твоимъ; по сторонамъ дороги забѣлѣли церкви, замелькали кресты колоколенъ, а около нихъ мрачно рисуются слитныя, растрепанныя массы крышъ изъ почернѣвшей гнилой соломы, развалившіяся, закоптѣлыя избы безъ оконъ, безъ трубъ, подпертыя со всѣхъ сторонъ кольями и безобразно заваленныя, съ укрѣпляющею, надо полагать, цѣлью, сѣрымъ навозомъ.

«Да, по прежнему наводятъ на душу тоску самую гнетущую уродливыя и какъ будто хворыя норы степныхъ обитателей. Такими же сирыми кажутся онѣ и такъ же безпомощно выглядываютъ изъ-за навоза ихъ маленькія слѣпыя оконца, какъ вотъ эта ватага калѣкъ, слѣпыхъ и хромыхъ, которая сейчасъ встрѣтилась со мной, усиливаясь холодкомъ доползти и дохромать на сельскую ярмарку за кускомъ насущнаго хлѣба...

«Вижу, вижу я теперь, что все таже ты, степь, что все такъ же ты нуждаешься въ покоѣ и мирѣ, какъ и при мнѣ ты нуждалась въ нихъ, потому что заслышалъ я сейчасъ жалующуюся, скорбную пѣсню твою. Не прибавилось, должно быть, радостей тяжкой долѣ степной, не прибавилось веселья и въ пѣснѣ —

«Ой, вали валомъ! Ой, вали валомъ!
Изъ-подъ камени вода».

тоскуетъ, какъ горлица, эта пѣсня — и по всей ширинѣ степи разносила звонкая заря жалобный припѣвъ: «О-ой изъ-

подъ камени вода!» По степнымъ сказаньямъ, такъ, зачуявъ несчастье дома, доможилъ, его заботникъ и покровитель, стонетъ и плачетъ въ глухую, одинокую полночь...

«Я остановился и слушалъ эти рыданія по степному, почти общему горю. По всему полю тяжкимъ стономъ стояли они, и, слушая ихъ, мнѣ казалось что имъ мало этого поля; я желалъ, чтобы слезы, вызвавшія ихъ, рѣкой многоводной зашумѣли по всему лицу земному, потому что плакала ими неутѣшная мать. «Стоитъ мать, говоритъ пѣсня:— у подгорнаго придонскаго ключа и ведетъ съ нимъ рѣчь: какимъ бы шумнымъ валомъ, ключь, не валила вода твоя изъ-подъ камня, все ей не заглушить моего лютого горя. Моего вдовьяго, послѣдняго сына міръ отдалъ въ солдаты, а дочь, по барскому приказу, увезли въ новыя деревни, въ Самару. Мнѣ сказали: снаряди свою дочь въ дорогу. Ее баринъ посылаетъ въ свои новыя деревни, а то тамъ, говоритъ, невѣстъ нѣтъ, а я горюю и плачу объ томъ, что ей тамъ жениховъ нѣтъ. Давно ужь я, вспоминаючи свой послѣдній конецъ, просватала ее за милаго жениха, чтобы навсегда быть ей въ родимыхъ мѣстахъ. Знать придется мнѣ умереть одинокой безъ дѣтушекъ, знать, некому будетъ сдѣлать мнѣ вдовій гробъ. Обрушится послѣ меня большая изба наша, дѣдомъ изъ толстаго лѣса срубленная, крапивой заростетъ огородъ, и на нашемъ родимомъ, насиженномъ мѣстѣ ляжетъ унылая пустошь». Много такихъ материнскихъ жалобъ и воплей отнесли надгорные, придонскіе ключи къ далекому морю Азовскому, къ братьямъ-высельщикамъ степнымъ.

«Какъ и прежде, какъ и встарину при мнѣ, степной день начинался жалобами и рыданіями, потому что, чѣмъ рѣже становился мракъ ночи, чѣмъ шумнѣе стукъ и скрипъ немазанныхъ колесъ оживляли окрестность, тѣмъ чаще и повсемѣстнѣе слышались родные звуки родимыхъ пѣсенъ. Издали, съ глухихъ, заросшихъ травою, проселковъ, соединявшихся съ проѣзжей дорогой, доносились они до меня, неумолчно звенѣли назади и впереди меня на самой дорогѣ, и въ головѣ безотвязно стояла одинокая мысль: о чемъ плачутъ и скорбятъ эти люди, проснувшіеся вмѣстѣ съ ранними птицами?

«Все такъ же! Все попрежнему! Птицы проснулись, про-

снулся и людъ степной, и вотъ теперь до самыхъ краевъ зачерпнулась имъ большая дорога. Отовсюду идетъ и ѣдетъ онъ залить кормилицу землю потомъ своимъ трудовымъ. Благослови васъ Богъ, труженники, на силу и терпѣніе въ вашей работѣ-страдѣ подъ томящимъ солнечнымъ зноемъ, который запалитъ сейчасъ всю степь однимъ общимъ пожаромъ».

Иногда авторъ до такой степени увлекается зрѣлищемъ всеобщаго горя, что ему кажется, будто сама природа, цвѣтущая и роскошная степная природа, въ свою очередь, преисполнена горя, и она вмѣстѣ съ людьми страдаетъ и стонетъ. Такъ, въ томъ же очеркѣ, на 115 страницѣ, онъ развиваетъ передъ нами слѣдующую картину страданія природы:

«Чувствую я, говоритъ онъ:—что голову мою начинаетъ жечь палящій жаръ степной. Удрученная своею скорбною думою, съ каждымъ шагомъ развивавшеюся все печальнѣе и печальнѣе, она невыразимо страдала: какія-то проклятья слагались въ ней, какая-то мука тяготѣла надъ нею и не давала ей возможности сообразить, лучъ-ли солнечный билъ въ нее этою мукой, или какое-то смертное томленіе, обыкновенно примѣчаемое въ пустынѣ, когда солнце зальетъ ее потоками своего палящаго свѣта, заставляетъ ее страдать?

«И дѣйствительно, самое равнодушное сердце, не могло не биться усиленно при видѣ этой картины одного общаго, всецѣлаго, такъ сказать, страданія.

«И, казалось вамъ, тѣмъ тяжелѣе страдала природа, что не было слышно ни одного звука, обыкновеннаго въ этихъ случаяхъ; только одни глаза видѣли во всемъ какую-то удушающую, гнетущую полноту...

«Придорожныя вѣшки, какъ человѣкъ въ нежданномъ несчастьи, распустили свои запыленныя вѣтви и молчаливо стояли будто окаменѣлыя. Десятки птицъ унизали ихъ кривые сучья. Идете вы и видите, какъ какой-нибудь воронъ, въ другое время чуткій и пугливый, теперь и не думаетъ примѣчать васъ. Вцѣпился онъ острыми когтями въ древесную кору, раздвинулъ сѣрыя крылья и озадаченно смотритъ на васъ, удивляясь, повидимому, вашей охотѣ шататься въ такую мучительную пору. Навстрѣчу вамъ, время отъ времени, пробѣжитъ тощая, искалѣченная, съ перебитою ногой, собака, съ хвостомъ, волочащимся по землѣ. И въ глазахъ животнаго видна та же мука. Такъ жалобно посмотрѣла на

васъ собака, такъ выразительно замахала хвостомъ, что будто просила васъ помочь какъ-нибудь ея перебитой ногѣ.

«А по обѣимъ сторонамъ степной дороги изъ золотыхъ волнъ ржи мелькаютъ бѣлыя рубахи на трудящихся спинахъ людей. Вамъ не видно красивыхъ, изможденныхъ лицъ этихъ людей, покрытыхъ потомъ—и лучше!

«И все это, какъ-то непріязненно молчитъ молчаніемъ мертвеца, словно по чьему нибудь строгому запрещенію... Но прихотливы бываютъ дорожныя думы... Ѣдете вы и думаете: что́ было бы, ежели бы все это, не вынесши своей тяжкой боли, вскрикнуло вдругъ?..»

Подобные тоскливые мотивы проходятъ сквозь всѣ «Степные очерки» А. И. Левитова, и мотивамъ этимъ вполнѣ соотвѣтствуютъ сюжеты разсказовъ и выводимыя сцены. Повсюду передъ вами, какъ я уже сказалъ выше, льются слёзы непокрытой нищеты и горькаго покинутаго сиротства, повсюду какая-нибудь безжалостная сила ломается надъ беззащитной слабостью, и на каждомъ шагу гибнетъ чья нибудь молодая, только-что разцвѣтающая жизнь. Такимъ образомъ, передъ вами проходитъ рядъ возмутительныхъ, иногда кровавыхъ драмъ, и болѣе всего ужасаетъ и леденитъ ваше сердце то обстоятельство, что далеко не всѣ эти драмы имѣютъ въ основѣ своей какую бы то ни было роковую, систематическую борьбу: напротивъ того, передъ вами развертывается картина дикаго, чисто средневѣковаго неустройства, въ которомъ главную роль играютъ то слѣпой и безсмысленный случай, то такіе неоспоримо невмѣняемые факторы, какъ суевѣрія, грубость нравовъ и культуры и т. п. При такихъ условіяхъ, вы видите, что въ этой средѣ ничья жизнь, ничье благосостояніе ни въ малѣйшей степени не обезпечены; никто не можетъ поручиться, что завтра же не грянетъ гроза, если не со стороны злыхъ вороговъ въ образѣ людей, то со стороны звѣрей, въ видѣ какого-нибудь волка, который съѣстъ ребенка, и что всего ужаснѣе, что гроза эта разразится нежданно, негаданно изъ-за самыхъ, повидимому, пустыхъ и ничтожныхъ поводовъ.

Такъ, прочтите, напримѣръ, очеркъ «Расправу». Жила-была убогая вдова Козлиха, терпѣла самую горемычную бѣдность и беззащитность, но тянула свой сиротскій вѣкъ кое-какъ, такъ какъ была у нея и хатка, и кое-какое хо-

зяйство, овечекъ даже имѣла. Такимъ образомъ, могла бы скоротать весь вѣкъ, свыкнувшись съ своей горемычной долей, какъ вдругъ выпалъ такой ничтожный случай, какихъ ежедневно можетъ быть по нѣскольку въ каждой деревнѣ, и посмотрите, что изъ этого случая вышло:

«По сосѣдству отъ ея убогой хатки, жилъ богатый и спѣсивый мужикъ Ѳедотъ, воротила всего сельскаго міра. Однажды, когда стадо возвращалось съ поля домой, Козлихина ярочка попала во дворъ Ѳедота. Козлиха обратилась тотчасъ же къ Ѳедотовой старухѣ съ ласковою просьбою возвратить ей ярочку, но та не тутъ-то было:

«— Что насилкой-то лѣзешь? Ай на свой дворъ пришла? гнѣвно закричала на нея сварливая старуха.—Однѣ только наши овцы пришли—чужихъ ни одной нѣтъ. Сама видѣла, какъ пускала.

«Слово за слово, поругались старухи, закипѣла брань, а тамъ за каменья, насилу мужики розняли. Сѣрая бабочка была прогнана въ три шеи сыновьями Ѳедотихи.

«Но этимъ не кончилось дѣло. Ѳедотъ созвалъ міръ и началъ щедро угощать его съ цѣлію учинить судъ надъ Козлихою.

«— Извѣстно, бабы люты на брань, толковалъ онъ собранію, обнося его водкою. — Потачки своей старухѣ я не далъ, потому, ярка Козлихина въ самомъ дѣлѣ ко мнѣ на дворъ забѣжала. Только рази могла Козлиха сыновей моихъ ворами и разбойниками, а меня жидомъ и іудой ругать? Хорошо она это сдѣлала, или нѣтъ?.. Поругу она чести моей великую нанесла. Опять-же въ бѣдности такой находимшись, Козлиха богатому человѣку должна уваженіе всякое воздавать, а она вонъ куда затесалась, въ брань! Ежели бы она со старухи моей за лютость ея не взыскала, я къ яркѣ-то ея баранчика своего еще бы придалъ, а она, про богачество мое позабымши, сама, сказываю, при бѣдности при своей пустилась въ брань.

«Упоенный щедростью Ѳедота, міръ мало того, что присудилъ горемычную Козлиху къ розгамъ, но и къ штрафу въ десять рублей, а такъ какъ десяти рублей у нея не было, то вышло вотъ какое окончательное рѣшеніе:

«— Знаете вы, православные, обратился къ міру Ѳедотъ: убогая баба Козлиха, вдовая, ни роду, ни племени нѣтъ у

нея. Такъ я теперича за избу ея даю пять рублевъ, за дворъ, и за животину, какая у нея есть, тоже пять рублевъ. Пусть на міру знаютъ, што не притѣснитель я какой, не грабитель, а, примѣромъ, на убожество ея взираючи, призрѣть хочу. За ее самое, ежели то-ись присудить вамъ захочется эдакъ, даю десять рублевъ за посмертную кабалу.

«Міръ на томъ и порѣшилъ. Продали Ѳедоту-же весь домашній скарбъ Козлихинъ и ее самое въ вѣчную ему кабалу, да еще и дивились ея счастію.

«— Счастье къ тебѣ невидимо подвалило, завидовалъ Козлихѣ сторожъ.—Перекрести рожу-то: въ богатомъ домѣ жить будешь.

«— Отцы родные! закричала Козлиха. Вѣдь старуха-то Ѳедота Иваныча поѣдомъ меня живую съѣстъ, коли вы такъ-то присудите.

«— Счастья своего не понимаешь! сказалъ ей толстый мужикъ.

«— Истинно, Господь-то великъ и многомилостивъ къ сирымъ, закончилъ рыжій дьячекъ, тоже затесавшійся въ мірскую ватагу.»

Вотъ передъ нами другая столь-же мрачная картина и такая-же ужасная драма, и опять-таки въ ней играетъ роль столь же слѣпой и непредвидѣнный случай (см. «Деревенскій Случай» т. 2, стр. 28):

Горькая солдатка сидитъ передъ печкою у огня и горюетъ. Живетъ она, правда, въ своей отцовской семьѣ, но не радостна жизнь ея:

«— Весь вѣкъ такъ-то гнусь, говоритъ она сама съ собой:—а радости-то только и было, когда съ матерью въ дѣвкахъ жила. Да пожалуй, и тогда-то не очень плясала. Голодъ то съ холодомъ изъ избы отъ насъ, сиротъ, никогда не выхаживали. Смотрѣли мы только на другихъ отцовскихъ ребятъ, да на ихъ счастье серчали... Вишь вонъ братецъ родимый раститъ себѣ сынка-то — вѣтру вольному подуть на него не даетъ. Такъ онъ и всю свою жизнь проживетъ, а мой, горемычный, теперь-то всей семьей на потѣху данъ (исхитрились сиротѣ прозвище дать: Безбокимъ, вмѣсто крещеного имени, зовутъ!..); а какъ выростетъ, на службу за нихъ ступай по чужимъ сторонамъ свою молодость развѣивай... Какое это счастье людское чудное? шепотомъ спрашиваетъ

стряпуха у избяной тишины.—Вонъ мальченка то мой: такъ, вѣдь, онъ тоже, какъ и я, до самой темной могилы не знаючи свѣтлыхъ дней, пойдетъ, потому безъ меня съ нимъ въ нашей избѣ и горевать бы некому было. Вонъ все какіе веселые люди въ этой избѣ безъ насъ-бы жили!

«Говоритъ это горькая солдатка, а сама съ великой досадой на сынишку старшаго брата глядитъ.

«— По буднямъ, такъ и то въ ситцевыхъ рубахахъ ходитъ. Дѣдовъ любимецъ! Продамъ ужо и я холста два, какъ ярмарка подойдетъ, и своему такую же сошью. Вонъ, молъ, у насъ какія рубахи солдатскія сироты понашиваютъ. Пусть тогда люди грѣшатъ, нашей долѣ убогой завидуютъ!.. «А дѣдовъ любимецъ такъ и хлесталъ по завистливымъ отъ всегдашняго несчастья, глазамъ матернимъ своею красною ситцевою рубахою. Отцовскій, черноволосый сынъ, онъ, какъ кубаремъ, повертывалъ бѣлоголовою солдаткиной радостью.

«— Безбокій! кричалъ шустрый мальчикъ на сироту. — Давай играть: я буду попомъ, а ты—пономаремъ.

«— Я буду лучше въ медвѣдя играть, сосредоточенно отвѣчаетъ Безбокій.

«— А я тебя оттаскаю, ежели ты меня не послушаешься...

«— Слово за слово, мальчуганы окончательно повздорили:

«— Такъ ты не будешь со мной играть, Безбокій? приставалъ мальчикъ въ красной рубахѣ.

«— Дерешься ты больно! Я одинъ буду въ медвѣдя играть.

«— Я же тебя, когда такъ, зарѣжу сейчасъ. Дѣдушка вчера ножикъ то изъ кузни принесъ, видѣлъ? Я тебя имъ и полыхну сейчасъ, безбокаго шута.

«— А я мамѣ скажу, когда ты меня полыхнешь-то!

«И между тѣмъ, какъ мать, вся уйдя въ свои скорбныя думы, совсѣмъ упустила изъ виду ссору мальчугановъ, вдругъ въ избѣ раздался болѣзненный крикъ:

«— Мамушка! какъ будто вся эта большая изба закричала. — Онъ меня полыхнулъ...

«Опомнилась мать отъ этого крика, смотритъ, а ея послѣдняя радость лежитъ на полу, вся залитая горячею кровью. Мальчикъ въ красной рубахѣ равнодушно стоялъ надъ зарѣзаннымъ Безбокимъ съ новымъ хлѣбнымъ ножомъ и поучительно растягивалъ:

«— Я, вѣдь, тебѣ толкомъ сказывалъ, что полыхну, коль играть не станешь со мной. Тебѣ все въ медвѣдя хотѣлось!..»

«Несчастня мать тотчасъ же сошла съ ума, и на другой день ее увезли въ городъ, прикованною къ телегѣ. Яростно вцѣпилась сумасшедшими зубами въ веревку, которой привязали ее къ телегѣ, и закричала:

«— Онъ у меня, внукъ-то твой чертенокъ, сына зарѣзалъ; а я теперь должна за него на чужую сторону въ службу идти! Погодите же вы у меня: дождусь и я праздника. Всѣхъ васъ залѣпятъ огненныя птицы, какія изъ печи со мной разговаривали. Все они ваше счастье сожгутъ, и васъ сожгутъ, и избы, все, все...

«Пророча селу это несчастье, солдатка приподняла свою растрепанную голову и такъ страшно поглядѣла на всѣхъ мутными, оловянными глазами, что народъ забылъ въ эту минуту свой смѣхъ и съ ужасомъ отшатнулся отъ телеги.

«— Съ Богомъ! крикнулъ дѣдъ, подбирая возжи.

«— То-то съ Богомъ! какъ бы укоряя кого, толковали сосѣди, расходясь.—Какъ бы мы Господа-то Бога понимали, какъ слѣдуетъ, души-то человѣческія по деревнямъ у насъ врядъ ли бы погибали такъ часто...»

Хотя въ этой трагедіи и играетъ роль непредвидѣнный случай въ видѣ ножа, подвернувшагося подъ руку ребенку, но не имъ однимъ обусловливается исходъ ея; за этимъ непредвидѣннымъ случаемъ, все-таки, таится здѣсь семейный раздоръ и притѣсненіе, а главное дѣло — сиротская беззащитность женщины, лишенной въ лицѣ взятаго въ солдаты мужа всякой опоры въ своей семьѣ. Но въ очеркахъ встрѣчаются и такого рода трагедіи, которыя лишены всякихъ побудительныхъ причинъ, въ которыхъ нежданно-негаданно является на сцену тяжелый родительскій кулакъ, обрушивается на любимое и лелѣянное дѣтище и губитъ его, дѣлая на всю жизнь несчастнымъ. Такъ, напримѣръ, въ очеркѣ «Блаженненькая» авторъ рисуетъ передъ нами прелестную картину лѣтняго полудня въ степной деревнѣ; всѣ взрослые ушли на страду, остались дома одни дѣти. И вотъ передъ нами махонькая дѣвочка, одна одинехонькая, прокрадывается въ свою избу и начинаетъ въ ней хозяйничать. Съ большимъ трудомъ достаетъ она съ полокъ горшки съ съѣстнымъ, поставленные туда родителями, и начинаетъ упи-

сывать говядину. А между тѣмъ, на сосѣдней завалинѣ какая-то старуха разсказывала дѣтямъ сказку про непослушнаго брата Алёнушки, Ванюшу. Заслушался ребенокъ этой сказки и забылъ про говядину.

Въ это время, къ воротамъ подъѣхала телега. Съ нея соскочилъ мужикъ и пошелъ въ избу. Это былъ отецъ дѣвочки, что-то забывшій дома. Его пріѣзда не замѣтила очарованная сказкой шалунья. Только-что вошелъ въ избу сердитый хозяинъ, кошка безмятежно убиравшая украденную говядину, стремглавъ бросилась подъ печку, оставивъ на полу обличающія кости; мухи поднялись черною жужжащею тучей; отъ громкаго прихлопа дверью голуби слетѣли съ избяной пелены; но ничего этого не слыхала дѣвочка. Попрежнему уткнулась она въ окно и напряженно слушала сказку, которая съ каждымъ словомъ становилась все занимательнѣе, а передъ нею стоялъ опустошенный горшокъ, валялись объѣдки ужина уработавшейся семьи. Злость взяла отца.

«— Ахъ, ты каторжная! крикнулъ онъ на дочь и съ этимъ словомъ, захваченнымъ съ собою кнутомъ вытянулъ онъ ее вдоль спины.

«— А-а-ахъ! дико раздалось въ избѣ. По тѣлу бѣдняжки пробѣжала дрожь; она, какъ обожженная, вскочила съ лавки и бросилась въ сторону, противуположную той, съ которой послѣдовалъ ударъ. Въ ея прыжкѣ было что-то такое, что болѣе походило на отчаянный прыжокъ подстрѣленнаго зайца, нежели на прыжокъ ребенка, сознательно увертывающагося отъ наказанія. Она прижалась въ уголъ и безъ обыкновенныхъ въ этомъ случаѣ слезъ и воплей смотрѣла на отца.

«— Што это ты надѣлала, озорница? спрашивалъ ее отецъ, съ котораго спалъ первый припадокъ гнѣва. Сказывай, што?

«Дѣвочка по прежнему молчала и все такъ же смутно, такъ же безсмысленно смотрѣла на него. И на отцовскую ласку потомъ ни однимъ звукомъ, ни однимъ движеніемъ не отвѣтилъ бѣдный ребенокъ. Помертвѣвшее смуглое личико, посинѣвшія губы и потухшіе глазки ясно сказали отцу, что дочь ето отнынѣ уже ничего разумно не услышитъ, ни на что разумно не отзовется.»

Такъ и остался ребенокъ на всю жизнь идіотомъ, «блаженненькою», какъ ее прозвали, на свое собственное и родителей мученіе и на людское посмѣяніе.

Подобный фактъ нѣсколько разъ повторяется въ «Степныхъ очеркахъ» А. И. Левитова: такъ, одинъ дьячекъ погубилъ сына своего Петрушу за то, что тотъ не удержалъ сдѣланный отцомъ змѣй: схватилъ онъ его въ охапку, да объ дорогу его, какъ камень тяжелыми телегами убитую, и бросилъ. Оказался мальчикъ послѣ этого случая хромъ и горбатъ, и какъ онъ прежде того еще немножко раскосъ былъ, такъ глаза-то у него пуще, послѣ отцовскаго наказанія раскосились. Такъ, наконецъ, богатый купецъ на посадѣ Лука Петровичъ «однажды разсердился за что-то на своего единственнаго сына, да какъ царапнетъ его по головѣ палкой, тотъ и ополоумѣлъ. А прежде этого несчастія хорошій былъ мальчикъ. Пятнадцать годовъ ему въ то время считали, и торгаша такого сметливаго по хлѣбной части, во всемъ уѣздѣ найти нельзя было, и граматѣ зналъ не хуже приходскаго священника, а какъ отецъ паренька по головѣ ошарашилъ, не выдержалъ паренёкъ и ополоумѣлъ: ополоумѣвши, блаженничать сталъ. Распустилъ слюни и въ глубокомъ безмолвіи сталъ бродить по селу».

Вообще описаніе несчастнаго, забитаго и запуганнаго дѣтства представляетъ одну изъ излюбленныхъ тэмъ А. И. Левитова и весьма часто повторяется, какъ въ «Степныхъ очеркахъ», такъ и во многихъ другихъ позднѣйшихъ его разсказахъ, что, безъ сомнѣнія, представляетъ глубокую связь съ его собственнымъ дѣтствомъ. Такъ, въ «Степныхъ очеркахъ» мы находимъ цѣлый разсказъ «Горбунъ», посвященный изображенію любви двухъ запуганныхъ дѣтей—Анюты, дочери купца Козакова, и того самаго Петруши, котораго отецъ сдѣлалъ на-вѣки горбатымъ изъ-за змѣя. Разсказъ этотъ принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ, какъ по своему содержанію, такъ и по своей поэтичности; видно, что авторъ положилъ въ него всю душу. На первыхъ же страницахъ трогаетъ васъ до слезъ высокохудожественная картина забитой мужемъ-тираномъ матери, раздѣляющей съ маленькой своей дочерью общее ихъ горе.

«Послѣ ухода отца, читаемъ мы въ разсказѣ (т. I, стр. 19): — дѣвочка снова становилась къ матери, а мать снова

клала свои руки на ея головку, и прерванная крикомъ старшаго бесѣда между старой и малой шла попрежнему, какъ будто никто и не бранилъ ихъ, и думъ ихъ тихихъ не обезпокоивалъ. Тихою, какъ лѣтній сельскій день, бесѣдой этой мать передавала своей дочкѣ тѣ своеобразные порядки простой жизни, которымъ, въ свою очередь, сама она научилась отъ матери. Слушала тутъ дѣвочка—и какіе люди были у нея дѣдушка съ бабушкой, какъ они, по ея словамъ, пышно, будто-бы, жили, и какъ народъ почиталъ ихъ пуще всѣхъ окрестныхъ богачей. Убитой настоящимъ горемъ душою своей переносилась старуха въ ту далекую, счастливую сторону, когда она молодымъ цвѣткомъ цвѣла подъ крыломъ матери, какъ выходила замужъ, какіе наряды въ это время были надѣты на ней и какія тогда невѣстамъ пѣсни пѣвались. Снимала тогда старуха съ своего пояса винтовый ключъ, отпирала свою зеленую, окованную желѣзными полосами, приданую укладку съ свѣтлымъ платьемъ, и одно за другимъ вынимались эти платья и шубки, янтари и жемчуги, и такъ много веселаго и хорошаго припоминали эти наряды теперь сѣдой головѣ, что голова эта начинала держаться какъ-то не по всегдашнему — прямо, а со сморщенныхъ губъ нечувствительно слетали давно забытые околоткомъ старинныя пѣсни.

«Унылая спальня дѣлалась веселѣе отъ этихъ пѣсенъ, хотя ихъ пѣлъ разбитый старушечій голосъ. Походила въ такіе разы залитая солнцемъ спальня на тайно запрятанное въ лѣсной чащѣ птичье гнѣздо. Тамъ, вмѣстѣ съ непонятнымъ говоромъ лиственныхъ тучъ, подъ зелеными куполами непроглядныхъ кустовъ, часто слышится какая-то особенная, непохожая на обыкновенное пѣніе, птичья рѣчь, которою, конечно, мать учитъ своихъ малышей, какъ надобно разсѣкать воздухъ легкими крыльями, на какомъ деревѣ безопаснѣе вить теплыя гнѣзда и чѣмъ именно разнятся колосья пшеницы отъ негодныхъ на кормъ птицамъ травъ. Такъ и въ спальнѣ робкая рѣчь старухи учила ребенка такъ же тихо и смирно протянуть до гроба начинающуюся жизнь, какъ дотягиваетъ ее сама учительница. И, слушая материнскіе разсказы, дѣвочка очень скоро научилась, какъ и мать, широко и безсмысленно раскрывать глаза и безсильно дрожать беззащитною головой, когда какое-нибудь дѣтское горе

разражалось надъ нею, безъ блеска въ глазахъ и безъ обыкновенныхъ радостныхъ криковъ встрѣчать неожиданно нахлынувшее счастье и даже пугаться этого счастья, потому что все, что только могли услышать молодыя уши въ такъ рѣдко оживающей спальнѣ, все это говорило молодому сердцу о томъ только, что хотя и много растетъ въ степной сторонѣ всякихъ красивыхъ цвѣтовъ и травъ благовонныхъ, зато неминуемо гибнетъ въ этой сторонѣ всякая, сколько-нибудь живая душа дѣвичья, которой никогда еще не давала и, вѣроятно, долго не дастъ какъ слѣдуетъ разцвѣсть степная, старинная дурь...

«Такъ, сама того, не вѣдая, старуха передавала Анютѣ свой жизненный мученическій вѣнецъ, и долго Анюта ходила въ этомъ вѣнцѣ, безмолвная и несмысленная, какъ и мать, которая надѣла его на покорную дочернюю голову».

Когда Анюта подросла, грозный отецъ отдалъ ее въ ученье тому самому дьячку, у котораго былъ сынъ, горбунъ Петруша. Не веселое было дѣтство и Петруши, особенно, послѣ того, какъ отецъ сдѣлалъ его горбуномъ:

«Вѣчно всклокоченный и, какъ будто, постоянно улыбающійся чему-то, бѣгалъ Петруша по селу всегда одинъ-одинёшенекъ. Ни одного товарища не находилось ему во всѣхъ этихъ звонко-голосыхъ ребячьихъ стаяхъ, которыя, одна передъ одной, старались окрестить мальчика какимъ-нибудь замысловатымъ прозвищемъ. Затащутъ они, бывало, Петрушу въ свою бѣснующуюся середину и начнутъ угощать его конькомъ-горбункомъ и цѣлымъ хоромъ пропоютъ ему про косого зайца, который, будто-бы, дивился, когда онъ, какъ какая-нибудь курица, вдругъ нанесъ яицъ, и изъ нихъ — «вывелъ дѣтей, косыхъ чертей». А Петруша, словно молодой волчокъ въ западнѣ, терпѣливо слушаетъ насмѣшливую пѣсню, съ видимою ненавистью измѣряя пѣвцовъ своими косыми глазами».

При такихъ условіяхъ, дѣтей свело одно общее горе забитости и загнанности. Горбунъ, защищая дѣвочку отъ отцовскихъ всклочковъ и пощечинъ, «при помощи которыхъ дьячокъ обыкновенно вбивалъ въ головы начинающихъ питомцевъ таинственныя, какъ сельская дубрава, азы», взялся самъ учить ее граматѣ. Мало-по-малу, сблизились они, учась и играя вмѣстѣ, до взаимной всепоглощающей привязанно-

сти. Описаніе ихъ дѣтскихъ игръ и гуляній, музыкальнаго таланта, проявившагося въ горбунѣ, разлуки ихъ по самодурству родителей, затѣмъ смерти горбуна, которому не дали и проститься съ любимой дѣвушкой и, наконецъ, горячечныхъ грёзъ Анюты, которыми прерывается неоконченная повѣсть — все это верхъ художественнаго совершенства, ставящаго разсказъ этотъ на высоту одного изъ лучшихъ поэтическихъ произведеній въ нашей новѣйшей литературѣ.

Что касается типовъ, выведенныхъ въ «Степныхъ очеркахъ», то всѣ они, горемъ повитые и печалью взлелѣянные, рѣзко распадаются на двѣ совершенно противуположныя категоріи. Одни изъ нихъ представляютъ людей загнанныхъ, забитыхъ, кроткихъ, терпѣливо выносящихъ всѣ невзгоды, обиды и поношенія. Обезличенные и обездоленные, они съ смиренною покорностью стараются вымолить себѣ у судьбы и у людей право не на счастье, а хоть бы на самое горемычное существованіе, и одними лишь слезами горючими и стонами протестуютъ противъ рушащихся на нихъ невзгодъ, и поношеній. Таковы знакомые уже намъ Козлиха, солдатка, такова мать Анюты и сама она съ своимъ милымъ горбуномъ-музыкантомъ и пр. Въ противуположность этимъ кроткимъ страдальцамъ рисуется передъ нами рядъ личностей, которыя подъ вліяніемъ того же горя и тѣхъ же обстоятельствъ доходятъ до мрачнаго ожесточенія. Это—натуры страстныя, крутыя, хищныя, глубоко сосредоточенныя; за каждую обиду стараются они заплатить вдесятеро, возмущаются, наконецъ, нетолько противъ всѣхъ людскихъ неправдъ, но и вообще противъ всего человѣчества и падаютъ въ неравной борьбѣ или спиваются въ одиночествѣ полнаго отчужденія ото всѣхъ и вся. Наиболѣе рѣзко и осмысленно проведена паралель между двумя столь противуположными типами въ очеркѣ «Степные выселки», самомъ обширномъ изъ всѣхъ степныхъ очерковъ, наиболѣе глубоко задуманномъ и тщательно отдѣланномъ, хотя, къ сожалѣнію, тоже неконченномъ. Здѣсь представляются намъ на первомъ планѣ два типа: типъ Ивана и Петра Крутаго, которые, при довольно схожихъ обстоятельствахъ ихъ дѣтства, развились въ два совершенно противуположные человѣка *).

---

*) См. выше, стр. 35—37.

Въ «Степныхъ очеркахъ» вы найдете нѣсколько такого рода гордыхъ и непокорливыхъ личностей, какъ Петръ Крутой. Таковы сапожникъ Шкурланъ со своими шестью сыновьями, защищавшій своихъ односельчанъ отъ обидъ властей и богатыхъ людей, недопускавшій бѣдныхъ парней сдавать неправильно въ рекруты и потомъ, во время войны, добровольно сдавшій въ солдаты всѣхъ своихъ шестерыхъ сыновей и самъ пошедшій съ ними. Таковъ Петруша-художникъ, дьячковъ сынъ (см. Ст. очерки «Степная дорога ночью», стр. 52), который не захотѣлъ покориться молодому барину и поклониться ему и заѣхалъ ему въ физіономію, за что былъ объявленъ сумасшедшимъ и засаженъ въ сумашедшій домъ. Таковъ Теокритовъ (тамъ же, «Степная дорога днемъ», стр. 81), который, потобно автору, шелъ пѣшкомъ въ столицу искать счастія въ наукѣ, но возмущенный самодурскими ломаньями и издѣваньями зятя надъ его горемычной сестрою, всадилъ этому зятю ножъ въ сердце и угодилъ, такимъ образомъ, подъ уголовщину. Такова бабушка Маслиха, уличная торговка, поражавшая дѣтей своимъ пѣніемъ псаломовъ и заступавшаяся за несчастненькихъ семинаристиковъ, готовая въ глаза вцѣпиться какому-нибудь слишкомъ ужь безчеловѣчному изъ семинарскихъ воспитателей. Всѣ эти личности, умѣющія нетолько возмущаться и мстить за личныя обиды, но и стоять за други и братья, представляются передъ нами словно маяками, освѣщающими непроглядный мракъ невѣжества, притѣсненій съ одной стороны, и приниженности—съ другой; они свидѣтельствуютъ своимъ присутствіемъ въ «Степныхъ очеркахъ», что не все еще окончательно подавлено въ той средѣ, которя рисуется передъ нами въ очеркахъ А. И. Левитова и, слѣдовательно, не все еще окончательно погибло.

VII.

Заплативши, такимъ образомъ, дань своей родинѣ и воспѣвши ее въ «Степныхъ очеркахъ», А. И. Левитовъ выразилъ всѣ дальнѣйшія впечатлѣнія своей скиталической жизни по мёблированнымъ комнатамъ, чердакамъ и подваламъ обѣихъ столицъ въ рядъ очерковъ, собранныхъ имъ въ изданіи

1875 года подъ заглавіемъ «Жизнь московскихъ закоулковъ», и ранѣе въ изданіи 1874 года—«Горе селъ, дорогъ и городовъ» (таковы очерки этого изданія: «Безпечальный народъ», «Петербургскій случай», «Фигуры и тропы о московской жизни», «Московскія уличныя картины», «Шоссейный день и пр.). Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ другою категоріею сочиненій А. И. Левитова, рѣзко отличающеюся отъ первой категоріи степныхъ разсказовъ и неимѣющею съ ними ничего общаго. Какъ ни много мрачныхъ красокъ народнаго горя собрано въ «Степныхъ очеркахъ», но эти мрачныя краски, все-таки, смягчаются нѣсколько съ одной стороны обаяніемъ степной природы, съ другой—присутствіемъ цѣльныхъ сильныхъ и благихъ характеровъ, на созерцаніи которыхъ отдыхаетъ сердце ваше, измученное зрѣлищемъ горя, слёзъ, страданій и изнываній. Въ «Степныхъ очеркахъ» вы найдете не мало, наконецъ, и такихъ страницъ, въ которыхъ авторъ какъ бы на время совершенно забываетъ главный предметъ своей поэзіи—изображеніе народнаго горя, увлекаясь то какими-нибудь воспоминаніями о впечатлѣніяхъ дѣтства, то бытовыми подробностями или юмористическими сценами. Когда же вы приметесь читать «Жизнь московскихъ закоулковъ», вы должны проговорить про себя извѣстную вамъ надпись на вратахъ Дантова ада: «оставь за собою всякую надежду». Начать съ того, что, вмѣсто юноши, исполненнаго нѣжной тоски по родинѣ, изъ-за каждой страницы выглядываетъ на васъ съ злобной саркастической улыбкою и съ непрерывными проклятіями на устахъ окончательно ожесточенный голякъ, утратившій всякія надежды въ своей неудавшейся жизни. Онъ словно на зло вамъ съ зубовнымъ скрежетомъ спѣшитъ набрасывать картины одна другой мрачнѣе, чудовищнѣе и безнадежнѣе и въ то же время какъ будто тщеславится передъ вами своею одинокою, безучастною нищетою, своими отрепьями и своимъ безпробуднымъ пьянствомъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣдкій очеркъ этой категоріи обходится безъ того, чтобы авторъ на первомъ же планѣ не выставилъ самого себя, голоднымъ, безпріютнымъ, шагающимъ по московскимъ или петербургскимъ улицамъ въ холодъ и непогоду, въ какомъ-нибудь рваномъ пальтишкѣ—и непремѣнно въ кабакъ или изъ кабака.

Какъ на наиболѣе рѣзкій примѣръ укажу на очеркъ «Грачевку», начинающійся такимъ образомъ (См. Ж. моск. зах., стр. 146): «Начало весны для человѣка, неодѣтаго въ драповое пальто на легкой ватной подкладкѣ, необутаго въ крѣпкія калоши—вещь, по общему мнѣнію, далеко неублажающая. Такимъ образомъ было однажды начало весны, а у меня не было драповаго пальто на легкой ватной подкладкѣ и калошъ не было, потому собственно, можетъ быть, что были сапоги, которые, что называется, просили каши. Они, т. е. мои несчастные сапожёнки, до того широко разинули свои рты, что какъ будто хотѣли вычерпать всю грязную воду, залившую грязныя улицы. Не знаю, какимъ образомъ не умеръ я въ описываемое время отъ холода первой весенней ночи, и какъ не отвалились у меня ноги, обваренныя рѣжущимъ кипяткомъ натаявшей изъ снѣга воды. И такъ, было начало весны. На дворѣ стояла непроглядная ночь, именно та самая ночь, которой можно дать имя ночи любопытствующей, ночи всячески старающейся опредѣлить, что крѣпче на семъ свѣтѣ есть: дерево ли фонарныхъ столбовъ, или лбы пѣшеходовъ, несчастные бѣдные лбы, осужденные во время любопытствующихъ ночей стукаться нетолько объ означенные столбы, но, пожалуй, даже, говоря возвышенною рѣчью, и объ холодный гранитъ тротуаровъ. Можете себѣ представить, какъ я благословлялъ эту ночь, шлепая по ея лужамъ, утопая въ ея канавахъ и ежеминутно удовлетворяя ея любознательность насчетъ того, такъ сказать, насколько я мѣдно-лобенъ. Весеннимъ страницамъ Фета, положительно докладываю, весьма было бы лестно украситься благословеніями, которыя я призывалъ на первую весеннюю ночь.»

И далѣе авторъ описываетъ, какъ квартирный хозяинъ выгналъ его за неплатежъ денегъ, какъ тщетно искалъ онъ ночлега у разныхъ своихъ пріятелей, и никто изъ нихъ не принялъ его, на томъ основаніи, что у всѣхъ у нихъ, по случаю рабочаго шабаша въ субботній день ночевали пріятельницы, какъ онъ встрѣтилъ, наконецъ, гдѣ-то на бульварѣ, знакомаго, такого же, какъ и онъ, безпріютнаго ночлежника подъ открытымъ небомъ, и тотъ потащилъ его въ Грачевку, въ какой то ужасный мазурническій вертепъ.— Мы, сказалъ пріятель:—тамъ на гривенникъ хватимъ самой

оглушающей водки и вдобавокъ просидимъ цѣлую ночь бездано, безпошлинно.

«Я, говоритъ авторъ при этомъ:—не буду ѣсть никакого меда, когда меня обѣщаютъ сводить въ какое-либо мѣсто, въ родѣ нехорошевскаго клуба, гдѣ обыкновенно гнѣздятся по ночамъ тѣ ночныя птицы человѣческаго рода, рѣдкое появленіе которыхъ на улицѣ среди бѣлаго дня колетъ какъ будто свѣтлые глаза Божьему солнцу. Я быстро шагаю за моимъ руководителемъ въ нехорошевскій клубъ, куда меня тянетъ магнетическая надежда на возможное тепло, а въ темной дали яркой путеводною звѣздой блещетъ стаканъ водки, заглушающій человѣческое горе».

Въ другихъ очеркахъ авторъ съ большими подробностями описываетъ свои возвращенія съ различныхъ попоекъ, какъ онъ брелъ по темнымъ, тускло освѣщеннымъ закоулкамъ московскихъ трущобъ, шатаясь и отуманенный виномъ, разговаривалъ съ фонарями и другими неодушевленными предметами, которые оживали и принимали фантастическія формы, подъ вліяніемъ мрачныхъ и гнетущихъ грезъ бѣлой горячки.

Въ этой категоріи очерковъ мы имѣемъ дѣло тоже съ народнымъ горемъ, но куда горю «Степнихъ очерковъ» сравняться съ нимъ: это не то горе, которое идетъ размыкаться въ лѣсъ дремучій и тамъ успокоивается на лонѣ ласкающей природы—или разливается въ звучной пѣснѣ на все село, или, наконецъ, находитъ себѣ исходъ въ кельѣ Божьей невѣсты, послушницы. Это—горе, безвыходно и безучастно задыхающееся въ смрадѣ столичныхъ заднихъ дворовъ и сырыхъ подваловъ, горе, стоны и вопли котораго безслѣдно исчезаютъ, заглушаемые шумомъ и гамомъ столичной суеты, горе, наконецъ, находящее себѣ единственный исходъ въ рядѣ безобразныхъ оргій, сопровождаемыхъ неистовыми взвизгиваніями и бѣшеною пляскою трепака и общею кровавою потасовкою въ мутномъ чаду похмѣлья. Поэтому, очерки этой категоріи, представляя нескончаемый рядъ мрачныхъ картинъ народныхъ попоекъ и потасовокъ, и являются какъ бы спеціально посвященными изображенію народнаго пьянства. Ни одного очерка, можно положительно сказать, не обходится безъ описанія какой-нибудь оргіи, въ которой непосредственнымъ участникомъ является и самъ авторъ. Созерцаніе этого пьянства вмѣстѣ съ личнымъ участіемъ въ немъ, словно сдѣла-

лось главнымъ содержаніемъ его жизни и поэзіи: «Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизмъ, товоритъ онъ въ очеркѣ «Крымъ» (см. Ж. моск. зак., стр. 128):—ежели вамъ это понравится; но, вѣдь, я зачѣмъ пришелъ въ *Крымъ*? Я пришелъ въ *Крымъ* съ тою цѣлью, чтобы смотрѣть цѣлую ночь многоразличные виды нашего русскаго горя; чтобы, смотря на эти виды, провесть всю ночь въ болѣзненномъ нытьѣ сердца, немогущаго не сочувствовать сценамъ людскаго паденія, чтобы скоротать эту ночь, молчаливо бѣснуясь больною душой, которая видитъ, что и она такъ же гибнетъ, какъ гибнетъ здѣсь столько народа.»

Что касается до выводимыхъ личностей въ этихъ очеркахъ второй категоріи, то въ нихъ вы не найдете уже тѣхъ непосредственныхъ, цѣльныхъ, народно-типическихъ характеровъ, какіе проходятъ передъ вами въ «Степныхъ очеркахъ». Это все—личности надломленныя, перемолотыя и стертыя до полной безличности въ мытарствахъ столичной жизни, искаженныя иногда до потери всякаго человѣческаго образа и опустившіяся до страшнаго, чудовищнаго разврата. Про А. И. Левитова нельзя въ этомъ отношеніи сказать, чтобы онъ льстилъ народу и идеализировалъ его: онъ изображалъ народъ вполнѣ непосредственно въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представлялся ему, глубоко сочувствуя ему и скорбя за него въ его вынужденномъ обстоятельствами паденіи. Какъ на особенно замѣчательные очерки по изображенію наиболѣе страшныхъ трущобныхъ типовъ и самыхъ сокровенныхъ подонковъ столичныхъ омутовъ слѣдуетъ указать на очерки «Крымъ», «Грачевка», «Безпечальный народъ». «Не сѣютъ, не жнутъ», «Шоссейный день».—Всѣ эти очерки обличаютъ въ А. И. Левитовѣ знатока народной жизни въ такихъ ея непроницаемыхъ столичныхъ трущобахъ, куда, кромѣ него, не приходилось заглянуть ни одному еще наблюдателю народныхъ нравовъ. Ничего подобнаго этимъ очеркамъ вы не найдете въ нашей литературѣ. Будь эти очерки болѣе тщательно обработаны въ техническомъ, формальномъ отношеніи и не столь растянуты, ихъ можно было бы причислить къ числу первостепенныхъ произведеній русской литературы, хотя и въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся, они представляются вполнѣ своеобразными и въ высшей степени замѣчательными явленіями ея.

Изо всего вышеизложеннаго можно заключить, что субъективный элементъ въ очеркахъ второй категоріи присутствуетъ въ огромныхъ размѣрахъ, гораздо въ большихъ даже, чѣмъ въ «Степныхъ очеркахъ». Но есть очерки, въ которыхъ этотъ элементъ преобладаетъ вполнѣ и стоитъ на первомъ планѣ. Изъ этихъ вполнѣ субъективныхъ очерковъ особенно замѣчательны тѣ, въ которыхъ авторъ не ограничивается однимъ изображеніемъ народнаго горя, а дѣлаетъ различныя сопоставленія нравовъ и понятій, господствующихъ въ народной средѣ съ разными гуманными и высокими идеалами, выработанными въ авторѣ высшимъ образованіемъ. Подобныя сопоставленія отличаются крайне болѣзненнымъ настроеніемъ, переходящимъ въ мрачное отчаяніе при видѣ того, какъ идеалы автора, такъ или иначе, разбиваются о грубую и грязную дѣйствительность, полную мрака невѣжества. Такъ, въ очеркѣ «Фигуры и тропы о московской жизни» авторъ изображаетъ себя находящимся въ квартирѣ какого-то кума Чижа, личности весьма темной и двусмысленной. Оказывается, что этотъ кумъ Чижъ, пользуясь безпробуднымъ пьянствомъ автора, продалъ весь его скарбъ и собаку. И вотъ, автору чудится сквозь грезы бѣлой горячки, будто онъ ведетъ съ Чижомъ слѣдующаго рода разговоръ:

«— Да скажите, ради Бога! Вѣдь—продали? Ну нужда вамъ случилась, вы и продали. Скажите.

«Два голоса отрицали эти слова: Станемъ мы такъ-то поступать, куманёкъ! У насъ и то на душахъ-то, можетъ, вонъ сколько грѣховъ-то! Да, право, ей-Богу! Насъ здѣсь, слава Богу, всѣ знаютъ...

«— Нѣтъ, вы вотъ что: вы, пожалуйста, не думайте, чтобы я на васъ сталъ жаловаться, или бы сердиться. Не буду, вы только не лгите.

«— Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю.

«— Напраслина-съ!

«— Если вы откровенно скажете, что, молъ, продали— грѣхъ да бѣда на комъ не живетъ, я самъ все отдамъ. Вамъ больше нужно, чѣмъ мнѣ; у васъ семейство. Скажите?

«Въ мои уши полился какой-то тревожный, суетливый шепотъ. Одинъ голосъ говоритъ:

«— Скажу, что его мучать!

«— Тсъ! Я тебѣ скажу! У меня своихъ не узнаешь.

«— Право, скажу. Когда онъ насъ обманывалъ?..

«— Гляди, гляди имъ въ зубы-то. Не обманывалъ, такъ теперь обманетъ. Какъ ты ему обо всемъ этомъ дѣлѣ объяснишь, сейчасъ онъ въ книжку въ свою и засвидѣтельствуетъ.

«— Передъ кѣмъ онъ засвидѣтельствуетъ? Вѣдь, мы одни.

«— Разсказывай. Они, грамотные-то какъ дьяволы хитры. Ко всему придерутся...

«Между тѣмъ, голосъ, умолявшій о правдѣ (т. е. голосъ самого автора), перешелъ въ отчаянно-буйные тоны и гремѣлъ:

«— Убью я васъ, гады! Всѣхъ переколочу. Самаго простого слова не дождаться отъ васъ. Экъ ихъ скотовъ перекоробило какъ!.. Какого вы дьявола хитрите? Развѣ я вамъ триста тысячъ разъ не показалъ, что я васъ насквозь вижу. Ужь, добьюсь же я, что вы мнѣ скажете правду. Ужь осилю же я васъ. Убью, а осилю. Въ Сибирь пойду, а осилю...

«— Напрасно такъ изволите говорить, слышалось мнѣ:— ей-Богу, напрасно, потому объ насъ такъ никто не понимаетъ.

«— Дуб-бина! продолжалъ буйствовать басъ (т. е., опять-таки, самъ авторъ).—Что ты зубы-то точишь. Отъ тебя только одного слова и добиваются, чтобы ты правду сказалъ. Ну, молъ, укралъ. И причину тебѣ въ зубы прямо кладутъ, совсѣмъ пережеванную. А, укралъ, молъ, отъ того, что работать ничего какъ слѣдуетъ, не умѣю; а еслибы и умѣлъ, такъ въ хорошей-то работѣ, въ настоящей, у насъ никто не нуждается!

«— Ахъ, кумъ! Вы этого не извольте говорить, потому работа тоже на сорты... Теперича: первый сортъ, второй сортъ, третій... Какъ же-съ?

«— Да будетъ! Перестань бобы разводить. Признавайся: укралъ, продалъ? Одно скажи, прошу тебя.

«— Точно что, кумъ, времена эвтѣ какъ очень чижелы... конфузливо заговорила было хозяйка; но мужъ усиленно закивалъ и замигалъ на нее и такъ страшно прошипѣлъ тс-с-съ, что она понурила голову и смолкла».

Потомъ, когда окончательно пьяный, авторъ заушилъ любовника Насти, сестры хозяина, и былъ за это вытуренъ отъ Чижа, онъ слышалъ, проходя мимо оконъ, такой разговоръ про него:

«— Езуитъ онъ завсегда былъ. Онъ изстари, голь эдакая, со мной езуитничалъ. И ничего у него не поймешь никогда! горячо принялась было разъяснять меня Настя; но Аннушка живо перебила золовку и, какъ старая моя знакомая, охарактеризировала меня такими словами:

«— Они бла-а-родные!

«— Какой чортъ благородный! возразилъ недовольный басъ. Что же онъ служитъ, что ли?

«— Нѣтъ! Принимать никуда не велѣно, потому они съ Моховой, какъ тамъ его называютъ, этту училищу-то?

«— Университетъ?

«— Такъ, такъ! Они изъ ней... исключенные...

«— За что же это?..

«— А за... какъ энто? Собрались они энто...

«— Т-ссъ! Страху нѣтъ на тебя, дурища! закончилъ Матвѣй Петровъ. И я видѣлъ въ окно, какъ онъ съ стаканомъ водки на подносѣ подошелъ къ гладко выбритому барину и съ глубокимъ поклономъ сказалъ ему:

«— Не угодно-ли, ваше в-діе, огорчиться на счетъ водочки?»

Все это такъ обезкуражило автора, что онъ шелъ убитый до крайняго безсилія и тупости и думалъ: — Господи! Куда же я пойду?.. Гдѣ и съ какими людьми я жить смогу?

Въ отчаяньи, онъ рѣшился даже броситься подъ карету. Но лошади были во время остановлены, и автора потащили въ часть.

«— Экъ ты налупился, любезный! не то укоризненно, не то въ шутку сказалъ буточникъ.

«— Не знаю, отвѣчалъ ему авторъ.

«— Чего не знаешь?

«— А жить гдѣ?.. Какъ и съ кѣмъ?

«— Тамъ пристроютъ... смѣялся городовой. Пыдемъкась!.. Тамъ вашего брата вдоволь...

Еще болѣе замѣчателенъ въ этомъ отношеніи очеркъ «Счастливые люди». Здѣсь авторъ описываетъ попойку у какого-то мѣщанина Мирона Петрова, праздновавшаго именины, и между прочимъ выводитъ въ видѣ учителя типъ народника-мистика и вмѣстѣ эстетика, что-то въ родѣ Ап. Григорьева, типъ, теперь уже почти вымершій, но въ 60-хъ

годахъ, въ шумную эпоху нашего Sturm und Drang, встрѣчавшійся очень часто въ интеллигентныхъ кружкахъ.

«— Отъ т-топ-пота к-коп-пытъ пыль и по п-полю пнес-сется! пробарабанило новое существо, входя въ комнату тѣмъ пьяно-церемоніальнымъ маршемъ, которымъ входятъ на сцену многообразные «Любимы Торцовы», подготавливая этимъ маршемъ эффектное: «Быть или не быть» Островскаго—Съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать!..

«Вошедшая такимъ образомъ личность была остаткомъ *добраго стараго университетскаго времени*. Не было вещи, которой бы этотъ человѣкъ не зналъ: говорилъ онъ чуть ли не на десяти языкахъ, былъ тонкій знатокъ классической музыки, а главное — онъ былъ народникъ, самый экстатическій, и все это въ себѣ онъ понималъ какъ нельзя болѣе хорошо, и все это онъ, съ страшнымъ цинизмомъ, на какихъ-то, для самыхъ близкихъ ему людей неуловимыхъ основаніяхъ, топталъ въ грязь, заходя, примѣрно, послѣ изящныхъ обѣдовъ въ кабаки, съ цѣлію выпить на пятачекъ водки и поѣсть печенки. Когда его спрашивали: «Отчего ты, Алексѣй, ничего не дѣлаешь?» онъ обыкновенно, балуясь, отвѣчалъ: «Дѣвка да чарка сгубили»..

Эта сгубившая дѣвка представляется въ разсказѣ въ видѣ любезной учителя Груши, о которой буточникъ Илюша разсказываетъ автору слѣдующую исторію:

«—Ты вотъ зналъ, можетъ, востроносую дѣвицу, какая жила у прачки Петрухи съ учителемъ-то? Да ты и учителя-то знаешь: я васъ съ нимъ часто, въ прошломъ году, въ кабакахъ видывалъ... У ихъ тоже исторія, да смѣху въ этой исторіи малость. Ахъ, жаль парня: ни за грошъ пропадаетъ, а парень добрый... Видишь, ему, это учителю-то— слышь, мѣсто какое-то на городѣ вышло. На желѣзку я его провожалъ, чемоданчикъ это, подушки, саквояжъ съ книжками — все это въ пролетку я ему выносилъ; и она тутъ-же, востроносая-то провожать его ѣдетъ—и, т. е. я тебѣ говорю, плачетъ, рѣкой разливается и, словно-бы даже какъ въ помраченіи ума, металась и вскрикивала. Слышу толкуетъ она ему: «Ты это, говоритъ, нарочно къ мѣсту ѣдешь— отвязаться отъ меня, какъ ни-на есть захотѣлъ!» потому ей это въ привычку было, не въ первый разъ. Самъ знаешь, когда, ежели къ примѣру, «гысспада офицера» по полкамъ

своимъ разбираются, такъ бросаютъ своихъ дѣвокъ-то, безъ всякихъ эфтихъ церемоніевъ—ну, ей это, и въ привычку. А онъ ей свое толкуетъ: «Я, говоритъ — не прапорщикъ». И точно-что онъ вправду сказалъ, потому онъ совсѣмъ штатскій... «Сколько разъ говорилъ я тебѣ, сказываетъ онъ ей:— затѣмъ и ѣду, чтобъ и тебѣ, и себѣ спокой доставить какой-нибудь, чтобы не мыкаться намъ больше съ тобой по бѣлу свѣту»... Утѣшаетъ онъ ее такъ-то, а мнѣ пятиалтынный въ руки, потому—душа-человѣкъ! Укатили. Смотрю, посмотрю: къ вечеру эдакъ возвращается моя барышня. Спрашиваю: проводили? «Проводила», говоритъ, и смѣется; а изъ-за угла—о, чтобъ тебя черти забрали! — ужь и выглядываетъ хахаль какой-то, рукой, эдакъ, поманиваетъ — поскорѣе, значитъ, не замѣшкайся! Но что меня смѣхъ разбираетъ, такъ истинно по тому случаю, что въ тотъ же день... «Это послѣ слезъ-то такъ-то вы, барышня? спрашиваю. Послѣ шести-то годовъ вы эдакъ-то?!!» Смотритъ на меня и хохочетъ, аки безумная какая! «Моя, говоритъ, теперь воля! Куда хочу, туда и пойду. Одна, говоритъ, осталась. Ха-ха-ха-ха! И то года съ три я видалъ: гулять, бывало, съ самимъ, или одна по надобности куда-нибудь — всегда это такъ тихо, степенно — всегда, бывало, ласково такъ поклонится; а тутъ... примѣчай, куда пошло! Какъ начнетъ приплясывать моя барышня, какъ загорланитъ на всю улицу пѣсню: «Съ кѣ-ѣмъ хочу, съ тѣмъ и гуляю»... Нѣтъ, вишь, какая тварь-то! Воротившись ко мнѣ, сейчасъ четвертакъ подаетъ; говоритъ: «получи, да смотри, не очень болтай, потому—учитель—забери его душу самъ дьяволъ—жениться на мнѣ похотѣлъ. А впрочемъ, посмѣивается. ежели и проболтаешь съ дуру, такъ онъ не повѣритъ... Какъ, говоритъ, знаешь!»... Такая тварюха бѣдовая!.. и опять заплясала, и опять загорланила».

Далѣе въ разсказѣ описывается трогательное примиреніе Груши съ учителемъ на именинахъ Мирона Петрова при посредствѣ старовѣрки, старушки Марьи Петровны. Эта сцена примиренія такъ умилила автора, что, лежа на сундукѣ, сильно ужь охмѣлѣвшій, онъ произнесъ про себя:

«Раститеся, множитеся и наполняйте землю», а сердце, говоритъ онъ:—такъ и подталкивало меня сбросить съ себя тулупъ, подбѣжать къ плакавшей группѣ, обняться съ нею

вмѣстѣ и плакать; но я чувствовалъ, что въ головѣ моей сидѣлъ кто-то, съ гордымъ, одутло-насмѣшливымъ лицомъ, и говорилъ мнѣ: — Ты куда? Зачѣмъ тебѣ къ нимъ? Ты ни любить такъ не умѣешь, какъ они, ни прощать... Лежи, тебѣ и плакать-то стыдно!—Я еще крѣпче завернулъ въ тулупъ голову, потому что, дѣйствительно, стыдился моихъ слезъ, которыя совсѣмъ было задушили меня...

«— Ну, ежели такъ, такъ Господь съ вами, счастливые люди! пробормоталъ я и уснулъ въ какой-то отчаянной тоскѣ по комъ-то и почемъ-то... Всю ночь мнѣ снилось *обѣщанное царство благодати*, тихое царство, безъ слезъ и скорбей, разрушающихъ жизнь. Я былъ бы совершенно счастливъ, еслибъ мой проклятый мозгъ не имѣлъ обыкновенія, даже и во снѣ, выпрядать какія-то отвратительно-шероховатыя нити, отъ щупанья которыхъ все существо мое нервно вздрагивало и, противъ воли озлобляясь, говорило: «Но, вѣдь, я сплю!.. Вотъ и тулупъ, которымъ я накрытъ, *слѣдовательно*, все это я вижу во снѣ... Это *слѣдовательно* губитъ и сны, и дѣйствительность...»

На другое утро *царство благодати* нарушилось всеобщею руганью: ругалась жена Мирона Петрова съ своимъ сожителемъ, и еще бо́льшая ругань шла между Грушею и учителемъ:

«— Варваръ! варваръ! неистовымъ голосомъ взывала вчерашняя востроносая дѣвица.

«— Вѣдь, ты жизнь мою загубилъ! Что же молчишь-то, Иродъ? Аспидъ! ты что же молчишь-то?

«Учитель, говоритъ авторъ, какъ-то особенно тяжело приподнялъ со стола голову, взглянулъ на меня уныло и апатически улыбаясь, и, будто сквозь сонъ, проговорилъ: — видишь? Пойдемъ!..

«Мы пошли — и цѣлый адъ закипѣлъ въ домѣ, гладко выструганныя стѣны котораго вчера еще такъ славно блестѣли на морозномъ полуночномъ фонѣ, смягчая его угрюмую, сѣрую безжизненность своей ярко-зеленой крышей и пугливо, но отрадно мелькавшими изъ оконъ огоньками».

Описавши за тѣмъ всеобщую потасовку, какая поднялась на «дѣвственной улицѣ» возлѣ этого дома, авторъ заключаетъ свой разсказъ слѣдующимъ образомъ:

«Весь этотъ день мы кружились съ учителемъ по раз-

нымъ развлекающимъ заведеніямъ. Мрачно уставя глаза въ стаканъ, онъ часто спрашивалъ меня: —Такъ ты говоришь, все это—вздоръ, а?—Я молчалъ.—Ну скажи-же что-нибудь. Ты думаешь, я пьянъ? Нѣ-ѣтъ! Я, вѣдь, все помню. Ты сказалъ именно: неотразимый вздоръ... Такъ, вѣдь, а?

«— Ну и сказалъ! Тысячу разъ говорилъ тебѣ... Отвяжись теперь...

«— Во что-же я вѣрилъ? Боже мой! Во что-же я вѣрилъ? Вѣдь, это—именно такое слово тутъ должно стоять: неотразимый вздоръ... Чортъ знаетъ, какъ это я не догадался прежде! Во что я вѣрилъ!.. Ну-ка, налей!

«Я наливалъ, а онъ пилъ и скрежеталъ зубами, обращая тѣмъ на себя общее вниманіе всего кабацкаго человѣчества. Между тѣмъ, на дворѣ стояла тихая, первозимняя ночь. Съ неба граціозно волновавшимися пушинками летѣлъ мягкій снѣгъ, а мѣсяцъ, словно красавица изъ-подъ вуали, такъ привѣтливо всматривался въ далекую отъ него землю...

«Всю душу измучила мнѣ сложенная мною въ эту ночь какая-то рѣшительно новая, нигдѣ неслыханная и нечитанная мною молитва, съ которой я обращался къ небу этого вечера. Зажгла она сердце мое несказаннымъ жаромъ любви къ природѣ и людямъ; но тѣмъ не менѣе, когда я мысленно произносилъ ее, это прекрасное, всегда утѣшающей меня небо принимало въ моихъ глазахъ какой-то холодный, исполненный, неумолимой, но прекрасно-величавой мудрости, образъ, который, будто-бы, отвернувшись отъ меня, наотрѣзъ говорилъ мнѣ:

«— О чемъ ты просишь?.. Молчи—иди!

«И я шелъ... я шелъ; но съ каждымъ шагомъ становилось бремя мое тяжелѣе и тяжелѣе и всю человѣческую, такъ долго и страстно горѣвшую и страдавшую кровь мою охватило непреодолимое желаніе—спать, спать и спать...»

Вотъ какіе тоскливые, разъѣдающіе мотивы проходятъ сквозь всѣ очерки А. И. Левитова второй категоріи. Въ этихъ мотивахъ передъ нами ярко выступаетъ, въ лицѣ А. И. Левитова, типъ тѣхъ писателей народниковъ-реалистовъ, которые проявились въ нашей литературѣ въ прошлое десятилѣтіе: вышедши изъ народа, вынеся на своихъ плечахъ его страданія и живя до конца своихъ дней непосредственно

его жизнію, они не идеализировали народа, не возводили его на пьедесталъ, не искали въ немъ какихъ-либо особенныхъ невѣдомыхъ міру идеаловъ и считали «неотразимымъ вздоромъ» туманныя фантазіи народниковъ-мистиковъ предшествовавшаго періода въ родѣ Ап. Григорьева, олицетворенныхъ А. И. Левитовымъ въ типѣ учителя-народника. Это сознаніе «неотразимаго вздора» происходило, конечно, изъ того реальнаго опыта, который открылъ имъ всѣ вѣковыя язвы, всю ту вѣковую грязь, которыя въѣлись въ народъ подъ вліяніемъ условій жизни его въ теченіи многихъ столѣтій!.. Но дорого стоило имъ это трезвое сознаніе: увидя народъ не такимъ, какимъ-бы имъ хотѣлось его видѣть и какимъ представляли его предшественники ихъ, они исполнились глубокою, безвыходною скорбью о всѣхъ его язвахъ и страданіяхъ, и, въ то же время, дѣйствительность, представившаяся имъ, совершенно ощеломила ихъ и обезкуражила. Въ унынiи и отчаяніи, опустили они руки, тоскливо восклицая: во что̀ же послѣ этого вѣрить? Къ кому идти? Куда преклонить голову? Что̀ дѣлать?..» И они окончательно спивались, находя единственное утѣшеніе въ забвеніи вина и смерти.

Сочиненія А, И. Левитова въ этомъ отношеніи полезны не тѣмъ только, что раскрываютъ намъ народную жизнь со стороны ея горя, страданій и всѣхъ наросшихъ на народѣ вѣковыхъ сыпей и язвъ. Они вдвойнѣ поучительны должны быть для нашихъ новѣйшихъ народниковъ-мистиковъ, которые снова, подобно ихъ отцамъ и дѣдамъ, подходятъ къ народу съ исканіями невѣдомыхъ міру идеаловъ. — Пусть эти народники-мистики читаютъ сочиненія А. И. Левитова и, съ одной стороны, извлекаютъ изъ нихъ представленіе о народѣ, хотя и односторонне, но тѣмъ не менѣе, вполнѣ реальное, представленіе человѣка, который самъ былъ изъ народа и вынесъ на своихъ плечахъ его тяготу; а съ другой стороны, пусть они не забываютъ, что за періодомъ каждаго мечтательнаго и фантастическаго очарованія долженъ слѣдовать періодъ отрезвленія и разочарованія при видѣ суровой дѣйствительности, рушащей воздушные зàмки. Такъ мы и видимъ, что всѣ наши беллетристы-народники 60-хъ годовъ, Помяловскій, Рѣшетниковъ, А. И. Левитовъ выразили собою моментъ разочарованія въ мистическихъ грёзахъ отно-

сительно народа ихъ предшественниковъ. Теперь спрашивается: что же дѣлаютъ наши новѣйшіе народники-мистики, снова начавшіе искать въ народѣ различныхъ несказанныхъ идеаловъ, въ родѣ новыхъ деревенскихъ словъ, долженствующихъ посрамить растлѣнный городъ и заткнуть за поясъ европейскую науку, какъ не начинаютъ съизнова пережитую уже нашими отцами исторію фантастическаго очарованія, и грозятъ въ грядущемъ новый періодъ разочарованія, унынія, отчаяннаго опусканія рукъ и восклицаній: во-что же вѣрить? куда же дѣться? къ кому идти? что дѣлать?...

Не было ли-бы въ мильйонъ разъ благотворнѣе, еслибы мы, вмѣсто подобнаго возвращенія къ заблужденіямъ отцовъ, вчитались и вдумались глубже въ сочиненія беллетристовъ-народниковъ 60-хъ годовъ и взяли бы въ разсчетъ дѣйствительность, открывшуюся намъ въ этихъ сочиненіяхъ. А затѣмъ, не останавливаясь на томъ уныніи и отчаяніи, на которомъ остановились эти беллетристы, ободрились бы, собрались съ силами и занялись бы трезвымъ пріисканіемъ цѣлительныхъ средствъ для излеченія тѣхъ народныхъ язвъ, которыя намъ показали эти беллетристы. Только въ подобномъ ободреніи и трезвомъ исканіи цѣлительныхъ средствъ можетъ проявиться тотъ новый шагъ впередъ и то желанное «новое слово», о которомъ мечтаютъ наши народники-мистики.

1877 г.

Моя полемика съ пріятелемъ по поводу статьи о Левитовѣ.

Въ статьѣ о Левитовѣ я провелъ ту мысль между прочимъ, что беллетристы-народники 60-хъ годовъ, каковы Левитовъ, Рѣшетниковъ и др., выразили трезвымъ отношеніемъ своимъ къ народу, изъ среды которого сами они вышли, реакцію противъ той идеализаціи народа, которая была въ ходу въ 50-е годы. Левитовъ даже пересолилъ въ этомъ отношеніи, такъ какъ къ концу своей жизни дошелъ даже до скептизма и отчаянья въ томъ самомъ народѣ, бытъ котораго изображалъ всю свою жизнь. Въ заключеніе я поставилъ въ

примѣръ этихъ беллетристовъ 60-хъ годовъ тѣмъ нашимъ новѣйшимъ народникамъ-мистикамъ, которые снова начинаютъ подходить къ народу съ исканіемъ какихъ-то особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и рискуютъ снова впасть въ разочарованіе весьма прискорбное и нежелательное.

Пріятеля моего смутили всѣ эти высказанныя мною мысли. Онъ возразилъ мнѣ, что, по его мнѣнію въ 50-е годы никакой идеализаціи народа совсѣмъ не существовало; напротивъ того, на народъ смотрѣли свысока, какъ на чернь непросвѣщенну, и самое многое если питали гуманныя сожалѣнія къ его бѣдственнымъ положеніямъ; что беллетристы народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшней его стороны: это былъ или жанръ, представлявшій народъ въ разныхъ комическихъ проявленіяхъ его невѣжества и пьянства, или лирическій вопль о его страданіяхъ—и что наконецъ только нашему времени принадлежитъ болѣе глубокое и серьезное отношеніе къ народу, стремленіе проникнуть въ его душу и выяснить его идеалы. Вотъ противъ подобныхъ взглядовъ моего пріятеля я и желаю сдѣлать нѣсколько возраженій.

Буду возражать въ хронологическомъ порядкѣ, начиная съ 50-хъ годовъ. Я не спорю, что въ 50-е годы, вы можете найти весьма много людей, смотрѣвшихъ на народъ съ тѣмъ высокомѣрно-презрительнымъ или высокомѣрно-гуманнымъ взглядомъ, о которомъ говоритъ мой пріятель. Но вѣдь и въ наше время вы могли бы найти не менѣе, если не болѣе людей, продолжающихъ смотрѣть на народъ такимъ же взглядмъ. Я бы могъ представить многочисленные примѣры отзывовъ о народѣ людей, даже принадлежащихъ къ народной средѣ, въ родѣ того что: «ну, да что вы хотите отъ мужичья»; «мужикъ—мужикомъ и воняетъ», и т. п. Но очевидно, что рѣчь идетъ у насъ не о массѣ публики, не о толпѣ, а о тѣхъ верхнихъ теченіяхъ передовой мысли, составляющихъ, такъ сказать, фарватеръ умственнаго движенія даннаго времени. И вотъ, обращаясь къ этому фарватеру, мы видимъ, что не одни славянофилы или народники-мистики въ родѣ Ап. Григорьева, не одни сердобольные ходоки ради собиранія народныхъ пѣсенъ, повѣрій и всевозможныхъ этнографическихъ данныхъ ставили въ 50-хъ годахъ на пьедесталъ народъ и молились ему, то съуживая понятіе *народъ*

до людей податныхъ сословій, то расширяя его на всѣ сословія въ смыслѣ національныхъ преимуществъ русскаго народа сравнительно съ западными народностями. Вообще во всей литературѣ того времени различныхъ лагерей преобладалъ анализъ, противопоставлявшій нравственныя качества простаго народа качествамъ интеллигентнаго меньшинства: съ одной стороны порицались безхарактерная тряпичность, развинченность, изнѣженность, искусственность, любовь къ фразѣ и внѣшней выставкѣ при пустотѣ содержанія интеллигентнаго меньшинства; съ другой—возвеличивались цѣльность, непосредственность, выносливость, простота и прочія качества людей-народа. На почвѣ подобнаго анализа воспитались многіе писатели сороковыхъ годовъ—Некрасовъ, Л. Толстой, Ѳ. Достоевскій, Марко-Вовчокъ, Кохановская; наконецъ и у Островскаго вы найдете тоже стремленіе простотѣ и цѣльности людей народа противопоставить развинченность и искусственность интеллигентнаго слоя. Въ началѣ 50-хъ годовъ подобный анализъ былъ еще довольно смутенъ и неопредѣленъ, но въ концѣ—онъ успѣлъ уже прійти къ довольно яснымъ и опредѣленнымъ даннымъ. Такъ, возьмите вы Добролюбова: главная пружина всѣхъ его критическихъ и публицистическихъ взглядовъ постоянно заключалась въ скептическомъ отношеніи къ различнымъ нравственнымъ качествамъ интеллигентнаго меньшинства и въ сопоставленіи имъ нравственныхъ качествъ народа. Но не одному Добролюбову принадлежали подобныя воззрѣнія. Въ то время они носились въ воздухѣ. На каждомъ перекресткѣ вы могли слышать фразы, что народъ и любить, и ненавидѣть умѣетъ глубже и сильнѣе чѣмъ мы, что ничего мы не съумѣемъ для него сдѣлать, а онъ самъ можетъ сдѣлать для себя все, что ему нужно.

Я не нахожу ничего худаго въ подобныхъ воззрѣніяхъ и, напротивъ того, очень уважаю ихъ, но въ нихъ былъ одинъ недостатокъ: именно неопредѣленность самаго понятія «народъ», которому поклонялись въ то время. Поклонялись именно не столько народу въ его реальной сути, сколько отвлеченному понятію о народѣ, въ которое вкладывали свое собственное содержаніе, рядъ идеальныхъ нравственныхъ качествъ, противополагая ихъ недостаткамъ интеллигентныхъ слоевъ; но въ то же время ни мало не заботились объ анализѣ са-

маго народа въ его различныхъ элементахъ,—анализѣ, который могъ бы привести къ убѣжденію, что далеко не всѣ элементы, скрывающіеся въ народѣ, заслуживаютъ поклоненія, а только нѣкоторые, и притомъ такіе, которые вовсе не составляютъ исключительной собственности одного мужика. Недостатокъ подобнаго анализа и былъ причиною, что одни, какъ напримѣръ Островскій въ нѣкоторыхъ своихъ комедіяхъ («Не въ свои сани не садись»), расширяли понятія «народъ» до всѣхъ массъ, не носящихъ нѣмецкаго платья и не помазанныхъ лоскомъ европейской цивилизаціи, и готовы были выставить противъ нравственныхъ недостатковъ интеллигентнаго меньшинства нравственную доблесть московскаго кулака въ родѣ старика Русакова; другіе же съуживали до nec plus ultra тоже самое понятіе, подразумѣвая подъ нимъ исключительно мужиковъ въ сермягахъ и лаптяхъ, и притомъ такихъ мужиковъ, которые никогда изъ своей деревни не выѣзжали, такъ что какъ попалъ мужикъ въ уѣздный или губернскій городъ,—причисленіе его къ средѣ «народа» дѣлалось уже сомнительнымъ въ ихъ глазахъ: а попалъ мужикъ въ столицу,—кончено: съ него стирались всѣ народныя клейма, и онъ совсѣмъ вычислялся изъ среды народа. Но за то каждая сермяга, не выѣзжавшая изъ свой деревни, была предметомъ слѣпаго и совершенно безразличнаго поклоненія.

Въ 60-е годы все это сразу принимаетъ совершенно иной видъ. На первый планъ выступаетъ писаревщина, которая вполнѣ игнорируетъ народъ, смотритъ на него свысока, какъ на тупое и безмозглое стадо барановъ, и видитъ все спасеніе въ трезвыхъ реалистахъ, Базаровыхъ, углубленныхъ съ сигарами въ зубахъ въ различныя естественнонаучныя изслѣдованія. Рядомъ съ этимъ развивается народная беллетристика, и въ этой беллетристикѣ мы не видимъ уже и слѣда какой бы то ни было идеализаціи народа. Но было бы совершенно напрасно предполагать, какъ это дѣлаетъ мой пріятель, чтобы беллетристы-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшнихъ сторонъ въ смыслѣ чистаго жанра. Правда, были и такіе беллетристы, каковы напримѣръ Н. Успенскій, В. Слѣпцовъ и пр.,—но развѣ можно сказать это о Рѣшетниковѣ, о Левитовѣ, о Н. И. Наумовѣ и другихъ менѣе замѣчательныхъ и теперь уже забытыхъ? Правда, они

не идеализировали народа и не искали въ немъ исключительно однихъ нравственныхъ совершенствъ, но отнюдь нельзя сказать, чтобы они обращали вниманіе на однѣ внѣшнія его стороны или смотрѣли на него свысока: они трезво анализировали народъ, разлагали его на различные элементы, представляли его въ различныхъ видахъ: пьянымъ и трезвымъ, наживающимся и проживающимся, ищущимъ, гдѣ лучше живется, и вѣшающимся съ отчаянія, принижающимся до послѣдней степени самоуниженія и обращающимся въ звѣря въ порывѣ накипѣвшаго ожесточенія и пр. и пр. Этотъ анализъ доводилъ ихъ нерѣдко, какъ уже сказалъ я выше, до скептизма и отчаянья относительно народа. У Рѣшетникова, какъ беллетриста непосредственно объективнаго, подобный скептицизмъ не замѣтенъ, но у Левитова, какъ у писателя крайне субъективнаго, онъ часто проявляется въ самомъ рѣзкомъ видѣ. Весьма многіе разсказы Левитова начинаются съ мотивовъ 50-хъ годовъ: авторъ жалуется на искусственность, раздвоенность и лабиринтъ нравственныхъ противорѣчій своихъ интеллигентныхъ пріятелей и бѣжитъ въ среду народа, мечтая, что тамъ онъ найдетъ «обѣщанное царство благодати», но приэтомъ не забываетъ и себя продернуть въ качествѣ интеллигентнаго человѣка: «Ты куда? говоритъ онъ себѣ:—Зачѣмъ тебѣ къ нимъ? Ты ни любить такъ не умѣешь, какъ они, ни прощать...» Но далѣе затѣмъ это «обѣщанное царство благодати» изображается въ такомъ ужасномъ видѣ, что, вылетая изъ него стремглавъ, авторъ восклицаетъ въ отчаяніи: «Господи! Куда же я пойду?.. Гдѣ и съ какими людьми я жить смогу?» Неужели пріятель мой желаетъ во что бы то ни стало игнорировать подобные мотивы разсказовъ Левитова и, несмотря на всю ихъ назойливость, будетъ упорствовать въ своемъ предположеніи, что беллетристы-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшней стороны съ цѣлью юмора и жанра?

Перехожу теперь къ нашему времени. Въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ литературныхъ и нелитературныхъ слояхъ снова появились побужденія къ идеализаціи народа, къ отыскиванію въ немъ различныхъ нравственныхъ идеаловъ въ противоположность недостаткамъ интеллигентныхъ слоевъ. Напрасно въ этомъ отношеніи пріятель мой упрекаетъ меня, что, упоминая въ своей статьѣ о публицистахъ

«Недѣли» съ ихъ пресловутымъ новымъ словомъ деревни, я стрѣляю по разлетѣвшимся воробьямъ, такъ какъ эти публицисты давно уже не появляются на столбцахъ «Недѣли», и журналъ этотъ, повидимому, пересталъ и думать о какихъ бы то ни было новыхъ словахъ. Дѣло тутъ совсѣмъ не въ «Недѣлѣ» и не въ ея замолчавшихъ публицистахъ. Неужели пріятель мой думаетъ, что публицисты эти были исключительнымъ, случайнымъ, эфемернымъ явленіемъ: появились ни съ того, ни съ сего, и скрылись безъ слѣда? Если бы это было такъ, то стоили ли они возраженія и въ то время, когда статьи ихъ печатались въ «Недѣлѣ?» Но мнѣ кажется, что это не такъ, что за публицистами «Недѣли» чуется въ самой интеллигентной массѣ смутное движеніе въ духѣ тѣхъ идей, которыя публицисты «Недѣли» высказали на страницахъ этой газеты. Это движеніе задѣло своимъ крыломъ и моего пріятеля, вслѣдствіе чего онъ и вздумалъ предписывать нашему времени проникновеніе въ народные идеалы. Такимъ образомъ воробьи оказываются вовсе не разлетѣвшимися, и мой пріятель самъ находится въ ихъ стаѣ. Поговоримъ же объ этихъ воробьяхъ.

Подобно тому какъ не вижу я ничего дурнаго въ поклоненіи народнымъ нравственнымъ идеаламъ въ пятидесятые годы, такъ же точно я готовъ отнестись съ полнымъ уваженіемъ къ такому же явленію и въ наше время. Но въ то же время я не желалъ бы, чтобы поклоненіе это пошло по той же дорогѣ, по какой оно шло 20 лѣтъ тому назадъ и отличалось такою же слѣпотою и непредѣленностью. Начать съ того, что на первый планъ снова выступаютъ такіе темные и туманные термины какъ *народъ*, *народность* и противопоставляются націонализму. Въ контрастѣ съ націонализмомъ термины эти какъ будто и представляютъ нѣчто опредѣленное, но сами по себѣ они сильно хромаютъ туманностью и неопредѣленностью. Что вы подразумѣваете подъ словомъ *народъ*? Вы мнѣ отвѣтите конечно: рабочіе слои населенія, мужиковъ, и нарисуете при этомъ нравственный типъ трудоваго человѣка, прибавивъ къ этому, что онъ вездесущъ, не принадлежитъ ни одной какой-либо національности, но встрѣчается повсюду, гдѣ человѣкъ въ потѣ лица заработываетъ хлѣбъ свой. Прекрасно. Но вы посмотрите, сколько неточностей въ вашихъ опредѣленіяхъ: съ

одной стороны, развѣ всѣ трудящіеся люди принадлежатъ исключительно къ числу мужиковъ, а съ другой стороны — можно ли сказать, чтобы всѣ мужики представляли собою нравственные типы людей насущнаго труда? Дѣло въ томъ, что нравственный маасштабъ далеко не всегда сходится съ маасштабомъ политико-экономическимъ или сословнымъ, потому что кромѣ экономическихъ и общественныхъ условій на образованіе нравственныхъ типовъ вліяютъ многія иныя, болѣе частныя и случайныя. Съ политико-экономической точки зрѣнія на весьма многіе отрасли труда слѣдуетъ смотрѣть какъ на непроизводительные и слѣдовательно вредные, но люди, занимающіеся этими трудами, тѣмъ не менѣе все-таки могутъ представлять изъ себя вполнѣ тотъ нравственный типъ людей труда, которому вы поклоняетесь и при этомъ совершенно независимо, къ какому бы классу общества они ни принадлежали. У инаго мужика, всю жизнь шагающаго за плугомъ, вы найдете въ гораздо большей степени подленькую чиновничью душонку подъ его сермягой, чѣмъ въ иномъ мелкомъ чиновникѣ, который въ свою очередь можетъ вполнѣ осуществлять собою вашъ нравственный типъ человѣка труда. Что мнѣ толку въ иномъ вашемъ мужикѣ, если при всей своей мужицкой внѣшности, капляхъ трудоваго пота на челѣ и рукахъ, покрытыхъ мозолями, онъ только и помышляетъ о томъ, какъ бы подвернулся ему случай сцапать какимъ-либо манеромъ кушикъ, обратиться потомъ въ Дерунова и начать драть шкуру съ своихъ же братьевъ-сотоварищей по тяжкому труду? Да я грязнаго, развратнаго щедринскаго тапера готовъ уважать въ большей степени, чѣмъ подобнаго вашего мужика. Вообще мужикъ, народъ—это нѣчто весьма сложное и разнохарактерное, чтобы можно было съ нравственной точки зрѣнія подвести его подъ одинъ типъ. А потому не лучше ли оставить эти неподходящіе термины и замѣнить ихъ болѣе точными и опредѣленными. Такъ, напримѣръ, гораздо было бы яснѣе и точнѣе сдѣлать вотъ какіе контрасты: противъ инстинктовъ наживы пусть парадируютъ инстинкты насущнаго труда, въ то же время противъ инстинктовъ владычества (стремленія возвыситься въ какомъ бы то ни было отношеніи надъ ближнимъ)—инстинкты братской любви и солидарности. Разъ вы сдѣлаете такіе контрасты и, принявъ ихъ въ соображе-

ніе, взглянете на жизнь,—вы и увидите, что элементы эти борются не только въ такихъ обширныхъ группахъ, каковы обширные слои общества, но и самыхъ нѣдрахъ того, что вы называете народомъ, мужиками.

Мой пріятель скажетъ мнѣ, что я хлопочу о пустякахъ, что весь споръ сводится на споръ о терминахъ, о словахъ. Но не пренебрегайте терминами, не играйте словами: отъ нихъ иногда много зависитъ ясность и точность мысли. Особенно слѣдуетъ опасаться вливанія новыхъ идей въ старые термины, подъ которыми мысль людей привыкла соединять нѣчто иное, не совсѣмъ подходящее къ вашимъ идеямъ; вы всегда рискуете, что это «нѣчто иное» прилипнетъ къ вашей идеѣ и потащится за нею ненужнымъ хвостомъ, запутывая и ваши собственныя понятія, и понятія вашихъ ближнихъ. Для примѣра того, какъ неточные термины затуманиваютъ головы и ведутъ къ отвлеченнымъ умствованіямъ, повидимому, очень красивымъ и справедливымъ, но тѣмъ не менѣе вполнѣ призрачнымъ, я приведу двѣ выдержки изъ двухъ совершенно различныхъ писателей, почти тождественныя по своему содержанію:

Въ повѣсти г. Златовратскаго «Золотыя сердца», два молодые человѣка бесѣдуютъ слѣдующимъ образомъ о сближеніи съ народомъ.

«— Скажи, Башкировъ, заговорилъ пріятель: — ты хорошо вѣдь знаешь простой народъ?

«— Что я знаю? знаю я Петра да Сидора. Вотъ чаво я знаю.

«— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучилъ же ты? Вотъ они съ тобой сходятся, тебѣ довѣряютъ. Ты, значитъ, знаешь, чѣмъ можно добиться ихъ довѣренности, чѣмъ разрушить ту стѣну недовѣрія, которая существуетъ между нами и ими?

«— Знаю, протянулъ Ванюшка, хитро улыбнувшись.

«— Въ чемъ же, въ чемъ штука-то? вскрикнулъ обрадовавшійся юноша:—трудно?

«— Нѣтъ, ничего... легко!

«— Легко?

«— Не сумлявайся... легко...

«— Ну, такъ въ чемъ же штука-то?

«— Штука-то?.. Быть нещастнымъ!

«Пріятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка сталъ хладнокровно переобувать сапоги и молчалъ».

Въ одномъ изъ фельетоновъ г. Темкина двое пріятелей бесѣдуютъ о томъ же предметѣ:

«— Позвольте однако Сицкій; вѣдь мы начали съ того, что вы готовились къ познанію, такъ сказать, народа. А между тѣмъ вы, во-первыхъ, такъ говорите, какъ будто знаете его и теперь ужь вдоль и поперекъ. А во-вторыхъ...

«— Я составилъ себѣ понятіе, перебилъ Сицкій:—если увижу, что оно не полно или вздорно, такъ дополню или брошу...

«— А, во-вторыхъ, продолжалъ я; — узнать народъ и учить его—это двѣ разныя вещи. И я все-таки думаю, что для того, чтобы узнать его, особенныхъ приготовленій не требуется. Это всякій можетъ при добромъ желаніи.

«— Напрасно вы такъ думаете. Съ чего это мужикъ станетъ ради вашего добраго желанія душу предъ вами раскрывать? Вы должны его уваженіе пріобрѣсти, представиться ему прежде всего дѣльнымъ, стоющимъ человѣкомъ...

«— Прежде всего! замѣтьте, вы все это еще «во-первыхъ» говорите. Во-первыхъ, знаніе. Ну, хорошо. Значитъ есть и во-вторыхъ?

«— Есть и во-вторыхъ, и въ-третьихъ. Во-вторыхъ, какой нибудь физическій трудъ, мастерство, что нибудь, вообще какая нибудь умѣлость. Неумѣлость народъ только юродивымъ да блаженнымъ прощаетъ, а въ-третьихъ, подвигъ...

«— Какой такой подвигъ?

«— Какой подвигъ—это вы изъ исторіи можете узнать...» и проч.

Все это и справедливо, и несправедливо. Это справедливо по отношенію только къ тѣмъ нѣкоторымъ элементамъ среди народа, которые осуществляютъ собою нравственный типъ инстинктовъ насущнаго труда плюсъ инстинкты братской любви. Но вѣдь не къ одному народу, мужикамъ, а ко всѣмъ людямъ, представляющимъ этотъ нравственный типъ, подходить слѣдуетъ такъ, какъ предписываютъ Башкировъ и Сицкій. Очень можетъ быть, чтобы заслужить довѣріе г. Златовратскаго или г. Темкина тоже требуется и быть несчастнымъ, и быть умѣлымъ, и пріобрѣсти ихъ уваженіе, и подвигъ? Но вѣдь здѣсь говорится о народѣ вообще, о мужи-

кахъ огуломъ. Позвольте же и поспорить: не ко всякому мужику подойдете вы съ такими качествами; иной можетъ быть надъ вашимъ несчастіемъ-то только посмѣется да поглумится, умѣлость въ васъ способенъ оцѣнить только въ качествѣ ловкости въ кулачествѣ и хищничествѣ, а за подвигъ-то схватить васъ за шиворотъ да потащить къ становому...

Вотъ въ этой необходимости разборчивости, — необходимости, чтобы однородное стремилось къ однородному, соединялось съ подобнымъ и глядѣло въ оба, какъ бы не наскочить на враждебные элементы, — и заключается задача нашего времени. Наша же привычка разсуждать отвлеченными категоріями, употребляя ветхіе и никуда негодные термины, ведетъ только къ невообразимой путаницѣ мысли и горькимъ разочарованіямъ, а порою и тяжкимъ опытамъ въ жизни.

1877 г.

ДВѢ ЗАМѢТКИ

ПО ПОВОДУ НАБЛЮДЕНІЙ ГЛ. УСПЕНСКАГО ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ.

ДВѢ ЗАМѢТКИ

ПО ПОВОДУ НАБЛЮДЕНІЙ ГЛ. УСПЕНКАГО ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ.

I.

Дѣло извѣстное, что поэтъ въ своихъ отношеніяхъ къ фактамъ и явленіямъ жизни, которые онъ изображаетъ, имѣетъ наклонность быть скорѣе прокуроромъ чѣмъ адвокатомъ, т. е. болѣе усиливать и отягчать, чѣмъ смягчать и сглаживать. Это происходитъ вполнѣ естественно вслѣдствіе того, что явленія производятъ на его впечатлительную и чуткую природу въ неизмѣримой степени сильнѣйшее впечатлѣніе, чѣмъ на насъ грѣшныхъ. Тѣ стороны факта, которыя наиболѣе поражаютъ его, получаютъ въ глазахъ его исключительное значеніе, овладѣваютъ имъ всецѣло, и онъ утрачиваетъ способность видѣть различные смягчающіе тоны и умиротворяющія лазейки, которые мы встрѣчаемъ въ жизни на каждомъ шагу, при самыхъ повидимому безвыходныхъ положеніяхъ. Вслѣдствіе этого такъ всегда и выходитъ, что если поэтъ изобразитъ какую нибудь ненормальность жизни, зло, горе,—все это выходитъ у него въ такомъ вопіющемъ, непоправимомъ, угрожающемъ близкою гибелью чуть не всему человѣчеству видѣ, что только повидимому и остается что ложиться сейчасъ же въ гробъ и зарываться въ землю. Но въ дѣйствительности черезъ самыя повидимому непроходимыя скалы вы всегда найдете какія нибудь если не явные, то скрытые пути и проходы, и вся забота заключается въ томъ, чтобы потрудиться поискать ихъ, прежде чѣмъ приходить въ ужасъ и отчаяніе.

Достойнство или недостатокъ поэзіи заключается въ подобной наклонности мухъ возводить въ слоновъ и находить безвыходность тамъ, «гдѣ стóитъ только догадаться за дѣло просто взяться?» По моему мнѣнію, въ этомъ не только достоинство, но и главная сущность поэзіи. Мы такъ наклонны мириться со зломъ, всячески смягчать и сглаживать разныя ненормальности жизни и закрывать отъ нихъ глаза отчасти ради умиротворенія своей совѣсти, что человѣчество, и безъ того не отличающееся быстротою прогресса, шло-бы еще болѣе черепашьимъ шагомъ, если бы поэзія не подгоняла его, пугая разными страшными буками. Чтожь дѣлать, если люди продолжаютъ еще быть такими малыми ребятами, что необходимо каждую ничтожную болѣзнь представлять въ ихъ глазахъ смертельною, а иначе они и лечить ея не станутъ и въ самомъ дѣлѣ затянутъ ее до смертельнаго недуга.

На этомъ основаніи я вполнѣ оправдываю Г. Успенскаго въ томъ мрачномъ, безотрадномъ впечатлѣніи, какое производятъ очерки его «Люди и нравы». Очень можетъ быть, что факты, выставляемые имъ, въ дѣйствительности далеко не столь печальны, неизбѣжны и всеобщи, но, чтобы уразумѣть ихъ во всей ихъ суровой правдѣ, необходимо было, чтобы поэтъ выставилъ ихъ передъ нами въ томъ исключительномъ, вопіющемъ видѣ, въ какомъ они рисуются въ разсказѣ Г. Успенскаго. А этого могъ достигнуть онъ только путемъ своего собственнаго личнаго опыта, который заставилъ его выстрадать эти факты и глубоко напечатлѣться ими. Въ самомъ дѣлѣ, я живо представляю себѣ Г. Успенскаго, кинутаго случаемъ въ бѣдную, захолустную сѣверную деревеньку и очутившагося въ средѣ деревенскаго люда со своими гуманными стремленіями не только изучить этотъ людъ со стороны, но и сблизиться съ нимъ, войти въ его душу въ видахъ хотя бы этого самаго изученія. Конечно, на первыхъ же порахъ долженъ былъ ошеломить его тотъ фактъ полной отчужденности, почти пропасти, который стоитъ на пути сближенія интеллегентнаго барина съ темнымъ мужикомъ. Этому ошеломленію безъ сомнѣнія не мало способствовали и тѣ условія, въ которыхъ находился Г. Успенскій въ деревенской средѣ. Иное было бы совсѣмъ дѣло, если бы онъ явился въ эту среду съ какимъ нибудь опредѣленнымъ, житейскимъ отношеніемъ, въ качествѣ сельскаго хо-

зяйна, учителя, врача, купца, чиновника и проч. Пропасть между нимъ и мужикомъ продолжала бы существовать по прежнему, но онъ могъ бы ея и не замѣтить, такъ какъ все вниманіе его было бы поглощено тѣми односторонними отношеніями, въ которыхъ онъ находился бы къ мужику, и онъ можетъ быть вполнѣ удовлетворился бы ими. Но обстоятельства поставили его возлѣ мужика исключительно въ качествѣ посторонняго дачника, безъ всякихъ отношеній къ нему. Естественно, что онъ сразу очутился среди людей вполнѣ чуждыхъ, неимѣющихъ съ нимъ ни малѣйшихъ интересовъ, никакихъ рѣшительно точекъ соприкосновенія, и долженъ былъ глубоко сознать всю ту страшную пропасть, которая отдѣляетъ его въ качествѣ интеллигентнаго человѣка отъ мужика. Пропасть эта, какъ поэту, должна была показаться ему еще бездоннѣе и непроходимѣе, чѣмъ она могла бы показаться намъ съ вами, и вотъ изъ скорбной души его вырвался передъ нами слѣдующаго рода вопль:

«Не имѣя съ крестьяниномъ коммерческихъ дѣлъ, не имѣя оффиціальной власти, не покупая или не продавая крестьянину, баринъ никакимъ образомъ не можетъ найти почти ни малѣйшей связи съ крестьяниномъ и, покуда не съѣстъ съ нимъ двадцати пудовъ соли, едва ли можетъ разсчитывать на искренность съ его стороны, даже въ самомъ простомъ, обыкновенномъ разговорѣ. У крестьянина прочно сложилось какое-то въ самую кровь вѣвшееся убѣжденіе, что баринъ не понимаетъ ничего житейскаго, ничего изъ того, что́ держитъ человѣка на землѣ, что заправляетъ его жизнію, душой и думой. Баринъ можетъ купить, потому что у него есть деньги, можетъ продать, потому что имѣетъ товаръ, можетъ заказать и заплатить за это,—словомъ, можетъ дѣлать все, что могутъ сами собой дѣлать деньги, и во время этихъ операцій, вообще во время денежной связи барина съ мужикомъ, могутъ существовать между тѣмъ и другимъ повидимому довольно близкія отношенія, могутъ происходить «понятные» обоимъ разговоры, хотя и далеко неискренніе, никогда не подпускающіе барина близко къ правдѣ своихъ мыслей и чувствъ. Но какъ только баринъ возмечталъ, основываясь на этомъ денежномъ знакомствѣ съ народомъ, продолжать это знакомство такъ, просто, какъ человѣкъ, какъ

продолжаетъ всю жизнь быть знакомъ мужикъ съ мужикомъ,— тутъ конецъ всякой связи.

«Что же можетъ значить баринъ безъ денегъ, въ то время когда онъ не заказываетъ, не покупаетъ и не продаетъ? «Нешто онъ что понимаетъ?» Прошлая исторія барина какъ нельзя лучше укрѣпляетъ въ воображеніи крестьянина убѣжденіе въ полной внутренней безсодержательности его, какъ человѣка; усталость отъ его неразумныхъ капризовъ, колобродствъ и т. д.,—словомъ отъ всѣхъ проявленій больнаго господскаго тѣла и ума,—это утомленіе уничтожаетъ въ крестьянинѣ всякую охоту взглянуть на этотъ вопросъ съ какой нибудь другой стороны, какъ нибудь иначе понять барина. Переставъ быть закащикомъ, покупателемъ, нанимателемъ или чиновникомъ, баринъ дѣлается для мужика ничѣмъ и съ ужасомъ принужденъ видѣть, что у послѣдняго нѣтъ и тѣни увѣренности, что къ этимъ существамъ можно имѣть хотя такія же частныя отношенія, какъ и съ своимъ братомъ односельчаниномъ... Необходимо дьявольское терпѣніе, продолжительное и настойчивое желаніе фактически, на дѣлѣ, доказать пониманіе бариномъ простыхъ человѣческихъ отношеній, чтобы мужикъ началъ вѣрить, что и въ баринѣ сидитъ такой же человѣкъ, какъ и въ немъ. Попробуйте зайти вотъ въ эту крестьянскую кузницу, которая дымится на сосѣднемъ пригоркѣ близь дороги. Вамъ хочется поговорить съ крестьянами, посмотрѣть на работу, на трудъ, узнать, сколько онъ даетъ доходу, и т. д. У низенькой квадратной двери кузницы собралось нѣсколько крестьянъ; одни ждутъ своихъ подковъ, своихъ лемешей, другіе пришли такъ, какъ и вы. До тѣхъ поръ, покуда вы не приходили, у всѣхъ шелъ и дѣловой, и шутливый разговоръ; и о работѣ говорили они, и о податяхъ, и пошутили надъ молодымъ парнемъ, только-что женившимся, и пожалѣли Ивана-мельника, у котораго такой-то мужикъ совсѣмъ отбилъ жену и т. д. Въ это время приходите вы, баринъ, вамъ не нужно ни ломешей, ни подковъ; вы пришли такъ, какъ и два другіе крестьянина, стоящіе здѣсь же; они остановились тутъ балакать, между дѣломъ, какъ и вы вышли изъ дома также между дѣломъ. Но—увы!—съ вашимъ приходомъ балаканье прекращается: «Что вы тутъ понимаете? Это не ваше дѣло.» Пристать къ разговору, который только-что шелъ, вамъ нѣтъ

возможности. Вамъ не надо ни лемешей, ни подковъ, заказывать вы ничего не хотите... Что же вамъ нужно? Никогда никому изъ находящихся въ этой кучкѣ не придетъ въ голову, что вамъ хочется или надо просто поговорить объ обыкновенныхъ житейскихъ вещахъ, никто и не думаетъ подозрѣвать въ васъ какой нибудь интересъ къ личному дѣлу крестьянъ и никто не думаетъ интересоваться вашимъ личнымъ барскимъ дѣломъ. Чтожь съ вами дѣлать? «Угостите, баринъ, кузнецовъ... Право слово!..» Другими словами: «Что пришелъ-то?.. Хоть полштофъ съ тебя, шатущаго, разгрызть!..» Или еще хуже: «Митрофанъ, представь штуку,—баринъ тебѣ поднесетъ!.. доберъ баринъ-то!..»—«Ужь д-о-беръ!» хоромъ подтверждаютъ другіе присутствующіе, явно играющіе комедію и рѣшительно нежелающіе видѣть въ васъ человѣка... Баринъ! Чтожь у него въ головѣ?—Вѣрно какой нибудь вздоръ!.. Представь ему, Митрофанъ, штуку,—все намъ по стаканчику... Не подозрѣвая въ васъ никакихъ серьезныхъ думъ, заботъ, желаній, компанія, непремѣнно «для васъ» (если только надѣется достигнуть результата въ видѣ водки), начнетъ глупый, скоромный разговоръ, и вы видите, что этотъ разговоръ именно для васъ, для барина, котораго интересуетъ только разная мерзотина. Ничего подобнаго никто изъ нихъ не позволитъ себѣ съ своимъ братомъ крестьяниномъ, который бы точно такъ же пришелъ и сѣлъ у двери кузницы, на камешкѣ. Потомъ, современемъ, вы добьетесь отъ нихъ человѣческихъ отношеній, если съумѣете понадобиться имъ безъ заказовъ и безъ денегъ, но на это надо много времени и труда, а такъ, съ перваго раза, безъ заказу и покупки, у васъ нѣтъ никакой связи. Пошли вы по деревнѣ,—это вы за бабами, за дѣвками. Говорить съ вами можно, только надѣясь на угощеніе, и только сальности и глупости. Переставая быть заказчикомъ и покупателемъ, баринъ, просто какъ человѣкъ, способенъ только на глупыя желанія и глупые поступки,—словомъ на что нибудь такое, что не придетъ въ голову ни одному крещеному человѣку,—вотъ первое впечатлѣніе, производимое на мужика бариномъ, когда онъ подходитъ къ нему просто, такъ, по человѣчески».

Я убѣжденъ, что, прочитавъ эту тираду, вы сдѣлаете массу возраженій ради смягченія суровой правды ея. Вы мнѣ скажете, конечно, что вы не понимаете, зачѣмъ тутъ рѣчь идетъ о мужи-

кахъ, и причемъ тутъ одни мужики являются отвѣтчиками за всѣхъ и вся, когда вообще во всей нашей жизни, при полномъ отсутствіи всякихъ связующихъ, общихъ интересовъ, сближенія достигаются крайне дуго, а что касается полной искренности, то не больше вы найдете ея и въ отношеніяхъ барина къ барину и даже мужика къ мужику. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не такую же трудность представляетъ для Гл. Успенскаго сближеніе и съ такимъ же интелегентнымъ бариномъ, какъ онъ самъ, если онъ не имѣетъ къ этому барину никакихъ опредѣленныхъ житейскихъ отношеній? Развѣ не точно такъ же нужно явиться къ этому барину въ видѣ покупателя или продавца, быть ему нужнымъ какъ бы то ни было или чѣмъ нибудь его заинтересовать: вкусными ужинами, остроуміемъ, хорошенькою женою, кошелькомъ, во всякое время готовымъ открыться для долговыхъ обязательствъ, и, т. п.,—однимъ словомъ то же самое «хоть полштофъ съ тебя, шатущаго, разгрызть», и много ли въ жизни найдете вы связей, которыя шли бы далѣе этого разгрызеннаго полштофа? Гл. Успенскаго удивляетъ, сто стоитъ ему подойти къ кузницѣ,—и разговаривающіе мужики прекращаютъ разговоръ о своихъ дѣлахъ. Но какъ же онъ не соображаетъ при этомъ, что будь возлѣ кузницы кучка не мужиковъ, а интеллегентныхъ людей, такъ онъ, Гл. Успенскій, не рѣшился бы даже и подойти къ этой кучкѣ, въ полной увѣренности, что это неприлично, что люди, говорящіе тамъ о своихъ дѣлахъ, не только замолчатъ, когда онъ, человѣкъ совершенно для нихъ посторонній, подойдетъ къ нимъ, но и вылупятъ на него глаза въ полномъ изумленіи.

Подобнаго рода возраженія я уже слышалъ, и потому тѣмъ болѣе я увѣренъ, что вы мнѣ ихъ не замедлите высказать и тѣмъ успокоите свою совѣсть, вполнѣ убѣжденные, что и со мною, и съ Гл. Успенскимъ вамъ сойтись такъ же легко и такъ же трудно, какъ и съ любымъ Архипомъ или Сидоромъ. А я вамъ скажу, что мало ли чего не бываетъ въ жизни. Жизнь можетъ подстроить намъ такой счастливый кунштюкъ, что съ Архипомъ или Сидоромъ вы вдругъ сойдетесь ближе, чѣмъ со мною и съ Гл. Успенскимъ, но тѣмъ не менѣе признайтесь, что вышеприведенная тирада щемитъ ваше сердце, признайтесь, что она хоть на минуту отравила вамъ жизнь, что наконецъ этими тайными муками

вы наказуетесь за грѣхи многихъ поколѣній, можетъ быть и за свои собственные... Сообразите при этомъ и то, сколько таится до сихъ поръ дикости и ненормальности хотя бы въ употребленіи вами для сближенія съ мужикомъ такихъ пріемовъ, которыхъ вы ни за что не допустите для сближенія съ интеллегентнымъ человѣкомъ (напримѣръ, вышеприведенный подходъ въ качествѣ посторонняго человѣка къ кучкѣ людей, толкующихъ о своихъ дѣлахъ, или, послѣ сидѣнья у мужика за имениннымъ пирогомъ въ переднемъ углу, пріемъ этого мужика въ кухнѣ и недопущеніе его въ парадные апартаменты и пр.), ну, и послѣ этого раздумайте, правъ или неправъ Гл. Успенскій, а въ концѣ концовъ согласитесь, что тирада его произвела на васъ свое благотворное дѣйствіе, какъ ни безотрадна она своею правдою, лишенною всякихъ смягченій: она разбудила вашу совѣсть.

Если вы дѣйствительно настолько честный человѣкъ, что тирада Гл. Успенскаго и въ самомъ дѣлѣ разбудила вашу совѣсть, то съ этою разбуженною совѣстью прочтите нижеслѣдующія выдержки изъ конца разсказа Гл. Успенскаго. Это будетъ въ свою очередь очень полезно для васъ, особено послѣ всѣхъ вашихъ патріотическихъ ликованій:

«Я три мѣсяца, говоритъ Гл. Успенскій:—жилъ въ деревнѣ, въ то время какъ наши войска переходили Дунай, дрались, тонули, покоряли и покорялись; три мѣсяца читающая городская Россія уже жила тревожными интересами войны, и въ теченіе такихъ-то трехъ мѣсяцевъ я ни отъ кого не слыхалъ здѣсь ни единаго слова о томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ... «Собрать рекрутовъ призыва.... года.» «Произвести пріемку лошадей, выбраныхъ тогда-то»,—вотъ что доходитъ въ деревню отъ самыхъ крупныхъ историческихъ событій, и кромѣ этихъ, вовсе ничего не говорящихъ о значеніи переживаемой минуты,—ничего, ровно ничего, и ни откуда не приходитъ въ деревню такого, что бы показало значеніе этого призыва или покупки казною лошадей въ общей картинѣ совершающихся событій. Человѣкъ, который черезъ недѣлю, черезъ двѣ, будетъ защищать Шипку, или наступать на Карсъ, или освобождать Болгарію, уходя изъ села, жалѣетъ только о томъ, что сапожные инструменты пришлось отдать за безцѣнокъ и что не скоро опять заведешь эти инструменты; но ни о Шипкѣ, ни о Болгаріи, ни

о причинѣ, требующей его на защиту кого-то, ничего этого неизвѣстно, никто объ этомъ не скажетъ крестьянину ни слова, а главное—онъ самъ *отвыкъ* распрашивать объ этомъ и узнавать... «Драться съ туркомъ»—это онъ знаетъ, но зачѣмъ, изъ-за чего и гдѣ все это дѣлается—никому неизвѣстно...

«Я бы сказалъ большую неправду, если бы сталъ утверждать, что въ этомъ «неразсужденіи» народа скрывается, положимъ въ данномъ случаѣ, охота идти въ бой и дѣтски-чистое желаніе постоять за правое дѣло. Нѣтъ этого ничего. Никто не знаетъ, зачѣмъ, въ чемъ дѣло, но всякій безпрекословно идетъ, потому что привыкъ идти, когда ему скажутъ «иди!», привыкъ платить, когда скажутъ «плати», и совершенно отвыкъ отъ «разговоровъ» на тему—куда, зачѣмъ и почему, такъ какъ идея большаго или маленькаго явленія, совершающагося въ общей жизни государства, никогда не доходила до деревни: сюда являются только какія-то дребезги, если можно такъ выразиться, этой идеи, не дающія о ней никакого понятія. Не только объ общемъ ходѣ политической жизни, въ данную минуту переживаемой всей страной, деревня не имѣетъ никакого понятія,—она не имѣетъ понятія даже о причинахъ, вліяющихъ прямо на ея экономическое положеніе, на ея карманъ...

«Какимъ-то тяжелымъ клубкомъ свернулись всѣ разнообразныя отрасли общественной службы въ сознаніи крестьянина, и, не распутывая этого клубка (такъ какъ распутать его почти невозможно), крестьянинъ опредѣлилъ его однимъ словомъ—«деньги». Вся куча повелительныхъ наклоненій извергается въ деревенскую глушь въ видѣ простаго требованія—денегъ и вообще какихъ нибудь матеріальныхъ расходовъ, но денегъ, денегъ—денегъ главнымъ образомъ... Всякая самая благороднѣйшая мысль, направленная на общую пользу, откуда бы она ни шла, дойдя до деревни, превращается въ простое требованіе денегъ. Проекты «оздоровленія», «образованія», «поднятія народной нравственности», «оживленія народа» и т. д. и т. д.—словомъ всякая благая мысль, какъ только начала приводиться въ исполненіе, непремѣнно начинаетъ съ Слѣпаго-Литвина и съ взносовъ. Въ Петербургѣ, въ губернскомъ городѣ, въ уѣздномъ идутъ разговоры, проекты, доказательства, пренія; слышны разныя безспорно умныя слова: «развитіе», «улучшеніе» и т. д., а

въ Слѣпомъ-Литвинѣ во имя этихъ прекрасныхъ проектовъ и словъ происходитъ раскладка. Изъ такихъ словъ какъ «образованіе», «развитіе», улучшеніе» въ Слѣпомъ-Литвинѣ невѣдомо какимъ образомъ образуются совершенно другія слова: «по гривенинку», по двугривеннику», «по полтинѣ»... И всѣ эти гривенники и полтинники вносятся «безъ всякихъ» разговоровъ, а если они и не вносятся въ должномъ количествѣ, то все таки каждый старается заплатить, чувствуя, что за нимъ есть недоимка...

«Въ общихъ чертахъ, говоритъ Гл. Успенскій въ заключеніи:—положеніе крестьянина не особенно привлекательно. Безпрекословный исполнитель повелительныхъ наклоненій, исходящихъ изъ волости, онъ, не понимая ни цѣли, ни причины, знаетъ одно, что ему нужны деньги и деньги. «Крестьянство», т. е. земледѣльческій трудъ, денегъ этихъ не даетъ, и необходимо добывать ихъ на сторонѣ. Случайность заработка, дающая одному больше, другому меньше, третьему совсѣмъ ничего,—разъединяетъ міръ, общину. Жаль, тысячу разъ жаль разшатываемаго требованіемъ денегъ и денегъ русскаго крестьянства.»

Все это въ высшей степени поучительно не только для различныхъ нашихъ изступленныхъ патріотовъ и риторовъ въ родѣ гг. Ор. Миллера или Ѳ. Достоевскаго, съ ихъ разглалольствованіями о катящихся на Востокъ волнахъ народнаго энтузіазма, но не мѣшаетъ зарубить на носу и нашимъ философамъ, чающимъ отъ деревни «новаго слова». Пока они, отворачиваясь отъ европейскихъ очковъ, будутъ сидѣть сложа ручки и ждать, когда и какое «новое слово» провозгласитъ имъ русская деревня, они проглядятъ и прогуляютъ ту основу деревни, въ которой, по ихъ мнѣнію, и таится ожидаемое «новое слово» именно—общину.

1877 г.

II.

Поистинѣ сказать, Россія — фантасмагорическая страна чудесъ, въ которой всѣ несомнѣнные, выработанные строгою наукою политико-экономическіе и соціальные законы разбиваются въ пухъ и прахъ о печальную дѣйствительность,

исполненную чудовищныхъ противорѣчій. Такъ извѣстно, что у насъ въ каждомъ уѣздномъ городѣ можно найти до 3,000 собственниковъ, находящихся въ положеніи несравненно худшемъ чѣмъ западные пролетаріи, потому что имъ нечего ѣсть и нечего дѣлать, а нечего дѣлать не потому, чтобы предложеніе работы превышало спросъ, а потому что не существуетъ ни спроса, ни предложенія, а представляются лишь обывательскіе огороды, да базары для безвозмезднаго пользованія; и такимъ образомъ оказывается, что у насъ существуетъ совершенно особенное, никакими политико-экономами не предусмотрѣнное сословіе мухъ или воробьевъ въ человѣческомъ образѣ.

Вотъ передъ нами и другая не менѣе чудовищная несообразность. Западная наука въ своихъ послѣднихъ выводахъ дошла до убѣжденія, что все спасеніе Европы заключается въ возвращеніи къ общинному землевладѣнію, которое одно только можетъ надежно обезопасить отъ чрезмѣрнаго нарощенія пролетаріата и правильно обезпечить благосостояніе сельскаго населенія. Въ этомъ убѣждаютъ какъ историческое прошлое, свидѣтельствующее о несравненно болѣе обезпеченномъ состояніи земледѣльца при существовавшемъ нѣкогда въ Европѣ общинномъ землевладѣніи, такъ съ другой стороны и лучшее благосостояніе сельскаго люда въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ донынѣ сохранилась община. Наконецъ въ самой Россіи нѣмецкія колоніи, поселившіяся на общинномъ началѣ, представляютъ завидную картину полнаго обезпеченія и процвѣтанія. Но русскій крестьянинъ одинъ только своимъ примѣромъ опровергаетъ, повидимому, всѣ выводы современной науки: оказывается, что въ то время, какъ въ Россіи въ одной только община сохранилась въ огромной массѣ сельскаго населенія, — русскій крестьянинъ не только не обезпеченнѣе западнаго, но, напротивъ того, вы нигдѣ не найдете мужика менѣе обезпеченнаго, культивированнаго и болѣе безпомощнаго, какъ русскій.

Враги общиннаго землевладѣнія конечно не замедлятъ подобный странный фактъ выставить однимъ изъ главныхъ аргументовъ противъ общины. Упустивши изъ виду всѣ настоящія и существенныя причины бѣдности мужика, они конечно прямо ухватятся за общину, и въ ней-то и откроютъ, если не источникъ всякаго зла, то во всякомъ случаѣ от-

сутствіе того цѣлительнаго свойства, какое приписываютъ общинѣ ея приверженцы. Но и друзья общины, чтобы встрѣтить своихъ враговъ во всеоружіи, должны призадуматься надъ этимъ несообразнымъ фактомъ и освѣтить его вполнѣ ясно и всесторонне. Они должны показать намъ, при какихъ условіяхъ община можетъ служить такимъ обезпечивающимъ началомъ, какимъ она предполагается наукою, а при какихъ, напротивъ того, всѣ благодѣтельныя свойства ея являются парализованными; иными словами, что заставляетъ нѣмецкаго колониста дорожить своею общиною, какъ главнымъ оплотомъ своего благоденствія, а русскаго мужика—бѣжать изъ общины въ городъ и даже становиться порою въ бѣдственное положеніе непомнящаго родства бродяги.

Разсказъ Гл. Успенскаго «Изъ деревенскаго дневника» представляетъ собою попытку рѣшить этотъ затруднительный вопросъ. Гл. Успенскій въ 1877 году жилъ въ деревнѣ въ Новгородской губерніи, и тамъ вопросъ этотъ рѣшался гораздо легче, обусловливаясь бѣдностью самаго края, трудными матеріальными обстоятельствами, которыя «побуждаютъ деревенскаго человѣка тѣхъ мѣстъ *уходить* изъ деревни и сосредоточиваютъ все его вниманіе на добываніи денегъ, такъ какъ денегъ требуетъ отъ него семья, денегъ требуетъ начальство, а земля — самый главный источникъ доходовъ — до крайности плоха, и кромѣ того количество ея мало».

Но и тогда, по словамъ Гл. Успенскаго, онъ не могъ не замѣтить, что «бѣдность — еще не все, что стремленіе во что бы то ни стало добиться денегъ и потомъ уйти изъ деревни имѣетъ основаніе кромѣ бѣдности еще и въ томъ нравственномъ одиночествѣ, которое тяготѣетъ надъ каждымъ крестьянскимъ домомъ, надъ каждымъ человѣкомъ, живущимъ въ деревнѣ. Фиктивно соединенные въ общество круговою порукою при исполненіи многочисленныхъ общественныхъ обязанностей, большею частью къ тому же навязываемыхъ извнѣ, они, не какъ общинники и государственные работники, а просто какъ люди, предоставлены каждый самъ сеоѣ, каждый отвѣчай самъ за себя, каждый самъ за себя страдай, справляйся, если можешь, если не можешь —пропадай».

Но вотъ Гл. Успѣнскій попалъ въ другой край, не имѣющій ничего общаго съ новгородскими тундрами, — въ степ-

ную Самарскую губернію, «житницу русской земли, гдѣ пять пудовъ зерна, посѣянные на десятинѣ земли, даютъ сто пудовъ, приходятъ самъ-двадцать, и это почти постоянно, зачастую бываетъ и больше. Помимо удивительной земли, какіе здѣсь роскошные (въ буквальномъ смыслѣ) луга, какой обильный кормъ скоту, не говоря уже просто о красотѣ. Широкая Волга матушка благодѣтельствуетъ мѣстность хотя уже однимъ тѣмъ, что даетъ возможность имѣть рыбу вѣсомъ въ фунтъ за копѣйку серебромъ, да и безъ этого благодѣянія рѣки, протекающія край и впадающія въ Волгу, даютъ столько съѣдобнаго живья, что его, какъ говорится, «ловить не переловить, ѣсть не переѣсть». А сколько всякой птицы, всякой дичи гуляетъ по луговымъ «мокринамъ», по этимъ многочисленнымъ степнымъ озеркамъ, прячущимся въ высокой, душистой изумляющей разнообразіемъ породъ травѣ! «Благодать!» вотъ что можно сказать, глядя на всю эту естественную красоту, на все это природное богатство мѣстности...»

Пользуясь всѣми этими богатствами, деревня, о которой идетъ рѣчь, имѣетъ и денежное подспорье — ссудосберегательное товарищество, въ которомъ членами состоятъ хозяева рѣшительно всѣхъ семидесяти дворовъ деревни; и хотя здѣсь еще и нѣтъ кое-чего, напримѣръ, школы, фельдшера и т. д., но за то съ самаго основанія новыхъ условій крестьянскаго быта, т. е. съ 19-го февраля 1861 года, нѣтъ и не было, а надо думать и не будетъ, *ни одной копѣйки недоимки*. И еще бы: аккуратность въ отбываніи повинностей, вездѣ крайне для крестьянина обременительная, здѣсь исполняется безъ особеннаго труда, такъ какъ однѣ оброчныя статьи: мельница, рѣка, кабакъ и т. д., даютъ сумму, покрывающую всѣ налоги: такъ, напримѣръ, одинъ кабачникъ платитъ обществу 600 руб. сер. за право торговли.

«Чего же еще нужно, говоритъ Гл. Успенскій — для того чтобы человѣкъ, живущій здѣсь, былъ сытымъ, одѣтымъ, обутымъ, и если не богатымъ, то ужь во всякомъ случаѣ не нищимъ! Такъ непремѣнно долженъ думать всякій, кто знаетъ, что общинное дружное хозяйство — не только спасеніе отъ нищеты, а есть единственная общественная форма, могущая обезпечить *всеобщее* благосостояніе. Такъ долженъ думать всякій, кто знаетъ, что лучшей земли нѣтъ въ

свѣтѣ, что изъ такихъ природныхъ богатствъ, въ соединеніи съ общиннымъ дружнымъ владѣніемъ ими, можетъ выходить только добро и что надѣленная ими община можетъ только «улучшать свое благосостояніе».

«И представьте себѣ: среди такой-то благодати не проходитъ дня, чтобы вы не наткнулись на какое нибудь явленіе, сцену, разговоръ и т. д., которые ежеминутно разсѣеваютъ всѣ ваши фантазіи, уничтожаютъ всѣ вычитанныя вами соображенія и взгляды на народную жизнь,—словомъ, становятъ въ полную невозможность постичь, какъ при такихъ-то и такихъ условіяхъ могло произойдти то, что вы видите во очію. Вотъ, рядомъ съ домомъ крестьянина, у котораго накоплено 20,000 р. денегъ, живетъ старуха съ внучками, и у нея нечѣмъ топить, не на чемъ состряпать обѣда, если она не подберетъ гдѣ-нибудь «уворуючи» щепочекъ. не говоря о зимѣ, когда она мерзнетъ отъ холода.

«— Но вѣдь у васъ есть общинные лѣса? съ изумленіемъ восклицаете вы, диллетантъ деревенскихъ порядковъ...

«— Нашей сестрѣ не даютъ оттэдова.

«Или: Подайте Христа ради!

«— Ты здѣшняя?

«— Здѣшняя.

«— Какъ же это такъ пришло на тебя?

«— Да какъ пришло-то! Мы, другъ ты мой, хорошо жили, да мужъ у меня работалъ барскій сарай, да и свалился съ крыши, да вотъ и мается больше полгода!.. Говорятъ, въ городъ надоть везти, да какъ его повезешь-то... Я одна съ ребятами... Землю міръ взялъ...

«— Какъ взялъ? Зачѣмъ?

«— Ктожь за нее души-то платить будетъ? Души сняли, видятъ—силы въ насъ нѣту, ну, и землю взяли.

«— А работника нанять?

«— На что его наймешь-то? Откуда взять?

«— Какъ откуда? У васъ есть своя касса, изъ вашихъ же собственныхъ денегъ, тамъ навѣрное и твоего мужа деньги. У васъ касса есть, общественная!.. Я знаю, тамъ нѣсколько сотъ рублей... Ты можешь заплатить за работу, и у тебя будетъ свой хлѣбъ... Зачѣмъ тебѣ побираться? Проси тамъ денегъ, тамъ деньги ваши, собственныя.

«— Ну, какъ же! Дадутъ «они» «намъ»... Подайте Христа ради, что вашей милости будетъ...

«Наконецъ обратите вниманіе на сторожа, о которомъ говорено въ началѣ (авторъ встрѣтилъ сторожа господскихъ построекъ, который, жалуясь на свою долю, объявилъ, что ему негдѣ взять 15 рублей, чтобы купить лошаденку и тѣмъ поправиться): членъ общины не можетъ найти поручителя въ 15—20 рубляхъ, тогда какъ кромѣ общественныхъ суммъ, находящихся въ распоряженіи сельскаго схода, въ селѣ есть банкъ, которому государственный банкъ дѣлаетъ кредиту на 15,000 рублей. Этотъ членъ общины не видитъ никакой возможности оправиться въ виду работы, которая у него да и у всѣхъ его односельчанъ подъ носомъ, когда всѣмъ видно, что двадцать рублей онъ отработаетъ... Чтожь это за волшебство? Что это за порядки, при которыхъ въ такой благодатной странѣ, при такомъ обиліи природныхъ богатствъ, можно поставить работящаго, здороваго человѣка въ положеніе совершенно безпомощное, довести его до того, что онъ, среди этого Эльдорадо, ходитъ голодный съ голодными дѣтьми и говоритъ:

«— Главная причина, братецъ ты мой,—пищи нѣту у насъ. Вотъ!

«Въ этакой-то роскошной странѣ, при общинномъ-то хозяйствѣ, въ мѣстности съ кассами, банками, въ мѣстности, гдѣ нѣтъ недоимокъ, работящему, обремененному семьей человѣку—нѣтъ пищи!

Причину подобнаго несообразнаго факта Гл. Успенскій видитъ въ полномъ разрозненномъ, изолированномъ состояніи членовъ общины и пассивномъ отношеніи къ общественнымъ интересамъ.

«Примѣровъ, говоритъ онъ:—доказывающихъ полное одиночество крестьянской семьи, полную отчужденность членовъ общества одного отъ другаго—великое множество. Вотъ пріѣзжаютъ люди торговые и начинаютъ, при помощи сельской власти, склонять общество на отдачу въ аренду, положимъ, рыбныхъ статей или права на торговлю виномъ. Общество беретъ тѣмъ меньшую цѣну, чѣмъ болѣе роскошное угощеніе представить, т. е. чѣмъ болѣе выставить вина. На сходкахъ, собираемыхъ по подобнаго рода общественнымъ дѣламъ, обыкновенно бываетъ весь міръ въ полномъ ком-

плектѣ, но это потому, что здѣсь каждый получаетъ свой стаканъ, или два, или пять, смотря по щедрости предпринимателя. Побужденіе, какъ видите, вовсе необщественное, что подтверждается полнымъ невниманіемъ всѣхъ членовъ общества къ тѣмъ деньгамъ, которыя получаются съ пропитыхъ оброчныхъ статей. Тутъ члены знаютъ, что изъ 600 рублей, взятыхъ за кабакъ, никому не придется получить на свою долю, и предоставляютъ ихъ, какъ это почти постоянно бываетъ, на расхищеніе людей, стоящихъ у деревенскаго сундука... Отчего бы на общинный счетъ не отвезти въ больницу того крестьянина, который сломалъ ногу и, не работая, разорялъ семью? Отчего бы на эти деньги не выписать фельдшера, не послать талантливаго мальчика-самоучку въ гимназію, который бы воротился служить тому же обществу положимъ хоть писаремъ? Оттого, что во всѣхъ этихъ затѣяхъ нѣтъ лично для меня, члена общины, прямой грошевой выгоды, о которой всѣ мы только и думаемъ, а о другой выгодѣ намъ неизвѣстно...»

Ниже авторъ приводитъ слѣдующій поразительный случай: сосѣдній помѣщикъ предлагаетъ сельскому обществу купить у него 600 десятинъ земли, изъ которыхъ 100 десятинъ лѣсу (а въ этой мѣстности лѣсъ дорогъ). Чтобы облегчить эту покупку, онъ предложилъ уплачивать не деньгами, а тѣмъ же самымъ лѣсомъ, который находится въ уступаемомъ имѣніи; каждый годъ крестьяне *всѣмъ міромъ* должны вырубать 4 десятины лѣса и по извѣстнымъ существующимъ цѣнамъ доставлять его владѣльцу, при чемъ за возку полагается особая плата. Вся операція должна совершиться въ 25 лѣтъ, причемъ къ концу послѣдняго года крестьяне имѣютъ часть уже 25-лѣтняго лѣса. Въ то же время они со дня составленія мірскаго приговора начинаютъ пользоваться остальными 500 десятинами земли. Все дѣло въ мірскомъ приговорѣ, въ ручательствѣ всей деревни, — и вотъ, уже идетъ второй годъ со дня предложенія, а ручательства этого все нѣтъ. Общество не соглашается, молчитъ, и отличная, нужная, дешевая земля подъ бокомъ у него лежитъ безъ дѣла и безъ пользы, въ то время какъ крестьяне нанимаютъ землю на чистыя деньги, кому сколько понадобится, или у сосѣднихъ помѣщиковъ, или у своего брата.

«Что за причина такого непостижимаго явленія? воскли-

цаетъ авторъ:—Изъ разспросовъ и разговоровъ съ крестьянами, которые касались этого предмета, я могъ убѣдиться только въ томъ, что взаимная рознь членовъ деревенскаго общества достигла почти опасныхъ размѣровъ. Покупая имѣніе всѣмъ обществомъ (объясняли мнѣ нѣкоторые изъ крестьянъ), все-таки необходимо «выбрать» одного человѣка, который бы имѣлъ дѣло съ конторой владѣльца, велъ счетъ подводамъ, привозкѣ дровъ, записывалъ рабочіе дни при рубкѣ и т. д. Необходимъ, словомъ, человѣкъ, которому бы могло довѣрить все общество, и вотъ такого-то человѣка и нѣтъ между семидесятью дворами!.. Всякій думаетъ, что человѣку нельзя не соблюдать только своей собственной выгоды, пользы, и что онъ, особливо поставленный въ нѣсколько иное положеніе чѣмъ другіе покупщики имѣнія, съумѣетъ повернуть дѣло такъ, что только одному ему и будетъ лучше, а всѣмъ другимъ хуже. Кого изъ крестьянъ, знакомыхъ мнѣ, ни называлъ я, всѣ, по мнѣнію разныхъ деревенскихъ людей, оказывались ненадежными... «Ничего, человѣкъ, что говорить, а дай-ка ему...» Вотъ какъ характеризовали деревенскіе люди другъ друга...»

Все это явленія очень грустныя и очень мрачныя, но напрасно было бы смотрѣть на нихъ, какъ на особенность сельской жизни и тѣмъ менѣе общины. Авторъ имѣетъ здѣсь дѣло съ крупнымъ историческимъ фактомъ, присущимъ всему русскому народу въ цѣломъ его составѣ, т. е. во всѣхъ слояхъ его населенія. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не тѣ же самыя явленія замѣчаемъ мы и въ городахъ, въ столицахъ, и въ самыхъ что ни на есть интеллигентныхъ классахъ: ту же пассивность къ общественнымъ интересамъ, то же взаимное недовѣріе, основанное въ свою очередь на той же фразѣ: «Ничего человѣкъ, а дай-ка ему», оправдываемое тѣмъ эпидемическимъ грабежемъ общественныхъ сундуковъ, въ какомъ города нисколько не уступятъ деревнѣ. Развѣ самъ Гл. Успенскій не чувствуетъ себя въ положеніи еще болѣе изолированномъ и безпомощномъ чѣмъ любой крестьянинъ: если силы измѣнятъ ему и не въ состояніи онъ будетъ работать, кто ему или его семейству, я не скажу: поможетъ, но хоть пожалѣетъ или вспомнитъ о немъ? Къ кому обратится онъ въ нуждѣ? Къ литературному фонду развѣ, который ассигнуетъ ему 25 рублей, «предварительно впрочемъ удостовѣ-

рившись, что проситель пьетъ водку только передъ обѣдомъ и *не предается»* (см. Щедрина «Похороны»); да иной разъ и здѣсь бываетъ не легче найти поручителей, чѣмъ и тому мужику, о которомъ повѣствуетъ Гл. Успенскій.

Какое бы промышленное или филантропическое учрежденіе ни заводилось у насъ, какъ бы ни были задѣты этимъ учрежденіемъ не только общественные интересы, но и личные, исходъ бываетъ одинъ и тотъ же: все сводится обыкновенно къ тому, что два, три человѣка орудуютъ всѣмъ дѣломъ, а большинство пассивно повинуется или же откладываетъ всякое попеченіе, ограничиваясь взносомъ членскихъ денегъ или полученіемъ акціонерныхъ дивидендовъ. О какихъ бы ни шло дѣло такъ называемыхъ общихъ собраніяхъ, земскихъ или акціонерныхъ, ученыхъ или литературныхъ,— неизмѣнная судьба всѣхъ этихъ собраній ограничиваться самымъ незначительнымъ меньшинствомъ всѣхъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ, едва достаточнымъ, чтобы собраніе оказалось состоявшимся. Если же въ интеллигентныхъ классахъ мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ полную разрозненность, изолированность и отсутствіе общихъ интересовъ, то чего же можемъ требовать мы отъ темнаго люда, который слыхомъ не слыхалъ о тѣхъ гуманныхъ идеяхъ взаимной помощи и солидарности, которыя мы, образованные люди, ежедневно почерпаемъ изъ области науки и жизни, но только никакъ не можемъ примѣнить ихъ къ дѣлу. Вообще нужно сказать, великое наше заблужденіе, что мы слишкомъ ужь глубокою пропастью раздѣляемъ народъ отъ интеллигентныхъ классовъ, и одни изъ насъ при этомъ приходятъ въ телячій восторгъ при одномъ словѣ *община*, воображая, что сельская община осуществляетъ въ себѣ все и вся и есть нѣчто въ родѣ фаланстера, въ которомъ народъ только и дѣлаетъ, что братски лобызается другъ съ другомъ, только и заботится, какъ бы каждому изъ общинниковъ жилось въ полную волюшку; другіе же, не находя въ общинѣ желаннаго фаланстера, впадаютъ въ горькое разочарованіе и начинаютъ видѣть все спасеніе въ интеллигентныхъ людяхъ, которые должны явиться въ среду общины съ мѣсяцемъ во лбу, для того чтобы вразумлять, внушать, приводить въ порядокъ и благодѣтельствовать. Въ сущности же пропасть вовсе не такъ глубока, какъ это кажется. Какъ бы ни были велики осо-

бенности жизни интеллигентныхъ слоевъ и народа, но вмѣстѣ съ тѣмъ существуютъ и такія общія условія, которыя вліяютъ одинаково на всю массу народа безъ различія сословій и состояній, производя общіе недуги и требуя вмѣстѣ съ тѣмъ общаго врачеванія. Къ такимъ общимъ недугамъ принадлежитъ между прочимъ и тотъ, о которомъ идетъ рѣчь. Конечно трудно ожидать, чтобы община сама по себѣ однимъ фактомъ своего существованія въ томъ примитивномъ, архаическомъ видѣ, въ какомъ мы ее видимъ, могла обезпечивать всѣхъ и каждаго, при той пассивности, какую мы усматриваемъ въ членахъ ея; но и интеллигентный человѣкъ, какой бы мѣсяцъ ни сіялъ у него во лбу, немного тутъ подѣлаетъ, если онъ будетъ проживать въ средѣ общины, зараженный тѣмъ же недугомъ, какимъ страдаютъ всѣ русскіе люди безъ изъятія. А онъ не можетъ не быть зараженнымъ этимъ недугомъ, потому что зараженіе это является непреложнымъ фатумомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ единственнымъ условіемъ, при которомъ возможно существованіе не только въ нѣдрахъ общины, но и гдѣ бы то ни было на русской землѣ. Куда бы кто ни кинулся, за что бы кто ни взялся, жизнь ежедневно внушаетъ человѣку: живи самъ по себѣ, тише воды, ниже травы, ни на кого не надѣясь кромѣ себя, ни во что не вмѣшиваясь и ни о чемъ не заботясь, кромѣ своего маленькаго личнаго дѣла, или же... Это зло, наросшее вѣками, и требуетъ оно врачеванія всеобщаго, радикальнаго, которое одинаково подѣйствовало бы на всѣхъ и каждаго. Это очарованный, сказочный сонъ, въ которомъ люди замерли въ тѣхъ позахъ, въ какихъ онъ засталъ ихъ, и необходимъ особенный волшебный жезлъ для всеобщаго пробужденія. Передъ сильными болѣзненными кризисами бываетъ особенное нервное состояніе полной апатіи, когда человѣкъ ни за что не можетъ приняться, ничто его не радуетъ, не интересуетъ въ какое бы завидное положеніе вы его ни ставили, какими бы ни окружали увеселеніями и развлеченіями или какими бы ужасами ни пугали,—онъ ко всему дѣлается равнодушенъ, пока не нагрянетъ какой нибудь тифъ, который или возродитъ его къ новой жизни, или же уложитъ въ гробъ.

1878 г.

ГЛѢБЪ УСПЕНСКІЙ

КАКЪ

разрушитель иллюзій.

ГЛѢБЪ УСПЕНСКІЙ

КАКЪ

РАЗРУШИТЕЛЬ ИЛЛЮЗІЙ.

Исчезнулъ онъ —
Веселый сонъ!
И одинокой
Во тьмѣ глубокой
Я пробужденъ!

Пушкинъ.

I.

Въ послѣдніе четыреста лѣтъ европейской жизни, мы видимъ два колоссальныя умственныя движенія, весьма богатыя своими результатами не только въ смыслѣ развитія просвѣщенія въ привиллегированныхъ, культурныхъ классахъ европейскихъ обществъ, но и улучшенія быта народныхъ массъ. Таковы—эпохи renaissance и энциклопедистовъ. И та, и другая имѣютъ совершенно различныя точки исхода и результаты, совершаются въ совершенно различныхъ областяхъ жизни, именно одна въ духовно-религіозной сферѣ, другая въ свѣтско-политической; тѣмъ не менѣе обѣ эти эпохи имѣютъ чрезвычайно много общихъ чертъ въ характерѣ и ходѣ движенія. Вотъ на эти-то черты мы и обратимъ наше вниманіе, потому что они служатъ характеристическими признаками всякаго стихійнаго и массоваго умственнаго движенія; эти самыя черты мы найдемъ и въ нашей современной жизни за послѣдніе 20 лѣтъ.

Первый существенный признакъ обоихъ движеній заключается въ томъ, что оба они начались сверху, въ высшихъ

правящихъ и культурныхъ классахъ, которые въ обоихъ случаяхъ представляли изъ себя одну и туже картину одряхлѣнія, отсутствія всякихъ высшихъ общественныхъ и нравственныхъ идеаловъ и цѣлей, празднаго тунеядства при громадномъ скопленіи богатствъ и крайняго разложенія нравовъ, напоминавшаго времена паденія римской имперіи. И вдругъ эта праздная, извращенная, растлѣнная до мозга костей среда, сосущая соки изъ всѣхъ классовъ общества, внезапно озарилась яркими лучами новыхъ идей, раскрывавшими всю ея мерзость запустѣнія. Откуда же являлись эти лучи? Не въ этой же средѣ могли они возникнуть и, съ другой стороны, не изъ задавленныхъ, обобранныхъ и одичалыхъ народныхъ массъ, едва влачившихъ свое существованіе. А дѣло заключалось въ томъ, что въ обоихъ случаяхъ подъ высшимъ культурнымъ слоемъ изъ-подъ самой земли струился совершенно особеннаго рода источникъ живой воды въ видѣ умственнаго движенія вѣка, развитія наукъ, искусствъ и всякаго рода идеаловъ религіозныхъ, общественныхъ и нравственныхъ. Источникъ этотъ находился порою въ полномъ пренебреженіи, забрасывался всякимъ мусоромъ и зарывался, повидимому, совсѣмъ подъ землю. Но въ самыя мрачныя эпохи всеобщаго одичанія и полнаго равнодушія къ умственнымъ и духовнымъ интересамъ, онъ не изсякалъ и продолжалъ журчать въ тиши хоть по капелькѣ. Вы спросите, къ какому слою общества принадлежала эта струйка? Въ томъ-то и дѣло, что рѣшительно ни къ какому, или лучше сказать, это былъ свой собственный слой, но отнюдь не такой традиціонный, какъ всѣ прочія сословія. Сюда попадалъ и членъ знатнаго рода, и дворянинъ средней руки, и монахъ, и купеческій первенецъ, и сынъ какого-нибудь ремесленника, а иногда и земледѣльца. Но главная особенность этого ручья заключалась въ томъ, что если человѣкъ не ограничивался тѣмъ, что мочилъ въ него только пальчики, а погружался въ него съ головою, онъ сейчасъ-же былъ неудержимо увлекаемъ силою теченія, — и тогда онъ переставалъ уже быть дворяниномъ, монахомъ, купцомъ и пр., а дѣлался лишь членомъ этого особеннаго слоя. То есть, если хотите, по метрикѣ онъ продолжалъ числиться приписаннымъ къ тому сословію, изъ котораго вышелъ, но никто объ этомъ не думалъ, это совсѣмъ забыва-

лось, помнили только, что онъ былъ ученый, химикъ или медикъ, профессоръ, драматургъ, скульпторъ, композиторъ и пр. Обратите вниманіе, что въ біографіяхъ большинства подобныхъ людей мы встрѣчаемъ такую особенность, что родители, видя въ своемъ сынѣ наклонность къ той или другой умственной профессіи, возставали обыкновенно противъ этой наклонности, старались всячески подавить ее, а если это не удавалось, они проклинали своего сына, лишали его наслѣдства, смотрѣли на него, какъ отщепенца и погибшаго человѣка. И это было естественно: дѣйствительно, человѣкъ, погрузившійся въ источникъ, о которомъ мы говоримъ, дѣлался отщепенцемъ отъ своего сословія. Въ качествѣ дворянина онъ былъ обязанъ воевать, блистать и добиваться высшихъ почестей для поддержанія чести своего рода; какъ купецъ, онъ долженъ былъ торговать и увеличивать отцовскіе капиталы; какъ монахъ, онъ всего себя долженъ былъ отдать на служеніе куріи; будучи сыномъ ремесленника, онъ принадлежалъ къ извѣстному цеху и наслѣдовалъ ремесло отца. Но разъ онъ погружался въ источникъ живой воды, онъ не хотѣлъ ни воевать, ни торговать, ни дѣлать часовъ, онъ весь отдавался наукѣ или искуству, а порою жертвовалъ какой-нибудь идеѣ всѣми интересами того сословія, изъ котораго выходилъ.

Вотъ этотъ-то совершенно особенный, отдѣльный, междусословный слой людей, исключительно работающихъ мозгомъ, и составляетъ то, что мы можемъ назвать въ истинномъ и точномъ смыслѣ слова интеллигенціей страны.

Я уже говорилъ выше, что этотъ интеллигентный слой доходитъ порою до едва пробивающагося среди всякаго мусора по капелькѣ ручейка, но за то порою онъ вдругъ превращается въ необъятное море, затопляющее собою цѣлыя страны, и мчится бурными и бѣшеными волнами, увлекая все встрѣчаемое на пути въ свои пѣнящіяся пучины. Такъ это и было въ эпохи тѣхъ двухъ умственныхъ движеній, о которыхъ мы говоримъ. Тотъ свѣтъ, который внезапно озарилъ мерзость всеобщаго общественнаго запустѣнія, просіялъ изъ интеллигентнаго слоя: въ первомъ случаѣ въ видѣ возрожденія классической образованности, во второмъ — въ видѣ философскаго движенія 18-го вѣка. Мы не станемъ распространяться о томъ, какимъ путемъ и вслѣдствіе ка-

кихъ обстоятельствъ въ нѣдрахъ интеллигентнаго слоя возникло то и другое движеніе; это завело бы насъ очень далеко, да и не въ этомъ наше дѣло. Для насъ важно то, что въ обоихъ случаяхъ тотъ могучій энтузіазмъ, который скоплялся въ нѣдрахъ интеллигентнаго слоя, первымъ дѣломъ увлекалъ за собою тѣ самые разложившіеся культурные слои, которые грозили смертью всему европейскому міру. Конечно, это происходило потому, что вслѣдствіе безсодержательной пустоты жизни этихъ слоевъ и крайней нервной тряпичности и дряблости, они представляли собою самый удобоподвижной матеріалъ для увлеченія куда угодно. По крайней мѣрѣ, въ обоихъ движеніяхъ мы видимъ одно и тоже явленіе: въ эпоху renaissanse наиболѣе ревностными поборниками классицизма были папы, кардиналы, прелаты, аббаты; въ эпоху 18-го вѣка первыми поклонниками энциклопедистовъ были придворные версальскаго двора и вообще парижская знать.—Въ обоихъ случаяхъ люди умственныхъ профессій, до того времени находившіеся въ крайнемъ пренебреженіи, входили вдругъ въ моду, ихъ начинали сажать всюду на первое мѣсто, знакомства съ ними добивались, какъ высочайшей чести; деньги сыпались рѣкою на поощреніе наукъ и искуствъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ среда интеллигентнаго слоя начинала быстро расширяться. Это уже были теперь не одни междусословные отщепенцы, а, можно сказать, культурное общество всею своею массою вливалось въ берега интеллигентнаго источника, и послѣдній наводнялъ собою всю Европу. Каждый плюгавенькій аббатикъ въ XV вѣкѣ, каждый истасканный петиметрикъ въ XVIII в., мнили себя новыми людьми, поощряли, покровительствовали, ораторствовали, философствовали, кощунствовали и мечтали о близкомъ наступленіи золотаго вѣка. Правда, это всеобщее наводненіе очень вредило чистотѣ струй интеллигентнаго источника; очень понятно, что онъ увлекалъ за собою всякую грязь, и весь уносимый имъ навозъ мнилъ себя передовою интеллигенціею, но это не мѣшало среди мутнаго и пѣнящагося потока оставаться прежнему фарватеру, наполняемому все тѣми-же чистыми и прозрачными струями, изъ которыхъ всякій могъ пить живительную влагу безъ малѣйшаго вреда для здоровья.

Къ тому же увлеченіе новыми идеями не обходилось дешево разложившимся слоямъ общества: они не только никого не обманывали своею мнимою интеллигентностью, но напротивъ того сразу обнаруживали все вопіющее противорѣчіе склада своей жизни съ новыми идеями и всю свою несостоятельность примѣниться къ новымъ требованіямъ. Такъ, напримѣръ, никого не поражало, когда профессора разныхъ итальянскихъ университетовъ, художники или поэты увлекались произведеніями древнихъ классиковъ и въ діалогахъ Платона искали разрѣшенія всѣхъ своихъ философскихъ вопросовъ; но когда папы, прелаты и вообще все католическое духовенство ударилось въ классицизмъ, это произвело впечатлѣніе скандала. Когда въ устахъ священнослужителей имена древнихъ боговъ начали преобладать надъ именами христіанскихъ святыхъ, когда нѣкоторые изъ нихъ открыто заявляли, что для нихъ авторитеты Цицерона или Аристотеля гораздо важнѣе, чѣмъ авторитеты не только отцовъ церкви, но и самаго Евангелія, когда на святѣйшемъ престолѣ появились папы, тщеславившіеся атеизмомъ, въ это время, естественно, современникамъ могло казаться, что не только католичество, но и самое христіанство близко къ концу, и что происходитъ возвращеніе къ древнему язычеству.

Совершенно въ такой же степени были нелѣпы всѣ эти изношенные и раздушенные маркизы и герцоги XVIII вѣка, когда они, зачитываясь энциклопедистовъ и Ж. Ж. Руссо, ораторствовали о свободѣ, равенствѣ и братствѣ, мечтали объ идиллической сельской жизни подъ соломенной крышей на лонѣ природы и среди всего своего безумнаго мотовства, кутежей и оргій проливали въ своихъ раззолоченныхъ чертогахъ сентиментальныя слвзы о несчастномъ голодающемъ народѣ. Гг. Суворину, Вагнеру и кн. Демидову Сенъ-Донато представляется, можетъ быть, что они открыли и нивѣсть какую Америку—въ видѣ сердобольнаго плача о несчастныхъ обитателяхъ дома Вяземскаго и воззваній къ пожертвованіямъ для облегченія ихъ участи. Но, между тѣмъ, куда какъ превосходили ихъ въ этомъ отношеніи развратные парижскіе селадоны XVIII вѣка. У г. Суворина оказывается такъ мало воображенія, что онъ, проживая въ Петербургѣ не одинъ уже десятокъ лѣтъ и отлично зная, что на Сѣнной есть домъ Вяземскаго и что такое этотъ домъ

Вяземскаго (да и одинъ ли, полно, у насъ такой домъ въ Петербургѣ!), до сихъ поръ не могъ себѣ представить, какъ живутъ обитатели этого дома, ни на минуту не задумывался объ этомъ предметѣ и впредь, конечно, не позаботился бы остановиться на подобныхъ размышленіяхъ, если бы случайно не подвернулась статистика городскаго населенія, и ему не пришлось бы во-очію увидѣть, что творится въ домѣ Вяземскаго; тутъ только онъ ужаснулся и расплакался. А въ Парижѣ, въ XVIII столѣтія, не одни газетные публицисты случайно, а маркизы, герцоги, придворныя дамы самостоятельно и нарочно лазили по чердакамъ, подваламъ и всякимъ вертепамъ нищеты и проливали тамъ не такія еще горькія слезы. Князь Демидовъ Сенъ-Донато, пожертвовавши 5000 рублей, обѣщалъ ежегодно жертвовать такую же сумму, и редакція «Новаго Времени» тотчасъ же капитализировала это обѣщаніе и оцѣнила его во 100,000. Во Франціи же въ концѣ прошлаго столѣтія дѣло ограничивалось не одними капитализаціями обѣщаній, а на провинціальныхъ собраніяхъ и въ парижскихъ салонахъ собирались дѣйствительные капиталы въ сотни тысячъ и милліоны, чтобы хоть сколько нибудь облегчить участь той страшной нищеты, до какой въ то время дошли низшіе классы страны. И при всемъ томъ, не только потомкамъ, но и современникамъ этихъ маркизовъ и герцоговъ во всѣхъ ихъ сентиментальныхъ возгласахъ и благотворительной щедрости чувствовалась бездна лицемѣрія и лжи.

Далѣе затѣмъ мы видимъ, что оба разсматриваемыя нами движенія вдругъ словно переломляются. Первымъ дѣломъ, высшіе культурные классы быстро охладѣваютъ отъ того увлеченія, которому они первые поддались, и сторонятся отъ движенія, но за то оно все болѣе и болѣе развивается въ среднихъ классахъ и, наконецъ, въ народѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно совершенно измѣняетъ свой характеръ. Въ первый періодъ, въ обоихъ случахъ оно имѣло обще-философскій, абстрактный характеръ. Дѣло шло о перерѣшеніи всѣхъ вопросовъ жизни и религіозныхъ, и нравственныхъ, и политическихъ, и художественныхъ, и культурныхъ; все перевертывалось наизнанку съ цѣлію не оставить на прежнемъ мѣстѣ ни одного камушка въ общественномъ строѣ; но все это производилось a priori, и дѣло ограничивалось одними

разсужденіями, или же предпринимались повидимому широкія и радикальныя реформы, но сводились къ нулю, и все шло по старому. Такъ, въ 15-мъ вѣкѣ передъ реформаціею сколько и говорилось, и писалось о необходимости перестроить церковь на совершенно новыхъ основаніяхъ, объ отрѣшеніи отъ всѣхъ прежнихъ злоупотребленій и заблужденій; издавались съ этою цѣлью буллы за буллами, собирались соборы. Но все оставалось по старому, и тѣ самые просвѣщенные папы, въ родѣ Льва X, которые зачитывались Цицеронами и Демосфенами и украшали свой Ватиканъ произведеніями классической древности, оставались все тѣми же вавилонскими блудницами, стягивавшими въ свой всемогущій Римъ лучшіе соки со всей Европы. Также точно и всѣ реформы 18-го вѣка во Франціи, несмотря на широкія философскія идеи, на которыхъ они основывались, и при всемъ искреннемъ желаніи спасти разлагающееся общество, ни на іоту не подвигали дѣла: оставались все тѣже разстроенные финансы, тотъ же самовластный бюрократизмъ, тѣже феодальные поборы безъ конца. Во второмъ періодѣ движенія мы видимъ совсѣмъ иной порядокъ вещей: правда, золотой вѣкъ литературы и философіи кончается. Эразмы и Рейхлины, Вольтеры и Руссо сходятъ одинъ за другимъ со сцены. Въ литературѣ и мірѣ искусствъ наблюдается замѣтный упадокъ. Прежній широкій полетъ мысли значительно съуживается. Но за то мысль изъ метафизическихъ высотъ спускается на землю, на реальную почву насущныхъ вопросовъ жизни.

Вмѣстѣ съ этимъ переходомъ умственнаго движенія на практическую почву, тѣ культурные классы, которые прежде стояли во главѣ движенія, привѣтствовали его и поощряли, теперь напротивъ того становятся къ нему въ самыя враждебныя отношенія. И это очень понятно: дѣло теперь заключается не въ какихъ-либо отвлеченныхъ умствованіяхъ, а приходится платиться кое-чѣмъ реальнымъ; такъ въ XV-мъ вѣкѣ папы видѣли, какъ ускользало изъ ихъ рукъ всемірное владычество надъ народами и королями; такъ французскому дворянству XVIII вѣка предстояло разстаться съ феодальными привиллегіями. Тогда приверженцы старины и statu-quo начинаютъ приписывать опасность подобныхъ жертвъ не какимъ-либо реальнымъ причинамъ, политическимъ и эко-

номическимъ, а исключительно тому умственному движенію, которое яко-бы смутило умы вредными теоріями. Исключительными виновниками движенія являются тѣ самые философы, публицисты и поэты, которымъ такъ недавно еще чуть что не воздвигали алтари. Оказывается, что они по совершенно произвольному злоумышленію разорвали всѣ связи съ спасительными традиціями и заварили всю кашу. И вотъ борьба выходитъ изъ своей спеціальной сферы,—религіозной въ первомъ случаѣ, политической во второмъ; она дѣлается чисто культурною борьбою цивилизаціи съ варварствомъ, просвѣщенія съ невѣжествомъ. Такъ, мы видимъ, въ XVI и XVII вѣкахъ инквизиція жгла на своихъ кострахъ не однихъ еретиковъ и всякаго рода церковныхъ отщепенцевъ, но и ученыхъ, философовъ, вообще всѣхъ интеллигентныхъ людей, дерзавшихъ мыслить свободно и самостоятельно, не сообразуясь съ католическими традиціями, въ которыхъ снова начали полагать все спасеніе. Точно также и Вандея, — если бы восторжествовала, она конечно не ограничилась бы одними своими политическими врагами, а набросилась бы на всю интеллигенцію страны, увлеченную умственнымъ движеніемъ вѣка. Объ этомъ мы можемъ судить по ужасамъ бѣлаго террора въ эпоху реставраціи и по тенденціямъ такихъ реакціонеровъ-изувѣровъ, какъ Де-Местръ или Меттернихъ, которые возставали не противъ однихъ только политическихъ враговъ, а вообще противъ свободнаго и самостоятельнаго движенія идей въ интеллигентныхъ сферахъ, и въ своихъ крестовыхъ походахъ противъ интеллегенціи они точно также опирались на здоровые инстинкты народныхъ массъ, которымъ яко-бы врождены ихъ излюбленные традиціонные принципы, какъ нѣкогда и инквизиція въ своихъ гоненіяхъ, воздвигаемыхъ противъ Галилеевъ или Бруно, льстила себя убѣжденіемъ, что она дѣйствуетъ за одно съ народомъ, который яко-бы по самому своему существу является строгимъ приверженцемъ католической ортодоксіи и ненавидитъ всякія еретическія умствованія.

Если мы теперь обратимся къ нашему отечеству, то и у насъ вы найдете такое умственное же движеніе, совершающееся по тѣмъ же самымъ законамъ, какъ и тѣ два колоссальныя европейскія движенія, которыя мы только что разсмотрѣли. Толчкомъ къ нашему движенію послужило все то-

же развитіе философскихъ и гуманныхъ идей XVIII-го вѣка, которое не замедлило оказать свое вліяніе и на культурные слои нашего отечества. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что до императрицы Екатерины въ обществѣ нашемъ было полное отсутствіе всякой умственной жизни, не замѣчалось ни малѣйшей самостоятельной мысли или какой-бы то ни было самодѣятельности. Вся интеллигенція сосредоточивалась въ правительствѣ до такой степени, что интеллигенція и правительство совершенно отождествлялись. Если являлся въ то время человѣкъ, выдѣлявшійся изъ темной полуграмотной массы и увлекался какими-нибудь высшими умственными интересами (Ломоносовъ, Тредьяковскій), онъ сейчасъ-же вступалъ въ ряды правительства, дѣлался чиновникомъ. Совершенно не то мы видимъ въ концѣ XVIII вѣка. Къ этому времени и у насъ является самостоятельный интеллигентный слой людей, выдѣлившихся изъ общественной, инертной массы и посвятившихъ всю свою жизнь служенію чисто умственнымъ и нравственнымъ интересамъ. Правда, весь этотъ интеллигентный слой принадлежалъ къ дворянскому сословію; но ни Новиковъ, Радищевъ или Фонвизинъ, ни литературные кружки 20-хъ и 30-хъ годовъ, ни такъ называемые люди 40-хъ годовъ,—не имѣли ничего общаго съ тѣмъ сословіемъ, къ которому они принадлежали. Напротивъ того, мы видимъ, по своимъ стремленіямъ, всѣмъ тѣмъ идеямъ, которыя они проповѣдывали, и цѣлямъ, къ которымъ стремились, они шли совершенно въ разрѣзъ съ узко-дворянскими принципами и интересами. Въ той общественной средѣ, въ которой они вращались, они постоянно играли роль отщепенцевъ, людей лишнихъ и безпокойныхъ. Извѣстно, чѣмъ кончилась дѣятельность Новикова. Фамусовъ говорилъ про Чацкаго, что такихъ людей не слѣдуетъ и на выстрѣлъ подпускать къ столицамъ. Пушкинъ и Лермонтовъ всю жизнь влачили въ изгнаніи и умерли преждевременно насильственною смертью, которой они искали, разочарованные, оскорбленные, ожесточенные окружающею ихъ пошлостью. Рудины и Бельтовы бѣжали изъ отечества въ надеждѣ на чужбинѣ найти дѣло, котораго тщетно искали они на родинѣ...

Наконецъ, въ 60-е годы мы видимъ, что движеніе, которое до того времени струилось въ тѣсныхъ скалистыхъ берегахъ, едва пробиваясь среди мусора и навоза нашей

жизни, вдругъ овладѣло цѣлыми массами людей изъ всѣхъ классовъ общества, а главное дѣло изъ дворянскихъ слоевъ спустилось въ средніе и мѣщанскіе классы. И у насъ мы видимъ тоже философское броженіе, тоже стремленіе перерѣшить всѣ вопросы жизни, и религіозные, и нравственные, и литературные, и общественные; и точно также подобное перерѣшеніе вращалось болѣе въ отвлеченныхъ умозрительныхъ сферахъ, а на практикѣ хотя предпринимался рядъ широкихъ реформъ, но жизнь продолжала покоиться все на тѣхъ же старыхъ рутинныхъ основаніяхъ.

Конецъ 60-хъ и 70-е годы представляются у насъ началомъ того перелома движенія, о которомъ была рѣчь выше. И у насъ мы видимъ, что тѣ культурные слои, которые въ 60-е годы увлекались движеніемъ, не только охладѣваютъ къ нему, но и становятся такъ или иначе во враждебныя отношенія. Въ то же время кончается золотой вѣкъ литературы. Дѣятели 40-хъ и 60-хъ годовъ или совсѣмъ сходятъ со сцены, или доживаютъ свои годы, успѣвши совершить всю свою кипучую дѣятельность и ограничиваются теперь повтореніемъ стараго; но это старое никого не увлекаетъ такъ, какъ прежде, не удовлетворяетъ, не имѣетъ и тѣни прежняго обаянія. По своему содержанію движеніе значительно съуживается: вы не видите уже прежнихъ полетовъ мысли, стремившейся перерѣшить всѣ вопросы жизни, не опустивши изъ виду ни одной ея стороны, общественной или индивидуально-нравственной. Теперь все поглощается однимъ вопросомъ—народнымъ, вопросомъ вполнѣ практическимъ; оказывается, что ранѣе разрѣшенія этого роковаго вопроса жизни о всѣхъ прочихъ вопросахъ нечего и думать въ серьезъ: они сами собою рѣшатся, какъ только будетъ покончено съ основнымъ вопросомъ жизни.

Въ то же время прежніе философы, публицисты-теоретики, критики и художники-созерцатели смѣняются практическими дѣятелями. Это мы видимъ даже и на беллетристикѣ. Въ послѣднее время не мало было толковъ о томъ, отчего нынѣ является такъ мало художественныхъ талантовъ изъ молодежи, отчего и тѣ, которые появились въ 60-е годы (Гл. Успенскій, Н. Златовратскій, Н. Наумовъ и пр.) ограничиваются мелкими очерками и разсказами полубеллетристическаго, полупублицистическаго характера, а не создаютъ

ничего такого увѣсистаго, высокохудожественнаго, какое создавалось въ 40-е и 60-е годы. Это вполнѣ объясняется вышеприведенною причиною. Не говоря уже о томъ, что очень многіе талантливые люди, вмѣсто того, чтобы подвизаться на литературномъ поприщѣ, увлекаются практическою дѣятельностью, но и тѣ, которые предпочитаютъ литературную арену, являются на ней все тѣми же борцами. Не тatакое теперь время, чтобы возсѣдать на Олимпѣ и съ облачной высоты созерцать жизнь съ олимпійскимъ безпристрастіемъ. Каждое являющееся нынѣ художественное произведеніе, къ какому бы лагерю оно ни принадлежало, носитъ характеръ борьбы, преслѣдуетъ непосредственныя, практическія цѣли, и это дѣлается вовсе не вслѣдствіе какихъ-нибудь предвзятыхъ эстетическихъ теорій, требующихъ непремѣнно тенденціозной беллетристики. Тенденціозная беллетристика принадлежала къ философскимъ 60-мъ годамъ и отжила вмѣстѣ съ ними. Тенденціозная беллетристика поучала, развивала идеи, обличала. Современная же беллетристика—или задаетъ вопросы для практическаго рѣшенія ихъ, или непосредственно дѣйствуетъ, увлекая людей въ ту или другую сторону.

Наконецъ, какъ послѣдній и яркій признакъ времени, мы видимъ и возникшіе въ настоящее время толки объ устраненіи интеллигенціи, интересы которой яко-бы расходятся съ интересами народа, которая прервала будто-бы съ народомъ всякія живыя связи и стоитъ поперекъ правильнаго рѣшенія народнаго вопроса. Но вопросъ, господа, что вы разумѣете подъ интеллигенціею? Если тѣ культурные слои, которые нѣкогда увлечены были энтузіазмомъ движенія, но теперь все болѣе и болѣе отстаютъ отъ него, устраняются и выказываютъ всю свою дряблость, всѣ элементы полнаго разложенія и вырожденія, наконецъ все свое лицемѣріе скрыванія подъ громкими фразами стремленій самаго узко-эгоистическаго и низменнаго характера, въ такомъ случаѣ намъ ничего не остается, какъ протянуть вамъ руку полной съ вами солидарности относительно этого предмета. Но если вы сами такіе же лицемѣры, если вы сами играете громкими словами слитія съ народомъ и служенія его интересамъ, прикрывая подъ этими фразами побужденьица самаго антинароднаго свойства, если въ лицѣ интеллигенціи вы

мечтаете уничтожить то самое умственное движеніе, которое съ самаго начала своего, со временъ Новикова и Радищева и до сего дня, не только ни разу не измѣняло народнымъ интересамъ, а все болѣе и болѣе проникается ими; въ такомъ случаѣ — милостивые государи, не слишкомъ ли ужь вы опоздали въ своемъ благородномъ стремленіи? Легко было отстранить сразу всѣхъ людей 30-хъ и 40-хъ годовъ и спасти Русь отъ Пушкина и Лермонтова, Бѣлинскаго и Гоголя, но теперь это довольно уже трудно, господа!

II.

Установивши вышеозначенное раздѣленіе каждаго умственнаго движенія на два рѣзкіе періода — абстрактно-философскій и практическій, если мы обратимся къ фактамъ современной беллетристики, то они какъ нельзя болѣе наглядно покажутъ намъ, что мы вступаемъ въ настоящее время во второй, практическій періодъ умственнаго движенія. Для этого мы избираемъ Гл. Успенскаго, въ произведеніяхъ котораго послѣдняго времени наиболѣе ярко отражается именно то, о чемъ идетъ у насъ рѣчь.

Абстрактный періодъ умственнаго движенія постоянно отличается тѣмъ, что создаетъ цѣлый рядъ миражей, въ которыхъ приходится разачаровываться второму періоду. Это происходитъ потому, что въ первомъ періодѣ преобладаетъ отвлеченное мышленіе; вмѣсто того, чтобы анализировать факты живой дѣйствительности и изъ этого анализа дѣлать общіе выводы, люди, увлекающіеся идеями, подводятъ факты подъ эти идеи, или же путемъ логическихъ умозаключеній создаютъ такіе воображаемые факты, никакого подобія которымъ нѣтъ въ дѣйствительности. Таковы были, напримѣръ, въ XVIII вѣкѣ всѣ представленія о народѣ. Всѣмъ и каждому мало мальски мыслящему и читающему человѣку было отлично въ то время извѣстно, что въ противуположность искусственнымъ нравамъ растленной цивилизаціи, отъ которой слѣдовало во что бы то ни стало освободиться, народная среда представляетъ собою именно тѣ самые естественные, неиспорченные нравы золотаго вѣка, о которыхъ мечталъ Руссо. Народъ не иначе рисовался въ воображеніи

философовъ XVIII вѣка, какъ въ видѣ трудолюбивыхъ, добрыхъ, благодушныхъ и незлобивыхъ поселянъ, чуждыхъ всякихъ честолюбивыхъ и любостяжательныхъ страстей, зависти или мстительности, способныхъ довольствоваться самымъ малымъ и наслаждаться мирнымъ счастіемъ подъ соломенною кровлею, трогательно благодарныхъ къ каждому проблеску участія къ нимъ, терпѣливыхъ, кроткихъ и преисполненныхъ подобострастной покорности. Правда, они немного обнищали, голодаютъ бѣдные, и вымираютъ чуть что не цѣлыми провинціями, безропотно подчиняясь своей судьбѣ, но стоитъ протянуть имъ руку братской помощи, вывести ихъ изъ бѣдственнаго положенія, и отечество тотчасъ же процвѣтетъ, повсюду воцарятся тѣ буколическіе нравы золотаго вѣка, какіе господствуютъ въ народной средѣ, и на благодѣтелей со стороны облагодѣтельствованныхъ польются цѣлые потоки умилительныхъ благословеній.

И каково же было всеобщее разочарованіе, когда вмѣсто всѣхъ этихихъ воображаемыхъ идиллическихъ пастушковъ и пастушекъ, испуганнымъ взорамъ людей XVIII вѣка предстала вдругъ толпа побросавшихъ свои истощенныя поля, свирѣпыхъ, одичалыхъ браконьеровъ, принявшихся разорять помѣщичьи зáмки съ жестокостью гунновъ, или же толпа голодныхъ оборванныхъ городскихъ пролетаріевъ, начавшихъ устраивать кровавыя оргіи по улицамъ Парижа. Земледѣльцы же захолустныхъ мѣстностей, какова была Вандея, наиболѣе сохранившіе первобытный типъ французскаго крестьянина и подходившіе къ идиллическимъ фантазіямъ философовъ, вмѣсто благословеній за оказываемыя имъ благодѣянія, вздумали вдругъ ополчиться на своихъ бдагодѣтелей во имя сохраненія именно тѣхъ самыхъ феодальныхъ порядковъ, при которыхъ имъ такъ скверно жилось.

Историческій фактъ, приведенный нами, представляетъ собою безспорно крайнюю степень, до какой либо доходило обольщеніе иллюзіями; можно положительно сказать, что никогда ни до того времени, ни послѣ него люди такъ глупо не обманывались въ дѣйствительности и такъ радикально, такъ прискорбно не разочаровывались въ ней. Особенно же трудно представить себѣ подобнаго рода иллюзіи въ нашъ практическій XIX вѣкъ реальнаго мышленія и трезваго анализа. Но нельзя сказать, чтобы и мы были совершенно за-

страхованы отъ всякихъ иллюзій. Люди могутъ руководствоваться идеями, добытыми вполнѣ реальнымъ путемъ, но обращаться съ ними нисколько не реально. Это бываетъ каждый разъ, когда идея, сама по себѣ реальная, обращается для насъ въ готовую абстрактную формулу, которую мы прилагаемъ къ фактамъ зря, ни мало не заботясь о провѣркѣ соотвѣтствія послѣднихъ съ этою идеею. Можетъ быть, факты эти, если бы мы начали анализировать ихъ самостоятельно, привели бы насъ совсѣмъ къ инымъ выводамъ, мы-же нисколько о такомъ анализѣ не заботимся, а подходимъ къ фактамъ съ предвзятыми о нихъ мнѣніями. Это ведетъ къ новымъ иллюзіямъ, правда, не такимъ грубымъ, какъ вышеприведенная, но тѣмъ болѣе обольстительнымъ и поэтому вреднымъ, что они опираются на данныя, заслуживающія полнаго уваженія.

И вотъ мы видимъ, что 60-е годы, этотъ абстрактный періодъ нашего умственнаго движенія, несмотря на свой реализмъ, въ свою очередь завѣщали намъ рядъ обольстительныхъ иллюзій, съ которыми намъ приходится нынѣ раздѣлываться при вступленіи въ новую, практическую фазу нашего умственнаго движенія.

И замѣчательно, что эти новыя иллюзіи, хотя далеко не столь грубы, какъ иллюзіи XVIII вѣка, тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы въ нихъ не было нѣкоторыхъ аналогическихъ чертъ. Въ настоящемъ случаѣ во главѣ стоятъ нѣсколько азбучныхъ истинъ, въ неоспоримости которыхъ не можетъ быть ни малѣйшихъ сомнѣній. Такъ, напримѣръ, кому пришло бы въ голову усомниться въ томъ, что праздность и тунеядство разслабляютъ всѣ силы человѣка и ведутъ къ нравственному растлѣнію, а физическій трудъ напротивъ того укрѣпляетъ мускулы и нервы и создаетъ богатырей, какъ въ физическомъ, такъ и въ психическомъ отношеніяхъ. Далѣе затѣмъ, кому неизвѣстно, что и трудъ труду рознь; что только сельскій, земледѣльческій трудъ на лонѣ природы, на свѣжемъ, здоровомъ воздухѣ, при разностороннемъ упражненіи мускуловъ представляетъ собою идеалъ труда, городской же фабричный или ремесленный трудъ, въ помѣщеніяхъ, наполненныхъ всякими ядовитыми испареніями, при крайне одностороннемъ упражненіи мускуловъ, не только не укрѣпляетъ человѣка, а напротивъ калѣчитъ его и

физически, и нравственно. Согласитесь сами, что все это такія идеи, передъ которыми только и остается, что снять шляпу и отвѣсить въ знакъ уваженія глубокій поклонъ. Затѣмъ изъ этихъ идей логически проистекаетъ раздѣленіе всѣхъ обитателей страны на два противоположные міра, во многомъ напоминающее собою такое же раздѣленіе XVIII вѣка: съ одной стороны развращенный цивилизаціей городъ, съ другой—святая деревня во всей своей первобытной простотѣ; тамъ индивидуализмъ, конкуренція, ожесточенная борьба за существованіе, здѣсь община, братство, справедливость, все «по равненію и по правдѣ»; тамъ люди такъ и наровятъ, какъ бы уклониться отъ письменныхъ, нотаріальныхъ актовъ, припечатанныхъ седмью печатями, здѣсь же свято держатъ разъ данное слово, не скрѣпленное никакими бумагами или свидѣтельскими удостовѣреніями, однимъ словомъ—тамъ адъ кромѣшный, здѣсь—рай земной. И опять-таки, принимая подобное дѣленіе, какъ прямой, логическій выводъ изъ совершенно справедливыхъ идей, какъ широкую абстракцію, нельзя отказать этой абстракціи въ глубокой правдѣ. Но если мы начнемъ смотрѣть на эту истину, не какъ на абстракцію, вѣрную лишь въ массовомъ, собирательномъ смыслѣ, съ птичьяго полета и при разсмотрѣніи вѣковыхъ историческихъ судебъ, а отнесемся къ ней, какъ къ чему-то конкретному, приложимому къ каждому данному факту окружающей насъ жизни, если мы въ каждой деревнѣ, въ которую входимъ, будемъ предполагать рай земной, а въ каждомъ встрѣчномъ мужикѣ или бабѣ прозрѣвать непремѣнно идеальныхъ представителей деревенскихъ началъ, мы не замедлимъ впасть въ міръ фантастическихъ иллюзій. Дѣло въ томъ, что логика жизни далеко отличается отъ логики вашего мышленія: въ то время, какъ мы выводимъ наши умозаключенія изъ двухъ трехъ посылокъ, жизнь выводитъ свои факты изъ неисчислимаго количества причинъ; мы создаемъ нашего идеальнаго мужика, соображая лишь оздоровляющія условія сельскаго труда, въ дѣйствительности же мужикъ является созданіемъ равнодѣйствующей силы самыхъ разнообразныхъ и противурѣчащихъ факторовъ, въ число которыхъ на каждомъ шагу входитъ и тотъ самый городъ, вліяніе котораго мы въ настоящемъ случаѣ совершенно игнорируемъ. Въ нашемъ мышленіи противуположности такъ

и остаются противуположностями, враждебно обращенными другъ къ другу спинами, въ жизни же противуположности непрестанно вліяютъ другъ на друга, стремятся слиться во единое. Такъ и въ данномъ случаѣ: городъ и деревня могли бы оставаться въ вѣчной своей противуположности, еслибы были отдѣлены другъ отъ друга китайскою стѣною; но они не только не отдѣлены, а напротивъ того тѣсно связаны другъ съ другомъ до такой степен, что ни городъ безъ деревни, ни деревня безъ города существовать не могутъ. А при такой связи они непрестанно вліяютъ другъ на друга и производятъ рядъ фактовъ и явленій совершенно особеннаго специфическаго свойства, не имѣющихъ ничего общаго съ тѣми прямолинейными выводами, которые мы дѣлаемъ изъ нашихъ излюбленныхъ абстракцій.

Пока наше умственное движеніе пребывало въ первомъ абстрактномъ своемъ періодѣ, намъ ничего не значило вполнѣ игнорировать всю эту игру жизни и довольствоваться своими азбучными абстракціями. Мы были убѣждены, что стоимъ на реальнѣйшей почвѣ, когда въ дѣлѣ изученія народнаго быта ограничивались тѣмъ, что въ лирическихъ стихотвореніяхъ или беллетристическихъ разсказахъ оплакивали золотушную тщедушность, тряпичность и извращенность городскаго интеллигентнаго человѣка и противуполагали ему богатырей труда, гуманныхъ въ своей первобытной простотѣ, выносливыхъ, незлобиво-кроткихъ, безропотно покорныхъ своей участи. Подобно людямъ XVIII вѣка, мы проливали горькія слезы о томъ, что эти деревенскіе богатыри, которымъ несомнѣнно принадлежитъ будущее, терпятъ голодъ, холодъ и всякія неудобства жизни, и воображали, что стóитъ намъ протянуть имъ руку братской помощи, и наша ручка будетъ сейчасъ же облобызована съ чувствомъ горячей благодарности. Въ каждомъ мужикѣ и бабѣ мы предполагали полную солидарность со всѣми нашими дорогими убѣжденіями, и были увѣрены, что стóитъ намъ появиться въ народной средѣ и произнести нѣсколько словъ, какъ сейчасъ же всѣ таящіеся въ глубинѣ народной души несознанные инстинкты тотчасъ же всплывутъ наружу, получатъ опредѣленную формулировку, насъ, конечно, тотчасъ же съ восторгомъ подхватятъ на руки и понесутъ, какъ какихъ нибудь прометеевъ.

Но первое практическое столкновеніе съ народною сре-

дою, первое ознакомленіе съ конкретными фактами народнаго быта должны были неминуемо поставить изучителей и наблюдателей въ полное недоумѣніе. Передъ ними сразу открылся цѣлый міръ фактовъ, управляющихся своими особенными законами и не только не имѣющихъ ничего общаго съ привычными абстракціями, но подъ часъ идущихъ съ ними совершенно въ разрѣзъ. Мы не будемъ распространяться о томъ, какой невообразимый сумбуръ и смятеніе произвело въ умахъ массы мыслящихъ людей это неожиданное столкновеніе прекрасныхъ иллюзій съ печальною дѣйствительностью, сколько при этомъ было изломанныхъ и погибшихъ существованій, сколько малодушныхъ и слабыхъ людей впало въ постыдное уныніе, скороспѣлое разочарованіе, повѣсило голову, и сложило руки въ безплодномъ отчаяніи. Обратимся прямо къ Гл. Успенскому, который намъ тотчасъ же все это разскажетъ съ полною обстоятельностью, такъ какъ этотъ писатель является въ настоящее время наиболѣе яркимъ и полнымъ выразителемъ именно того паденія иллюзій, о которомъ идетъ у насъ рѣчь. Если гдѣ въ настоящее время таится новое слово, то вотъ гдѣ слѣдуетъ искать его: въ произведеніяхъ Гл. Успенскаго послѣднихъ лѣтъ, потому что эти произведенія вполнѣ выражаютъ собою именно тотъ важный историческій моментъ, который мы переживаемъ.

И вы замѣтьте, что это новое слово принадлежитъ далеко не всей дѣятельности Гл. Успенскаго. Прежде Гл. Успенскій былъ совсѣмъ не тотъ, чѣмъ онъ представляется нынѣ. Прежде, онъ ограничивался въ своихъ разсказахъ очерками быта городскихъ мѣщанскихъ слоевъ, и такъ называемыхъ разночинцевъ; онъ только и дѣлалъ, что повѣствовалъ намъ о всѣхъ ихъ нравственныхъ, умственныхъ и экономическихъ недугахъ, порою весьма талантливо смѣялся надъ ними, порою не менѣе талантливо оплакивалъ ихъ, плакалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и надъ самимъ собою, такъ какъ во всѣхъ его произведеніяхъ сильно проглядывалъ чисто субъективный элементъ, и иногда авторъ вполнѣ сливался со своими героями. Но въ концѣ 70-хъ годовъ въ дѣятельности его мы видимъ рѣзкій поворотъ: онъ обращается къ деревнѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ во всѣхъ его послѣдующихъ произведеніяхъ начинаетъ проглядывать чисто прудоновскій пріемъ. Совершенно подобно тому, какъ Прудонъ постоянно зани-

мался тѣмъ, что бралъ различныя, освѣщенные вѣками истины, давно обратившіяся въ неоспоримыя аксіомы, и раскрывалъ въ этихъ истинахъ массу логическихъ противорѣчій, точно также поступаетъ Гл. Успенскій и съ излюбленными нашими иллюзіями. Разница заключается въ томъ, что Прудонъ совершалъ свои операціи путемъ метафизической діалектики; Гл. Успенскій же дѣлаетъ тоже самое художественными средствами, представляя намъ конкретные факты жизни народа, стоящіе въ полномъ противорѣчіи съ прежними иллюзіями. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе, что передъ вами не холодный, безстрастный анатомъ, полосующій живое мясо съ улыбкою удальства, и глухой къ страданіямъ жертвы. Не нужно забывать, что иллюзіи, съ которыми имѣетъ дѣло авторъ, составляютъ существенный элементъ жизни цѣлаго поколѣнія. Онъ самъ, авторъ, всю жизнь прожилъ съ этими иллюзіями и они были для него не менѣе дороги, чѣмъ и для любаго читателя его произведеній. Поэтому ему приходится рѣзать по кускамъ не только сердце читателя, но и свое собственное, и каждое изъ послѣднихъ произведеній его производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто авторъ отрываетъ отъ себя по куску мяса съ нестерпимою болью и обливаясь кровью. И хотя подобное впечатлѣніе должно было бы еще болѣе придавать цѣны всѣмъ мучительнымъ операціямъ Гл. Успенскаго, тѣмъ не менѣе каждое произведеніе его производитъ сенсацію чуть что не скандала. Люди, сжившіеся съ своими иллюзіями, привыкшіе дорожить ими, какъ альфою и омегою знанія народной жизни, постоянно набрасываются на Гл. Успенскаго, обвиняя его то въ безтактности, на томъ основаніи, что будто бы онъ, подчеркивая одни мрачныя стороны народной жизни, мирволитъ крѣпостникамъ и реакціонерамъ, то въ недостаткѣ правильнаго логическаго мышленія, такъ какъ онъ будто бы спѣшитъ дѣлать самые широкія обобщенія на основаніи двухъ-трехъ фактиковъ. Авторъ этой книги считаетъ своимъ долгомъ признаться, что и самъ онъ былъ такъ пораженъ рѣшительнымъ выступленіемъ Гл. Успенскаго на это новое поприще въ его разсказѣ «Черная работа» (От. Зап. 1879 г. № 5), что не могъ сразу оцѣнить значенія этого переворота въ дѣятельности автора, и въ свою очередь, дорожа все тѣми же пре-

словутыми иллюзіями, напалъ нѣкогда на Гл. Успенскаго съ тѣми же обвиненіями въ скороспѣлости обобщеній. Только рядъ послѣдующихъ произведеній Гл. Успенскаго такого же характера, въ связи съ обстоятельствами и событіями жизни, могъ уяснить для автора все важное значеніе новой дѣятельности Гл. Успенскаго, и онъ спѣшитъ загладить свою вину, посвятивъ эту статью опредѣленію новой дѣятельности Гл. Успенскаго въ ея истинномъ свѣтѣ и значеніи.

Начнемъ именно съ той самой «Черной работы», въ которой, какъ мы сказали выше, Гл. Успенскій впервые рѣшительно и рѣзко выступилъ на свое новое поприще. Повѣсть эта замѣчательна между прочимъ и тѣмъ, что здѣсь авторъ высказываетъ опредѣленно и ясно тѣ мотивы, которые побудили его идти по новой дорогѣ. Начинается повѣсть тѣмъ, что авторъ представляетъ себя измученнымъ «тоскою, доходящею до физической боли». Эта тоска заставила его бѣжать изъ деревни «если не навсегда, то на нѣкоторое время», а въ послѣдній день, «эта жажда не думать о деревнѣ, освободиться хотя на время отъ этой безплодной муки, достигла такой степени, что онъ вмѣсто трехъ часовъ ночи, какъ бы слѣдовало, уѣхалъ на станцію въ одинадцать часовъ вечера, рѣшаясь сидѣть болѣе шести часовъ безъ всякаго дѣла въ ожиданіи поѣзда», и несмотря на страшный буранъ, который ему пришлось вынести дорогою. Что же причинило эту тоску до физической боли и заставило автора такъ поспѣшно бѣжать изъ деревни? Оказывается, что именно разладъ между азбучными истинами, съ которыми пріѣхалъ авторъ въ деревню и тѣми конкретными фактами, которые обступили его въ деревенской жизни. «Адское душевное состояніе, говоритъ авторъ: долженъ пережить всякій, кто только, повинуясь даже инстинктивному влеченію къ деревнѣ, только чувствуя, что между нимъ и ею существуетъ какая-то трудно опредѣлимая, но несомнѣнно кровная связь попробуетъ... ну, просто хоть только пожить въ деревнѣ... Слагается оно, во-первыхъ, изъ такого рода ежедневно предъявляемыхъ деревнею фактовъ, въ которыхъ, по нашему мнѣнію (мнѣнію человѣка, выросшаго въ другой средѣ), непостижимымъ для васъ образомъ оказываются нарушенными самыя непоколебимыя, самыя истинныя истины. Что можетъ быть неизбѣжнѣе тѣхъ цифирныхъ

истинъ, какимъ учитъ васъ таблица умноженія? Два, умноженное на два, развѣ можетъ дать въ результатѣ что нибудь кромѣ четырехъ? Ежедневный деревенскій опытъ доказываетъ вамъ, что не только можетъ, но постоянно, аккуратно изо дня въ день даетъ нѣчто такое, чего даже нѣтъ возможности ни понять, ни объяснить, къ объясненію чего нѣтъ ни дороги, ни пути, ни самомалѣйшей нити. Ниже читатель, напримѣръ, увидитъ эти изумительные результаты деревенской таблицы умноженія, теперь же я только прошу его представить себѣ положеніе человѣка, который по сту разъ въ день надѣется, что вотъ вотъ получится четыре, и по сту разъ въ день видитъ во-очію, что получается то стеариновая свѣчка, то свиная морда, словомъ, нѣчто неожиданное и невозможное, до нѣкоторой степени только пойметъ, что за безнадежно-отупляющее состояніе долженъ переживать всякій, кто смотритъ на деревню такъ, «какъ должно», по его мнѣнію, смотрѣть на нее».

И вотъ далѣе въ повѣсти передъ вами раскрывается такое вопіющее противорѣчіе фактовъ деревенской жизни съ привычною вамъ табличкою умноженія, какое естественно можетъ поставить въ тупикъ каждаго свѣжаго наблюдателя. Подобный наблюдатель подходитъ къ народу, конечно, ужь съ рядомъ неоспоримыхъ истинъ въ родѣ того, что крѣпостное право, малоземеліе и чрезмѣрность налоговъ дѣйствуютъ на народъ деморализирующимъ образомъ; ergo мужики господскихъ деревень должны быть во всѣхъ отношеніяхъ хуже мужиковъ государственныхъ, а изъ господскихъ самую высшую степень деморализаціи должны представлять крестьяне, бывшіе подъ властію наиболѣе строгихъ, жестокихъ и жадныхъ помѣщиковъ. И каково же должно быть болѣзненное недоумѣніе наблюдателя, когда вдругъ въ дѣйствительности онъ встрѣчается съ фактами какъ разъ совершенно противоположными. Предъ нимъ три рядомъ стоящія деревни: Солдатская, Разладинская и Барская, изъ которыхъ первая казенная, пользующаяся обиліемъ земель и всякихъ угодій и наименѣе обложенная податями, представляетъ собою высшую степень деморализаціи, мало уступаютъ имъ разладницы, бывшіе нѣкогда подъ властію доброй помѣщицы; лучше же всѣхъ живетъ и умнѣе всѣхъ выглядитъ крестьянинъ деревни Барской, бывшей подъ властью строгихъ и жесто-

кихъ помѣщиковъ. «Словомъ, говоритъ авторъ: крестьянинъ, болѣе другихъ претерпѣвшій на своемъ вѣку, слѣдовательно, какъ вамъ думается, болѣе угнетенный (онъ пережилъ крѣпостное право) надѣленный плохою землей, обремененный налогами, вопреки всѣмъ смысламъ, вопреки всѣмъ таблицамъ умноженія всѣхъ частей свѣта, оказывается порядочнѣе, положительнѣе, умнѣе, даровитѣе, зажиточнѣе и честнѣе того крестьянина, который имѣя доходы, покрывающіе всѣ посторонніе платежи или платя сущую бездѣлицу и, слѣдовательно, имѣя всѣ условія для того, чтобы собственная его домашняя, личная жизнь была лучше, достаточнѣй, волнѣй, чтобы забота его о мирскомъ благѣ была шире и т. д., и т. д., оказывается, что такой крестьянинъ, ничего не выдумалъ, кромѣ кабака, живетъ бѣдно, пьяно, фальшиво, къ ближнему равнодушенъ, равнодушенъ къ міру, къ себѣ, къ семьѣ!.. Мало того, вы видите, что отлично обставленная въ матеріальномъ отношеніи деревня какъ бы лишена даровитыхъ людей; есть міроѣды и мироопивалы, а умнаго, характернаго мужика нѣтъ, но напротивъ, обиліе фальшивыхъ мужичонковъ, которые за рубль продадутъ отца роднаго, и наобѣщаютъ въ три короба, а ничего не сдѣлаютъ, не дорого возьмутъ соврать, надуть и т. д. Что же означаетъ эта непонятная тайна непонятной деревенской таблицы умноженія?»

Естественно, первое, что придетъ вамъ въ голову, когда вы прочитаете подобную характеристику трехъ деревень, будетъ то утѣшеніе, что, конечно, авторъ имѣетъ здѣсь дѣло съ какимъ нибудь однимъ исключительнымъ случаемъ, и развѣ можно дѣлать какіе-либо выводы изъ двухъ-трехъ фактиковъ? Но постойте, господа: во-первыхъ, вы не знаете, имѣете ли вы дѣло съ тремя исключительными фактами, или ихъ много на Руси, а во-вторыхъ, если бы фактъ, представляющійся вамъ, существовалъ и дѣйствительно въ единственномъ числѣ, то развѣ и этотъ единственный фактъ не разрушаетъ вашей таблички умноженія съ такой же легкостью, какъ и тысяча ему подобныхъ? Вѣдь для того, чтобы вы потеряли право говорить, что всѣ люди смертны, достаточно, чтобы оказался безсмертнымъ хоть одинъ изъ всѣхъ людей. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: совершенно достаточно, чтобы существовало на Руси въ единственномъ числѣ село Барское

рядомъ съ Солдатскимъ и Разладинскимъ, чтобы привести васъ въ ужасъ и исполнить сердце ваше тоскою до физической боли. Спрашивается только одно: слѣдуетъ ли ради сохраненія дорогихъ намъ истинъ закрывать глаза на подобнаго рода страшные факты и правъ ли авторъ, выставляющій ихъ на показъ? По моему мнѣнію, не только правъ, онъ выступаетъ въ настоящемъ случаѣ, по истинѣ героемъ: онъ глядитъ прямо въ глаза истинѣ, не страшась плыть противъ теченія и прослыть союзникомъ реакціонеровъ, которые на подобныхъ фактахъ, конечно, могли бы воздвигнуть цѣлое зданіе, если бы оставить ихъ безъ освященія.

Но авторъ не ограничивается тѣмъ только, что голословно выставляетъ страшный фактъ, онъ его освѣщаетъ по моему мнѣнію, совершенно справедливо, устраняя возможность всякихъ ложныхъ выводовъ изъ него въ пользу какихъ-либо реакціонныхъ поползновеній. Чтобы уяснить и представить рельефнѣе объясненія автора, мы, не ограничиваясь выписками изъ разсказа, присовокупляемъ нѣкоторыя собственныя замѣчанія. Дѣло вотъ въ чемъ: каждый строй жизни, порядокъ, имѣетъ свои идеалы, и понятно, что идеалы эти осуществляются полнѣе тамъ, гдѣ порядокъ этотъ строже примѣняется. Естественное дѣло, что и крѣпостное право имѣло свой идеалъ крестьянина. На мужика смотрѣли въ то время, не какъ на человѣка, а какъ на скотъ, необходимый въ дѣлѣ хозяйства на ряду съ прочими домашними животными. Сообразно этому взгляду выработался и идеалъ мужика, представляющій въ себѣ одну безустанную работу на господина при полномъ обезличеніи. «Идеалъ, говоритъ авторъ: требовалъ, во 1-хъ, безпрекословнаго исполненія чужихъ требованій; во 2-хъ, требовалъ, чтобы у исполнителя было глубоко вкоренено убѣжденіе въ томъ, что все остальное, все его житьишко со всѣми животишками, составляютъ дѣла, нестоющія вниманія».

«Такъ какъ такой идеалъ, говоритъ далѣе авторъ: тяготѣлъ надъ всѣмъ почти русскимъ крестьянскимъ людомъ, тяготѣлъ неумолимо сотни лѣтъ, то сообразно съ нимъ и выработался типъ крестьянина — населяющаго громадное большинство русскихъ деревень. Такой оставленный намъ барщиной въ наслѣдство крестьянинъ, во-первыхъ, неустанный работникъ. Въ потѣ лица, изо дня въ день онъ бьется

надъ работой; во-вторыхъ, акуратная уплата податей для него первая забота, передъ которой меркнутъ всѣ личныя заботы: въ третьихъ, это человѣкъ, который отвыкъ разсуждать объ чемъ бы то ни было: онъ только спрашиваетъ: «сколько требуется», «по чемъ сойдетъ съ души». Раскладка всѣхъ этихъ душевыхъ рублей и копѣекъ составляетъ почти единственный предметъ общественныхъ деревенскихъ сходокъ. «Своихъ» деревенскихъ предметовъ для разговоровъ на сходкахъ нѣтъ — отучены. И въ четвертыхъ, наконецъ, онъ-неусыпный работникъ: работать, «биться на работѣ,» — вотъ цѣль жизни, нить, связующая дни и годы въ цѣлую жизнь человѣческую. Онъ покоенъ, уставъ и измучившись на работѣ, потому что сдѣлано то, что именно требовалось; онъ сына женитъ насильно, потому что «беретъ работницу хорошую», а остальное ничего не стóитъ. Мало устать на работѣ, надо просто измаяться, спасть съ тѣла, превратиться въ тѣнь: тотъ хорошій работникъ, кто не знаетъ «устали», у кого «горитъ огнемъ», кто «лютъ», и еще лучше «золъ» на работу. Вотъ во имя этого-то идеала и продолжаетъ жить крестьянинъ, какъ жилъ при барщинѣ. Тамъ, гдѣ барщина царила вполнѣ, тамъ мужикъ, въ буквальномъ смыслѣ, остался такимъ же, какимъ былъ и при крѣпостномъ правѣ: такъ же до свѣту выѣзжаетъ въ поле, такъ же бьется изъ-за податей, такъ же молча, съ незадумывающимся равнодушіемъ, исполняетъ все, что ему прочитаетъ староста, и, исполнивъ, вновь продолжаетъ маяться надъ работой, самъ перебиваясь кое-какъ и припрятывая достатокъ. Въ такихъ деревняхъ у крестьянъ есть совершенно опредѣленный взглядъ на себя и на божій свѣтъ, и, благодаря этому, они знаютъ, что дѣлаютъ, изъ-за чего бьются. Вотъ, почему оказывается, что бѣдная заваленная работой и налогами деревня, не имѣющая никакихъ постороннихъ доходовъ, надѣленная сравнительно худшей, чѣмъ у сосѣдей, землей и, притомъ, въ маломъ количествѣ, живетъ лучше, акуратнѣй, умнѣй и благообразнѣе той деревни, гдѣ идеалъ барщины почему-либо ослабленъ».

Изъ всего изъ этого вы можете ясно усмотрѣть, что крестьянинъ села барскаго при всей своей видимимой порядочности и аккуратности вовсе не представляетъ собою идеала мужика въ безусловномъ смыслѣ; это идеалъ относитель-

ный, выработанный крѣпостнымъ правомъ; чтобы быть безусловнымъ, такому идеалу не достаетъ самаго главнаго, и, смѣемъ думать, существеннаго: человѣка. Крестьянинъ села Барскаго, въ которомъ задавлены всѣ человѣческія чувства и потребности и который обращенъ въ живую земледѣльческую машину на двухъ ногахъ, очевидно типъ отжившаго прошлаго. Это Вандеецъ не только, какъ историческая аналогія, но въ тождественномъ смыслѣ. Вѣдь и въ Вандеѣ XVIII вѣка, крестьянинъ выглядѣлъ, правда, тупѣе, суевѣрнѣе, диче, приниженнѣе, но въ тоже время былъ зажиточнѣе и порядочнѣе, чѣмъ крестьяне прочихъ мѣстностей Франціи; онъ въ свою очередь наиболѣе сохранялъ типъ крестьянина стараго режима, и именно опять таки потому, что въ Вандеѣ феодальный режимъ былъ строже выдержанъ и наиболѣе сохранился. Вандеецъ и противъ революціи ополчился конечно потому, что будучи зажиточнымъ и довольнымъ своей участью, не нуждался ни въ какихъ реформахъ.

Но разъ старый порядокъ рушился, разъ крѣпостное право отошло въ вѣчность, можно ли ожидать, чтобы типы, выработанные идеалами отжившаго порядка, могли бы долго просуществовать? Очевидно, что если и остаются до сихъ поръ села Барскія, если ихъ еще и много на Руси, во всякомъ случаѣ, они доживаютъ послѣдніе годы. Только трехсотлѣтнею каторгою крѣпостнаго права можно было парализовать въ такихъ крестьянахъ всякое развитіе человѣческихъ потребностей и сдерживать ихъ въ состояніи рабочаго скота. Но разъ эта дрессирующая школа закрыта, то какія же силы могутъ остановить проявленіе въ людяхъ людей, какихъ бы то ни было, хотя бы и самыхъ безобразныхъ, но все-таки людей,—и при такихъ условіяхъ крестьяне села Барскаго не замедлятъ обратиться въ тѣхъ же Солдатскихъ и Разладинцевъ. Читатель спроситъ, конечно, при этомъ, — что же въ этомъ отраднаго, и что хорошаго можетъ обѣщать подобное превращеніе? Отвѣчать на такой вопросъ очень затруднительно. Сколько изъ этого выйдетъ хорошаго или дурнаго, это покажетъ намъ исторія. Слѣдуетъ только принять во вниманіе, что когда сходитъ со сцены какой нибудь отжившій порядокъ (въ настоящемъ случаѣ крѣпостное право) и уноситъ съ собою свои старые идеалы, подобные моменты всегда отличаются большею или мень-

шею распущенностью, деморализаціею, которая продолжается до тѣхъ поръ, пока не устанавливаются новые порядки и не приносятъ съ собою новыхъ идеаловъ вмѣстѣ съ новыми способами ихъ осуществленія. Что народъ нашъ находится именно въ подобномъ переходномъ состояніи, объ этомъ свидѣтельствуетъ его собственное сознаніе; по крайней мѣрѣ повсемѣстно вы слышите изъ его устъ одинъ и тотъ же говоръ, что народъ нынѣ ослабъ, извольничался, излѣнился, совсѣмъ скрутился, и все это потому, что нѣтъ надъ нимъ прежняго страха.

Изъ всего изъ этого въ концѣ концовъ слѣдуетъ тотъ выводъ, что табличка умноженія, которая, повидимому, поколебалась представленными авторомъ фактами, въ сущности вовсе не поколебалась, а осталась во всей своей вѣрности; вѣдь и въ самомъ дѣлѣ въ результатѣ крѣпостнаго права мы видимъ всеобщую деморализацію: съ одной стороны деморализацію крестьянъ села Барскаго, обезличенныхъ и обращенныхъ въ рабочій скотъ, съ другой—деморализацію Разладинцевъ и Солдатскихъ, остающихся безъ всякихъ общественныхъ и личныхъ идеаловъ, которые руководили бы ихъ въ жизни, съ одной стороны — каторжная работа на почвѣ рабскаго альтруизма, съ другой—кабакъ. Если что поколебалось, то лишь тѣ иллюзіи, которыми мы до сихъ поръ плѣнялись: вмѣсто земнаго рая, обусловливаемаго оздоровляющимъ вліяніемъ сельскаго труда, авторъ нашелъ въ деревнѣ адъ кромѣшный, заставившій его бѣжать изъ деревни съ тоскою, доходящею до физической боли. Для народниковъ идилликовъ, продолжающихъ коснѣть въ своихъ буколическихъ иллюзіяхъ, подобное бѣгство можетъ казаться чуть что не святотатствомъ, но еще разъ воздадимъ честь автору, который ради святой истины не остановился передъ кровавою операціею вырыванья кусковъ живаго мяса изъ любовообильныхъ сердецъ своихъ читателей, и не пожалѣлъ прекрасныхъ иллюзій, жить съ которыми во всякомъ случаѣ и легче, и теплѣе, чѣмъ съ тѣми страшными истинами, которыя онъ раскрываетъ.

Далѣе за этимъ первымъ громогласнымъ выстрѣломъ, до настоящей минуты идетъ непрерывная пальба со стороны Гл. Успенскаго все въ тѣже излюбленныя иллюзіи. Мы отмѣ-

тимъ только главные и наиболѣе яркіе его очерки подобнаго рода.

Таковы «Малыя ребята», разсказъ, составляющій безъ малаго половину книги, изданной Гл. Успенскимъ въ 1881 году подъ общимъ, весьма характеристичнымъ заглавіемъ «Деревенская неурядица». Въ этихъ «Малыхъ ребятахъ», въ лицѣ петербургскаго интеллигентнаго чиновника Ивана Ивановича Полумракова, авторъ изображаетъ именно типъ человѣка, проникнутаго относительно деревенской жизни иллюзіями самаго буколическаго свойства, не уступающими пастушескимъ идиліямъ XVIII вѣка. Задавшись благодарною цѣлію создать изъ своихъ дѣтей идеальныхъ людей и перепробовавъ безъ всякой пользы всевозможныя педагогическія средства, Полумраковъ остановился на оздоровляющемъ вліяніи деревни. «Всѣ нравственныя муки, читаемъ мы въ разсказѣ: всѣ неразрѣшимыя нравственныя загадки для него оканчивались съ поселеніемъ въ деревнѣ. Она, эта самая деревня, должна дать дѣтямъ Ивана Ивановича, во-первыхъ, физическое здоровье, котораго не дадутъ ни гимнастики, ни прогулки въ скверахъ, ни дорогіе доктора. Деревня дастъ все это такъ, задаромъ. Во-вторыхъ, она дастъ необходимыя прочныя начала нравственности. Въ то время, какъ ни педагогія, ни тѣмъ менѣе самъ Иванъ Ивановичъ, не могутъ просто и ясно познакомить дѣтей съ причинностью явленій и человѣческихъ отношеній, деревня дастъ все это, простосердечно передавъ дѣтямъ теплую вѣру въ Бога и зародивъ, такимъ образомъ, зачатокъ связной мысли, пробудитъ искренность чувства и дастъ ему пищу въ простотѣ и деревенской откровенности человѣческихъ отношеній. Въ-третьихъ, она же, эта самая деревня, уничтожитъ ненужное и гибельное въ дѣтяхъ сознаніе неравенства между людьми, котораго нельзя никакимъ образомъ избѣжать въ столицѣ. Дѣти будутъ въ толпѣ крестьянскихъ дѣтей, пріучатся жить въ обществѣ человѣческомъ, начнутъ понимать, что такое жизнь» и т. д.

И вотъ Полумраковъ переселился со всѣмъ семействомъ въ деревню. Но деревня не замедлила предстать предъ нимъ во всей своей трезвой правдѣ, не имѣющей ничего общаго съ буколическими фантазіями барина. Начать съ того, что Полумраковъ никакъ не могъ добиться мало мальски искрен-

нихъ человѣческихъ отношеній между нимъ и мужиками. Едва поселился онъ въ деревнѣ, какъ послѣдняя поняла, что за ея долготерпѣніе Господь послалъ ей доходную статью въ видѣ барина, живущаго на готовыя деньги, и ни одинъ человѣкъ не приближался къ усадьбѣ безъ своекорыстныхъ цѣлей. Дѣти Ивана Иваныча ежедневно находились въ обществѣ крестьянскихъ дѣтей, играли въ ихъ игры, но и тутъ Иванъ Иванычъ видѣлъ, что въ разсчетахъ своихъ ошибся. Дѣти крестьянскія были чисты духомъ и сердцемъ, но въ этой крестьянской чистотѣ отражалась только голая дѣйствительность, которая къ тому же отражалась съ безпощадной фотографической вѣрностью. Дѣтскій умъ и душа принимали все, что эта дѣйствительность предлагала имъ, а она предлагала въ большинствѣ случаевъ матеріялъ далеко не кристальнаго достоинства. Игры заключались въ представленіяхъ поимки вора или деревенскихъ пьяныхъ празденствъ въ родѣ «пропиванія невѣсты», при чемъ дѣтямъ Полумракова, какъ барчатамъ, давались самые деморализирующія роли становыхъ и всякаго рода господъ. Въ общихъ чертахъ въ деревнѣ дѣти Иваныча узнали, что они не мужики, а господа, и имѣютъ поэтому право карать, прощать и не прощать; получили нѣкоторую крѣпость нервовъ, пріучившихся быть нечувствительными во многихъ, весьма драматическихъ случаяхъ; затѣмъ, получили какую-то сыпь, требующую серьезнаго леченія, и, наконецъ, пріобрѣли самое обстоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ. Однимъ словомъ, деревня оказалась вовсе не педагогической панацеей, какъ о ней мечталъ Полумраковъ, а именно тою самою убогою русскою деревнею, какою онъ безсознательно создалъ ее вмѣстѣ съ своими отцами и дѣдами. И кончилось дѣло все тѣмъ же ужасомъ и тѣмъ же бѣгствомъ къ своимъ, въ богоспасаемый городъ, гдѣ и свѣтло, и тепло, и въ чорта не вѣрятъ, и сифилисъ не пользуется такимъ потомственнымъ правомъ гражданства. Безпощадная, злая иронія проникающая весь этотъ разсказъ, говоритъ сама за себя, не требуя никакихъ комментаріевъ.

Такою же ироніею отличается разсказъ «Не въ привычку дѣло», герой котораго Михаилъ Михайловичъ отправляется въ деревенскую глушь не съ одними уже педагогическими цѣлями, какъ Полумраковъ, а съ чисто практиче-

скими замыслами слиться съ народомъ на почвѣ труда, завести даже сообща съ мужиками, употребивъ въ дѣло свои наслѣдственные капиталы, нѣчто въ родѣ сельско-хозяйственной коммуны. Но голова его была наполнена все тѣми же обольстительными иллюзіями. «Онъ пришелъ, читаемъ мы въ разсказѣ, трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломѣ, ѣсть изъ одного котла, а деньги, какъ нажитыя общимъ трудомъ (какъ М. М. въ этомъ глубоко былъ увѣренъ въ то время юношескихъ фантазій), должны быть достояніемъ той кучки людей, которая должна была образоваться, какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ искренно разорвавшихъ съ прошлымъ интеллигентныхъ людей. Что среди крестьянъ онъ непремѣнно отыщетъ людей, которые всецѣло не только поймутъ, но еще и разовьютъ его мысли,—въ этомъ онъ былъ совершенно увѣренъ. Крестьянинъ—это одѣтый въ полушубокъ живой памятникъ всего, что не упишешь въ 26-ти томахъ исторіи Соловьева. Мало того, въ то прекрасное время, къ фигурѣ крестьянина какъ-то невольно примыкивало, кромѣ 26-ти томовъ Соловьева, еще все мучительно передуманное и перенятое европейскою жизнію. Сообразивъ все это и соединивъ все, такъ безобразно-трудно пережитое человѣчествомъ, въ лицѣ крестьянина, которому настало время вздохнуть свободно, Михаилъ Михайловичъ не могъ не подозрѣвать, что такое существо, какъ крестьянинъ, бѣдный измученный, забитый, испытавшій и перенявшій, Богъ знаетъ, какія невзгоды, несущій на своихъ плечахъ опытъ тысячелѣтнихъ трудовъ, долженъ, непремѣнно долженъ питать ненасытную жажду устроить жизнь по новому; у него въ горлѣ пересохло отъ этой жажды, онъ ждетъ не дождется, онъ страстно хочетъ вздохнуть полной грудью. Передъ этимъ величіемъ Михаилъ Михайловичъ — пигмей; онъ ничего не имѣетъ права желать, какъ только отдать этому гиганту все, что у него есть: деньги, знаніе, трудъ. Больше Михайлу Михайловичу ничего не нужно. Онъ пришелъ униженнымъ и смиреннымъ работникомъ. Такъ Михайлу Михайловичу казалось... Онъ готовъ былъ простить всякую грубость, невѣжество, всякую непріятность со стороны его народныхъ сотоварищей; онъ зналъ, что иначе не можетъ быть, что не изъ чего выработаться было тонкостямъ и деликатностямъ,

онъ былъ готовъ все простить и все претерпѣть... Но, увы! народъ никакимъ образомъ не могъ простить Михаилу Михайловичу ни капли изъ прошлаго, потому что прошлое было крѣпостное — какъ не могъ забыть и своего крѣпостнаго прошлаго. Этотъ крѣпостной опытъ крестьянъ съ одной стороны, и съ другой — то, что Михаилъ Михайловичъ былъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ баринъ, сокрушило и планы, и деньги Михаила Михайловича безъ остатка».

Съ самаго перваго шага Михаилъ Михайловичъ всталъ съ мужиками въ самыя неискреннія и фальшивыя отношенія: онъ преклонялся передъ ними и панибратствовалъ, желая встать съ ними на вполнѣ равную ногу, а они во всемъ ему поддакивали и старались всячески потрафлять, видя въ его дѣлѣ лишь барскую фантазію и въ тоже время смотря на него, какъ на дойную корову. Онъ убѣдился, наконецъ, что лишь «примѣръ, результатъ видимый, осязательный доступенъ будетъ пониманію теперешняго крестьянина и научитъ его лучше всякихъ многословныхъ разсужденій, стало быть, надо не разглагольствовать, а взять дѣло на себя, на свою отвѣтственность»,—и началъ приказывать дѣлать то или другое безъ всякихъ разсужденій. Тогда роли окончательно опредѣлились: «полагая, что онъ только временно, такъ сказать, надѣлъ на себя шкуру барина, Михаилъ Михайловичъ незамѣтно, въ силу того-же, что онъ баринъ въ самомъ дѣлѣ, сталъ сбиваться съ равноправной ноги и воспитанное долголѣтнимъ прошлымъ барство стало, сначала понемногу, выступать въ его умѣ и сердцѣ, и душѣ, а потомъ, и очень скоро, вылилось во всей своей прелести. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мѣрѣ того, какъ въ Михайлѣ Михайловичѣ сталъ проступать ужь неприкрашенный баринъ, въ крестьянинѣ (который, просимъ не забывать, только-что вышелъ изъ крѣпости) сталъ навстрѣчу барину выступать неприкрашенный рабъ. Баринъ началъ повелѣвать, а крестьянинъ принялся его надувать. Началась самая утонченная борьба двухъ естественныхъ враговъ, и надо отдать мужикамъ справедливость, молодцы они въ этой борьбѣ. Лаской, угожденьемъ, потрафленьемъ, предупрежденіемъ еще неродившихся, но имѣющихъ рано ли, поздно ли родиться желаній, вотъ какъ они, и самые талантливые изъ нихъ, принялись дѣйствовать... У Михаила Михайловича стало образовываться все

больше и больше празднаго времени, ему становилось все легче и беззаботнѣе, точно кто поматерински заботился о немъ. Онъ даже лесть сталъ слушать, какъ должное, поддался на похвалу, на удивленіе его уму, знанію. Невѣдомо какъ и откуда, взялась какая-то бабенка востроглазая, которая стала все тутъ вокругъ да около лебезить. И другая, и третья»...

Дѣло кончилось тѣмъ, что Михаилъ Михайловичъ убилъ всѣ свои капиталы въ своемъ неудавшемся предпріятіи и въ концѣ концевъ впалъ въ полное разочарованіе, уныніе и спился. Михаилъ Михайловичъ является такимъ образомъ предъ читателемъ однимъ изъ тѣхъ первыхъ піонеровъ-неудачниковъ, которые стремились слиться съ народомъ, не только что не зная его, но и сами неподготовленные къ тому дѣлу, за которое принимались, не успѣвшіе вполнѣ отрѣшиться отъ того наслѣдственнаго праха, который накопился на ихъ существѣ вѣками. — Поэтому здѣсь схваченъ авторомъ вопросъ гораздо глубже: тутъ дѣло идетъ не объ однихъ иллюзіяхъ, а о тѣхъ существенныхъ, вѣковыхъ складахъ жизни, которые отдѣляютъ глубокою пропастью отъ народа даже и такихъ благомыслящихъ господъ, какъ Михаилъ Михайловичъ. Неудача послѣдняго произошла не только потому, что онъ не зналъ народа и имѣлъ о немъ самыя фантастическія представленія, но и потому, что во всѣхъ своихъ привычкахъ, и такихъ притомъ мелочныхъ, на которыя онъ не обращалъ никакого вниманія, онъ оставался все тѣмъ же бариномъ, съ которымъ надо держать ухо остро. Довольно было того, что онъ пріѣхалъ въ деревню со станціи въ тарантасѣ, а не пришелъ пѣшкомъ съ котомкой за плечами и босыми ногами, не попросилъ Христа ради испить, щедро далъ на водку столько мелочи, сколько попалось въ руку въ карманѣ, и карьера его была рѣшена, его разсужденій не только не понимали, но и не пожелали понимать. Изъ этого всего вы видите, что иллюзіи иллюзіями, но избавленіе отъ нихъ однихъ еще не поможетъ дѣлу: это лишь первый шагъ, за которымъ долженъ послѣдовать цѣлый историческій процессъ, можетъ быть, очень долгій и во всякомъ случаѣ чрезвычайно мучительный, путемъ котораго и народъ и интеллигенція должны совершенно преобразоваться до самаго своего, что называется, нутра, для того чтобы они мог-

ли понять другъ друга и сблизиться на какихъ-либо общихъ интересахъ.

Далѣе затѣмъ въ рядѣ очерковъ, напечатанныхъ въ послѣдніе три года въ «Отечественныхъ Запискахъ» и частію изданныхъ отдѣльно, мы встрѣчаемъ микроскопическій анализъ, развертывающій передъ нами весьма мрачную картину деревенской жизни. Такъ мы видимъ, что восхваляемые общинные порядки, въ которыхъ все будто бы совершается по правдѣ и по равненію, допускаютъ непризрѣнныхъ стариковъ, вдовъ, и воспитываютъ въ своихъ недрахъ, изъ брошенныхъ на произволъ судьбы сиротъ, деревенскихъ злодѣевъ, которые потомъ обращаются въ конокрадовъ или поджигателей, и сельскій міръ, допустившій развитіе на свою голову подобныхъ чудовищей, затѣмъ обрушается на нихъ подъ часъ съ какимъ нибудь безпощадно жестокимъ кровавымъ самосудомъ. Крестьянское самоуправленіе въ свою очередь оказывается миражемъ: вглядываясь въ инструкціи его, можно подумать, что деревня въ самомъ дѣлѣ живетъ общественными интересами, но всматриваясь въ практическое примѣненіе этихъ инструкцій, видишь, что никакой общественной силы тутъ нѣтъ и проявить и практиковать ее не на чемъ. Какіе бы вопросы или проекты «оздоровленія», «образованія», «поднятія народной нравственности», оживленія народа», ни подымались въ обществѣ, — въ деревнѣ изъ нихъ образуются другія, уже грустныя слова: «по гривеннику», «по двугривенному», «по полтинѣ», и вся умственная дѣятельность крестьянина занята такимъ образомъ почти только одной работой: достать денегъ. «Обведя, говоритъ авторъ (см. «Люди и нравы современной деревни», стр. 51), вокругъ Москвы кругъ, радіусомъ верстъ въ четыреста, мы получимъ мѣстность, въ которой положеніе крестьянина и направленіе его мысли, въ общихъ чертахъ, опредѣлится именно этимъ стремленіемъ—«добыть денегъ», только денегъ, больше ничего. Къ этому направленію крестьянской мысли начало присоединяться, къ крайнему огорченію людей, идеализирующихъ прочность деревенской общины, плохо опредѣляемое, но сильно чувствуемое крестьяниномъ желаніе—уйти куда нибудь, желаніе какъ нибудь полегче добывать то, что теперь добывается съ такимъ трудомъ, и это стремленіе уйти изъ сухихъ и жесткихъ усло-

вій крестьянской среды объясняется все тою же необходимостью добывать все больше и больше денегъ".

Но страшнѣе всего, какъ для настоящаго такъ и въ видахъ будущаго то, что въ то время какъ дѣйствительная интеллигентная сила, которая могла бы оживить и раздвинуть умственный кругозоръ деревни, отвергается ею въ лицѣ Михаиловъ Михайловичей, отчасти вслѣдствіе слѣпаго вѣковаго недовѣрія, отчасти отъ неумѣлости самихъ Михаиловъ Михайловичей подойти къ народу и заставить слушать себя, и послѣдніе обращаются въ глазахъ крестьянъ въ какихъ-то гороховыхъ шутовъ и дойныхъ коровъ, а иногда во что нибудь и похуже,—въ это время единственнымъ умственнымъ руководителемъ народа является кулакъ. И вотъ опять передъ нами рушится цѣлый рядъ иллюзій и ходячихъ, рутинныхъ мнѣній относительно значенія въ деревнѣ кулака. Ужь не говоря о томъ, что община, въ которой, все «по правдѣ и по равненію», въ достаточной степени оскандализована однимъ появленіемъ въ деревенской жизни кулака, съ его стремленіемъ водворить въ деревнѣ новое крѣпостное право на экономическихъ началахъ,—самая роль кулака въ деревнѣ оказывается совсѣмъ не такою, какою она представляется въ глазахъ нашихъ питающихся иллюзіями теоретиковъ. Они смотрятъ на кулака, какъ на нѣчто выдѣлившееся изъ народной среды и разорвавшее съ нею живую органическую связь. Кулакъ является въ ихъ глазахъ паразитомъ, сосущимъ всѣ соки деревни, и не имѣющимъ никакихъ иныхъ отношеній къ ней. Какъ представитель индивидуализма, онъ по одному этому уже долженъ стоять въ антогонизмѣ съ общиннымъ сельскимъ міромъ, а какъ эксплуататоръ народнаго труда, онъ конечно ничего болѣе не способенъ возбуждать въ каждомъ мужикѣ кромѣ ожесточенной ненависти. И вдругъ въ дѣйствительности оказывается, что не только общинная деревня не находится ни въ малѣйшемъ антогонизмѣ съ кулакомъ, а напротивъ того, кулакъ является единственною умственною силою, воспитывающею деревню; онъ играетъ роль руководителя, совѣтника, и чуть не благодѣтеля деревни, какъ человѣкъ и съ деньгами, и со связями; имъ любуются и подъ часъ гордятся, какъ передовымъ талантливымъ представителемъ сельскаго міра.

«Мы охотно вѣримъ, говоритъ Гл. Успенскій (см. «Де-

ревенская неурядица» т. I стр. 130) въ дурное вліяніе на деревню массы пришлыхъ элементовъ, но никакимъ образомъ не можемъ ими объяснить деревенскаго кулачества, то есть выдѣленія среди деревенской массы личностей, эксплуатирующихъ массу. Бѣда именно въ томъ и состоитъ, что кулачество—явленіе не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а язва, органическій недугъ. Но самая горькая и обидная черта этого явленія заключается не собственно въ хищничествѣ, а въ томъ, что ничего другаго, хотя мало-мальски равнозначущаго, по разработкѣ и техникѣ, деревенская жизнь за послѣднее время не представляетъ. Есть ли что-либо хотя приблизительно такъ прочно усѣвшееся и усовершенствованное въ отношеніи, положимъ, самопомощи, какъ усовершенствовано кулачество? Существуетъ ли, словомъ, какое нибудь явленіе, прямо противуположное и имѣющее какое нибудь значеніе, пользующееся какимъ нибудь успѣхомъ? Говоря безпристрастно и не боясь нападокъ, мы должны сказать, что ничего подобнаго нѣтъ; напротивъ, что всего ужаснѣе, такъ это то, что въ кулачествѣ вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта. Посмотрите, сколько человѣку, вылившемуся въ кулака, надо передумать, сколько ему надо внимательности къ себѣ, къ другимъ, чтобы съ успѣхомъ дѣлать свое дѣло, какъ надо много знанія людей, характеровъ, вообще жизни. Подумавши объ этомъ серьезно, вы убѣдитесь, что для кулачества необходимо быть очень умнымъ и очень талантливымъ человѣкомъ. Иногда блещутъ въ дѣятельности кулаковъ подлинно геніальныя соособности, и въ то же время вы не можете не убѣдиться, что равносильнаго таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни въ чемъ другомъ, ни въ мірскихъ общинныхъ дѣлахъ, ни въ семейныхъ отношеніяхъ—не выразилось. Что же значитъ это явленіе? Отчего умъ и талантъ на первыхъ порахъ (что будетъ дальше, мы не предсказываемъ, такъ какъ говоримъ только о настоящей минутѣ деревенской жизни) пошли такимъ недобрымъ, непривѣтливымъ и раззорительнымъ для самого народа путемъ?»

«Замѣчательна, говоритъ авторъ ниже въ томъ же очеркѣ: въ біографіи всякаго такого человѣка еще слѣдующая небезъинтересная черта. Человѣкъ, какъ видите, вышелъ изъ

ненавистничества какъ къ барину, такъ и къ мужику. Кажется, и тому, и другому прямой разсчетъ сокрушить этого ненавистника, но на дѣлѣ же выходитъ иное. Баринъ, обитатель господской усадьбы, не сокрушаетъ его по тѣмъ соображеніямъ, по которымъ онъ не безъ злорадства иной разъ говоритъ себѣ: «По-о-смотримъ! Какъ-то вы на волѣ-то поживете! Какъ заберетъ въ руки какая-нибудь кулацкая морда—узнаете барина, да поздно будетъ!» Иной даже радуется, что такой-то нажалъ мужиковъ: «Такъ ихъ и надо! Отлично! Право, молодецъ:» И невольно чувствуетъ симпатію, конечно, все-таки считая нагрѣвателя канальею. Канальей его считаютъ и мужики, но развѣ они могутъ не поставить ему въ заслугу ловкости, съ которою онъ, напримѣръ ожегъ чемадуровскаго и балабаевскаго барина?.. «Ужь и развязная же только башка у шельмы!» Такимъ образомъ, при кличкахъ нарицательныхъ: «шельма», «плутъ», «пройдоха», «каналья» и т. д., тому же человѣку сопутствуютъ—и ничуть не въ меньшемъ количествѣ—и похвалы: «ловко!» «отлично!» «геніально оплелъ!» «молодчина!» и т. д.—похвалы, основанныя, какъ видите, ужь на уваженіи къ уму, таланту, дарованію. Это-то послѣднее уваженіе и есть кулацкая сила, въ ней-то и заключается гибельность кулацкаго вліянія: онъ держится настолько же хищничествомъ, насколько и нравственнымъ вліяніемъ на общественное сознаніе, которое, по множеству причинъ, не можетъ не считать его правымъ, умнымъ, а пожалуй, и почтеннымъ... Какая другая дорога для деревенскаго умнаго, энергическаго человѣка теперь? спрошу я и подожду отвѣта. Именно во имя сочувствія и даже, пожалуй, невозможности несочувствія кулацкой морали (имѣющей, какъ мы твердо вѣримъ, въ недалекомъ будущемъ пропитать рѣшительно всѣ сферы общества), сила кулака велика и у мужиковъ, и у баръ, и у начальства. Онъ всѣхъ знаетъ, онъ понимаетъ всѣ деревенскія отношенія, онъ можетъ отвѣчать всѣмъ и обо всемъ. Онъ поэтому и столбъ, и совѣтникъ. Ему же принадлежитъ первенствующая роль и въ деревенской дѣйствительности. Дѣянія кулака — самыя, крупныя и замѣтныя на деревенской улицѣ. Самая видная, самая понятная, самая новая мораль, выглядывающая изъ явленій современной деревенской улицы—мораль кулацкая. А такъ какъ подрастающее деревен-

ское поколѣніе, какъ и то, которое отживаетъ, учится жить и думать такъ, какъ учитъ дѣйствительность, улица, и такъ какъ противъ кулацкой морали ни откуда на деревенскую улицу не проникаетъ ничего, противодѣйствующаго ей, то мы, положа руку на сердце, рѣшительно не можемъ не сказать, что это поколѣніе воспитывается, главнымъ образомъ, только кулацкою моралью. Чистая дѣтская душа деревенскаго ребенка въ изобиліи принимаетъ впечатлѣнія, даваемыя кулацкою дѣйствительностью, и невольно, безъ протеста подчиняется ея морали».

Однимъ словомъ интеллигенція мало того, что не пользуется среди народа никакимъ довѣріемъ и является совершенно отъ него отстраненною, сверхъ того она принуждена созерцать въ нѣмомъ отчаяніи, какъ народъ воспитывается въ духѣ кулачества Колупаевыми, Разуваевыми, обирающими его до ниточки и тѣмъ не менѣе являющимися въ глазахъ его свѣтилами ума и таланта. Вотъ какой ужасъ раскрывается передъ нами при выходѣ нашемъ изъ абстрактнаго періода умственнаго движенія и при первомъ столкновеніи съ суровою дѣйствительностью. Это такой ужасъ, передъ которымъ блѣднѣютъ всѣ тѣ страхи, какихъ натерпѣлись люди прошлаго столѣтія, когда отрѣшились отъ своихъ буколическихъ фантазій. Эта трагедія, отъ исхода которой зависитъ существованіе не только интеллигенціи, но и самаго народа.

Наконецъ, Гл. Успенскій выступилъ съ очеркомъ «Власть земли» (От. Зап. 1882 г. № 1), въ которомъ съ новою энергіею набросился все на тѣже иллюзіи. По силѣ, яркости и глубинѣ захвата этотъ очеркъ нисколько не уступаетъ «Черной работѣ», «Невпривычку дѣло» и «Малымъ ребятамъ», и немудрено, что онъ возбудилъ сенсацію, ни чуть неменьшую, чѣмъ нѣкогда произвела «Черная работа». Опять послышались негодующія рѣчи, что Гл. Успенскій тянетъ въ руку реакціонерамъ, что его очеркъ ведетъ къ такому печальному выводу, будто чѣмъ хуже положеніе крестьянина, т. е. чѣмъ меньшимъ количествамъ земли онъ владѣетъ и большими налогами является обложенъ, тѣмъ онъ не только нравственнѣе, порядочнѣе, но и въ матеріальномъ отношеніи оказывается зажиточнѣе, и наоборотъ: малѣйшее улучшеніе благосостоянія ведетъ его къ лѣности, пьянству и полной деморализаціи. Посмотримъ же, на сколько по-

добный скандальный выводъ вытекаетъ изъ очерка Гл. Успенскаго.

На первый взглядъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ фактомъ, который въ свою очередь идетъ вопреки всѣмъ нашимъ табличкамъ умноженія. Героемъ очерка является крестьянинъ Иванъ Петровъ, который былъ нѣкогда трудолюбивымъ, нравственнымъ и зажиточнымъ мужикомъ, но потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего излѣнился, спился и обнищалъ до послѣдней степени. Послѣ долгихъ распросовъ автора, какъ это могло случиться, онъ добился отъ Ивана Петрова лишь одного объясненія, поставившаго автора въ полное недоумѣніе: именно, оказалось, что Иванъ Петровъ обнищалъ и спился ни отъ чего инаго, какъ отъ «воли», «отъ свободной жизни.»

«Такъ какъ, говоритъ авторъ: отвѣтъ этотъ ставитъ меня въ недоумѣніе и я рѣшительно не могу понять, почему «воля» можетъ губить человѣка, то Иванъ, чтобы разсѣять мое недоумѣніе и объясниться обстоятельнѣе, прибавляетъ:

— Отъ жизни отъ свободной... вотъ отъ чего!

— Что же это значитъ? спрашиваю я въ полномъ недоумѣніи.

— А то значитъ, какъ жилъ я на вокзалѣ, получалъ я тридцать пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, народу имѣлъ подъ начальствомъ десять человѣкъ, доходу мнѣ каждый Божій день съ вагону ужъ безпримѣрно рубъ серебра, а сочтите-ко, сколько въ зиму-то вагоновъ отправимъ? Ну, вотъ тутъ-то я значитъ и забаловалъ...

«Слово забаловалъ» до такой степени не подходитъ къ сорокалѣтнему мужественному, бородатому мужику, что не понимаешь даже, какъ онъ можетъ въ объясненіе своего поведенія употреблять такія выраженія, приличныя только развѣ малому ребенку. Но Иванъ не находилъ другаго болѣе точнаго выраженія.

— Вотъ и сталъ баловаться... При покойникѣ тятенькѣ, бывало, капли въ ротъ не бралъ. Убьетъ, если узнаетъ, на смерть уколотитъ своими руками... Да и послѣ тятеньки, когда ужъ оженился, своимъ хозяйствомъ сталъ жить, и то дозволялъ себѣ, когда угостятъ, да на праздникахъ, да иной разъ со скуки стаканчикъ... Все опасался, и покуда чего было, берегся... Ну, а ужъ тутъ, на вокзалѣ, какъ

стала мнѣ воля, стало мнѣ значить раздолье, сталъ я однимъ словомъ, коротко сказать—баринъ, тутъ-то я и пошелъ... Жрешь бывало цѣлые сутки, и все доверху не хватаетъ... Я какъ сейчасъ помню, съ чего началъ: у дорожнаго мастера Ивана Родіоныча именины были на Ивана Постнаго... Ну, онъ мнѣ и налилъ винограднаго стаканъ, портвинъ прозывается... Я какъ двинулъ его, понравилось... Я и давай!.. А тамъ и коньякъ, лимонадъ... Вотъ съ тѣхъ самыхъ поръ и завелъ въ себѣ язву. А отчего? Все отъ вина!.. Все отъ непривычки. . Отъ легкой жизни... Вотъ отчего!.. Бывало, денегъ полны карманы набью... Ну, и сталъ черезъ это самое вродѣ послѣдней свиньи»...

«Такимъ образомъ говоритъ авторъ: оказывается, что воля, свобода, легкое житье, обиліе денегъ, т. е. все то, что необходимо человѣку для того, чтобы устроиться, причиняетъ ему, напротивъ, крайнее разстройство, до того, что онъ дѣлается въ родѣ свиньи.»

Подобную несообразность со всѣми табличками умноженій авторъ и объясняетъ тѣмъ, что онъ называетъ «властью земли». «Тайна эта, говоритъ онъ:—по истинѣ, огромная, и думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ терпѣлива и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно сильна и дѣтски кротка, словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ власть земли, покуда въ самомъ корнѣ его существоанія лежитъ невозможность ослушанія ея повелѣній, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ его существованіе. У актера, который играетъ Мефистофеля или Демона, до тѣхъ поръ лицо будетъ казаться огненнымъ, покуда будетъ освѣщено огненнымъ свѣтомъ; нашъ народъ до тѣхъ поръ будетъ казаться такимъ, каковъ онъ есть, до тѣхъ поръ будетъ обладать тѣми драгоцѣнными качествами ума и сердца, словомъ, до тѣхъ поръ будетъ имѣть тотъ типъ и даже видъ, какой имѣетъ, пока онъ весь съ головы до ногъ и съ наружи до самаго нутра проникнутъ и освѣщенъ тепломъ и свѣтомъ, вѣющими на него отъ матери сырой земли. Погасите красивый фо-

нарь—и лицо Демона перестало быть красивымъ. Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобъ онъ забылъ «крестьянство»—и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустаго человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь... «Иди, куда хошь...»

Такимъ образомъ, вы видите, что не увеличеніе благосостоянія въ предѣлахъ крестьянскаго труда, т. е. не прибавленіе земли или уменьшеніе налоговъ сбило съ толку Ивана Петрова; его погубило то, что онъ отрѣшился отъ крестьянскаго труда, сошелъ съ земли на почву почти что даровой наживы. Но тутъ можетъ представиться вотъ какое возраженіе. Хотя Иванъ Петровъ и отрѣшился отъ крестьянскаго труда, но не на всю же жизнь; вѣдь онъ не порвалъ всѣхъ связей съ землею, продолжалъ принадлежать къ своему міру, за нимъ оставался прежній надѣлъ, и жена его, оставшаяся въ деревнѣ, поддерживала его хозяйство,—такъ что мѣсто на вокзалѣ имѣло характеръ временнаго отхожаго промысла, ничего въ сущности не измѣняя въ его жизни. Спрашивается теперь, отчего Иванъ Петровъ не воспользовался открывшеюся ему возможностью нажить не одну сотнягу денегъ для того, чтобы потомъ на скопленный избытокъ расширить свое хозяйство и зажить припѣваючи? Отчего не хватило у него на столько силы воли, чтобы удержаться отъ всякихъ искушеній и подумать о завтрашнемъ днѣ, вмѣсто того, чтобы ставить каждую копѣйку ребромъ? Вѣдь вотъ еврейчикъ Шнапъ, котораго авторъ ставитъ въ паралель Ивану Петрову, тотъ поступилъ совсѣмъ не такъ со своими заработками; «все онъ толкался въ разныхъ мѣстахъ и все на пустомъ наровилъ рублишко нажить. Тамъ барынь провожаетъ, тамъ мужику укажетъ, какъ и куда пройти... Ну, и даютъ кто рубль, кто гривенникъ... А онъ все прячетъ... все копитъ. — «На что, спрашиваютъ, копишь?» — «Карьеръ хочу дѣлать». — «Какой такой?» — «Деньги наживать!» — «Зачѣмъ?» — «Лавку открывать». — «А какъ откроешь?»—«Опять деньги наживать!»—«А какъ

наживешь?» — «Еще больше буду наживать! — «А какъ совсѣмъ уже много будетъ?» — «Опять буду еще больше стараться... Вотъ и гляди на него. — «Пойдемъ выпьемъ!» Нейдетъ! копѣйки не истратитъ.

Какъ ни предосудительно направлена энергія еврейчика Шнапа, во всякомъ случаѣ, мы видимъ здѣсь своего рода нравственный закалъ, силу воли, неуклонно направляющую человѣка къ заданной цѣли. Отъ чего же у Ивана Петрова ничего подобнаго мы не замѣчаемъ? Что за фатальная, мистическая сила пригвождаетъ его непремѣнно къ землѣ, и если земля не заставляетъ его тянуть неуклонную лямку, недоѣдать, не досыпать, изнуряться до послѣднихъ силъ, онъ сейчасъ же зазнается и теряетъ подъ ногами всякую нравственную почву? Или это не homo sapiens, а особенной породы животное, которое не въ состояніи существовать, не корпя надъ землею, подобно тому, какъ рыба дохнетъ, какъ только вы ее вынете изъ воды? Или это зависитъ отъ особенной рыхлости натуры славянскаго племени? И при чемъ же опять-таки остаются всѣ наши дорогія иллюзіи? Не мы ли въ противоположность тщедушному интеллигентному человѣку ставили этого богатыря, и физически, и нравственно закаленнаго въ борьбѣ со стихіями, и воображали, что для этого богатыря не существуетъ никакихъ такихъ искушеній, которые свертываютъ съ пути нашего брата, слабонервнаго, изнѣженнаго; гдѣ же и искать нравственной стойкости, предусмотрительности, желѣзнаго стоицизма, — какъ не въ этой натурѣ, скованной морозами трескучими и бѣдами лютыми? И вдругъ этотъ самый богатырь оказывается такою рваною тряпкою, что стоитъ только, чтобы ему перепалъ въ карманъ лишній гривенникъ, и онъ сейчасъ обращается въ какого-то забубеннаго бонъ-вивана, затыкаетъ за поясъ любого аристократа безумствомъ кутежей и мотовства и кончаетъ тѣмъ, что совсѣмъ сбивается со всякаго круга! Что сей сонъ значитъ?

Въ сущности же все это оттого именно и происходитъ, что вы имѣете здѣсь дѣло съ богатыремъ, не съ прямолинейнымъ абстрактнымъ богатыремъ вашихъ фантазій, а съ реальнымъ богатыремъ человѣкомъ. Вамъ ничего не стоитъ въ вашихъ иллюзіяхъ вообразить мужика такимъ героемъ, что суньте его въ огонь, онъ и въ огнѣ не сгоритъ, бросьте

въ воду—онъ въ водѣ не потонетъ. Въ дѣйствительности же, какой бы онъ ни былъ богатырь, а онъ все-таки человѣкъ, который и въ огнѣ горитъ, и въ водѣ тонетъ, и вообще подчиняется всѣмъ законамъ своей человѣческой природы. А между этими законами есть одинъ всемірный законъ, на который, къ сожалѣнію, обращаютъ очень мало вниманія, а между тѣмъ этотъ законъ участвуетъ во многихъ какъ частныхъ и незначительныхъ случаяхъ жизни, такъ и въ историческихъ событіяхъ первой важности. Закономъ этимъ объясняется и настоящій загадочный случай.

Дѣло вотъ въ чемъ: жизнь каждаго организма зависитъ отъ приспособленія къ окружающей средѣ. Это приспособленіе выражается въ борьбѣ съ различными внѣшними вліяніями. Успѣхъ или неуспѣхъ борьбы обусловлены тѣмъ, удастся ли организму накопить въ себѣ столько мускульныхъ и нервныхъ силъ, чтобы быть въ состояніи выдерживать борьбу. Если количество этихъ силъ уравновѣшивается съ силами внѣшнихъ вліяній или превышаетъ послѣднія, тогда мы и говоримъ про такой организмъ, что онъ приспособился, жизнъ его обезпечена. Представьте же себѣ такой случай, что данный организмъ вполнѣ приспособился къ выдерживаемой имъ борьбѣ, накопилъ въ себѣ столько силъ, сколько ихъ нужно для этого, и силы эти содержатся въ одномъ и томъ же котичествѣ, какъ вдругъ борьба эта сразу прекращается. Что тогда должно произойти? Очевидно, въ организмѣ получится избытокъ силъ, ненаходящихъ никакого приложенія. Если бы нашъ организмъ имѣлъ способность внезапно измѣняться во всѣхъ своихъ какъ формахъ, какъ и функціяхъ, тогда, конечно, ничего не стоило бы ему тотчасъ же уменьшить выработку силъ, теперь совсѣмъ излишнихъ и такимъ образомъ приспособиться къ новымъ условіямъ жизни. Но, къ сожалѣнію, организмъ нашъ лишенъ подобной возможности быстрыхъ превращеній; онъ подчиняется силѣ привычки, своего рода инерціи во всѣхъ своихъ отправленіяхъ; къ тому же выработка извѣстнаго количества силъ въ продолжительное время на столько развиваетъ органы, что они не могутъ по самой своей конструкціи уменьшить эту выработку. И вотъ мы видимъ, что эти излишнія силы, накапливаясь въ организмѣ, производятъ въ немъ различныя и матеріальныя, и нравственныя пертурба-

ціи. Смотря по темпераменту и условіямъ жизни организма, ему въ такомъ случаѣ угрожаютъ ожиреніе, различнаго рода гипертрофіи, или душевные недуги, въ родѣ сплина, запоя, жажды широкаго и необузданнаго разгула, противъ которой безсильна оказывается самая желѣзная воля. Этимъ только и можно объяснить многіе загадочные случаи и въ частной, и въ общественной жизни. Не однимъ только Иванамъ Петровымъ, находящимся подъ властью земли, а людямъ всѣхъ слоевъ общества и всякихъ профессій угрожаетъ одно и тоже: мы часто, по крайней мѣрѣ, встрѣчаемъ, что живетъ какой нибудь труженикъ воздержанно, аккуратно; но стоитъ ему сойти съ почвы привычнаго труда и окунуться въ сферу легкой наживы или внезапно получить наслѣдство, у него закруживается, что называется, голова, и онъ теряетъ всякую власть надъ собою. Вотъ почему люди внезапно обогатившіеся, гораздо чаще прокучиваютъ свои капиталы, чѣмъ тѣ, которые съ этими капиталами родились. И въ этомъ отношеніи естественно, что чѣмъ упорнѣе была предшествовавшая борьба съ условіями жизни и чѣмъ большаго напряженія силъ требовалъ трудъ, тѣмъ сильнѣе долженъ быть размахъ освободившихся силъ. Если даже и Акакію Акакіевичу при томъ ничтожномъ напряженіи нервовъ, съ которымъ соединяется механическая канцелярская работа, не обходится даромъ внезапное почитіе на лаврахъ, то чего же мы можемъ ожидать отъ Ивана Петрова при той гигантской борьбѣ со всѣми силами природы, какою обусловливается крестьянская жизнь.

Я уже сказалъ выше, что тотъ же самый вамый законъ присутствуетъ и во многихъ крупныхъ историческихъ фак-кахъ. И дѣйствительно, чѣмъ же, какъ не этимъ закономъ, объясните, что аристократическія сословія Западной Европы, отличавшіеся суровыми и строгими нравами въ средніе вѣка, когда значительное количество мускульныхъ и нервныхъ силъ этихъ сословій тратилось на непрестанныя войны, вдругъ сразу деморализовались и предались необузданному разгулу послѣ того, какъ изъ воинственныхъ феодаловъ они превратились въ праздныхъ придворныхъ? Тоже самое мы встрѣчаемъ во многихъ религіозныхъ сектахъ, которымъ изъ воинствующихъ, гонимыхъ удавалось сдѣлаться господствующими: весь тотъ нравственный закалъ, доходящій до аскетическаго

энтузіазма, который составлялъ ихъ главное достоинство, сразу исчезалъ и замѣнялся полною деморализаціей. Но не всегда «освободившіяся силы» ведутъ къ деморализаціи. Они могутъ имѣть иные исходы, еще болѣе роковые и грозные. Ивану Петрову легко было предаться разгулу, потому что онъ былъ выведенъ изъ-подъ власти земли на поле даровой наживы. Представьте же вы теперь, что онъ былъ бы устраненъ съ своей земли и затѣмъ предоставленъ на жертву бездомнаго скитанія: «иди, куда хошь!..» и предположите, что такой участи былъ бы предоставленъ не одинъ Иванъ Петровъ, а цѣлые ихъ тысячи и милліоны. Подумайте, какой исходъ могъ бы имѣть этотъ цѣлый океанъ «освободившихся силъ», и что могло бы остановить и сдержать въ предѣлахъ этотъ страшный океанъ? Вотъ этимъ только и можно объяснить, почему рабочіе массы, какъ напримѣръ, на Западѣ фабричный пролетаріатъ, не смотря на всѣ экономическіе тиски, по цѣлымъ десяткамъ и сотнямъ лѣтъ безропотно переносятъ самое ужасное существованіе. Но вдругъ разражается какой нибудь экономическій или политическій кризисъ, сразу огромное количество силъ, до того времени занятыхъ ежедневною работою, освобождается, и происходитъ тогда стихійный взрывъ, сдержать который не въ состояніи оказываются вооруженныя арміи, какъ это было напримѣръ, въ 1848 году въ Парижѣ. Вотъ въ этомъ отношеніи мы можемъ смѣло завѣрить публицистовъ, которыя толкуютъ нынѣ о «разнузданіи звѣря»: пусть они успокоются и будутъ увѣрены, что никакія патріотическіе кличи мракобѣснующихся газетъ съ одной стороны, никакія пропаганды съ другой—не въ состояніи «разнуздать звѣря», если къ нимъ не придутъ на помощь тѣ мудрые ревнители народнаго блага, которые мечтаютъ основать благосостояніе и могущество Россіи на быстромъ обезземеліи крестьянъ. Только это обезземеленіе, если не будетъ принято противъ него самыхъ энергическихъ мѣръ, и можетъ произвести то, чего совершенно справедливо опасаются господа публицисты, произвести неминуемо, неудержимо, не смотря ни на какія предупредительныя мѣры.

Теперь въ концѣ концовъ и подумайте, слѣдуетъ ли изъ очерка Гл. Успенскаго такой выводъ, что, будто бы, чѣмъ крестьянамъ хуже живется, т. е. чѣмъ у нихъ меньше зем-

ли и большими налогами они обложены, — тѣмъ они нравственнѣе и порядочнѣе? Напротивъ того, что же и ведетъ къ тому, что Иваны Петровы бросаютъ свои земли и хозяйства и идутъ искать на вокзалахъ легкаго заработка, какъ не малоземеліе и излишнее обремененіе налогами? Развѣ ушелъ бы Иванъ Петровъ на вокзалъ, если бы земли у него было вдоволь и домъ его былъ бы полною чашею? Отъ добра добра не ищутъ. И очеркъ Гл. Успенскаго представляетъ совершенно противоположное доказательство: именно, что деморализація Ивановъ Петровыхъ зависитъ отъ неустройства и скудости деревенской жизни. Власть земли перестаетъ быть властью, разъ такъ этой земли мало и такъ она скудна, что ею нельзя прокормиться. Вотъ къ какимъ суровотрезвымъ, но глубоко истиннымъ взглядамъ ведетъ прямой взглядъ на дѣло безъ всякихъ предвзятыхъ иллюзій. И нѣтъ никакихъ сомнѣній, что въ этихъ взглядахъ, хотя и не льстящихъ народу, таится гораздо болѣе любви къ мужику, чѣмъ во всѣхъ его идеализаціяхъ, а что взгляды эти могутъ принести неизмѣримо большую пользу и для народа, и для интеллигенціи — объ этомъ не можетъ быть и рѣчи.

1882 г.

НОВЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ ДЕРЕВНИ.

НОВЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ ДЕРЕВНИ.

„Власть земли“ Очерки Гл. Успенскаго. — Сочиненія Златовратскаго, т. II, „Устои, исторія одной деревни“, повѣсть въ четырехъ частяхъ.

I.

Съ тѣхъ поръ, какъ Гл. Успенскій и Н. Златовратскій обратили на себя всеобщее вниманіе, какъ двѣ крупнѣйшія силы въ беллетристикѣ 60-хъ годовъ, между ними постоянно усматривался взаимный антагонизмъ, какъ бы два противоположные полюса воззрѣній на народъ, отрицательный — съ одной стороны, положительный — съ другой. Во многихъ мѣстахъ произведеній этихъ писателей подозрѣвали даже тайную, замаскированную полемику, которую будто бы они вели между собою, не рѣшаясь по разнымъ обстоятельствамъ открыто выступать другъ противъ друга. Даже и читатели ихъ раздѣлились на два лагеря: поклонниковъ Гл. Успенскаго и Н. Златовратскаго при чемъ первые обвиняли г. Златовратскаго въ идеализаціи народа и сентиментальности, а вторые заподозрѣвали Гл. Успенскаговъ чемъ-то въ родѣ скрытаго крѣпостничества.

Правда, писатели эти рѣзко отличаются одинъ отъ другаго. Но отличіе это далеко не такъ существенно, какъ это кажется. Оно не простирается далѣе художественныхъ физіономій этихъ двухъ писателей. Въ то время, какъ преобладающею силою таланта Гл. Успенскаго является юморъ, смѣхъ, безпощадно разбивающій всѣ ваши иллюзіи, Н. Златовратскій хоть бы разъ улыбнулся: скорбитъ или радуется,

онъ постоянно находится въ одномъ и томъ же нѣсколько восторженномъ настроеніи, которое порою доходитъ у него до эпическаго паѳоса, такъ что даже и слогъ его принимаетъ стихотворный размѣръ, что-то какъ будто въ родѣ гекзаметра. Художественный элементъ преобладаетъ у Н. Златовратскаго. Онъ рѣдко вдается въ разсужденія, говоритъ и доказываетъ преимущественно образами; любитъ при этомъ изображать деревенскую природу и въ своихъ ландшафтахъ отличается не малымъ мастерствомъ. Гл. Успенскій является постоянно критикомъ своихъ собственныхъ произведеній, и на подстранички художественныхъ изображеній вы навѣрно найдете у него страницъ пять, а то и десять публицистическихъ разсужденій по поводу этихъ изображеній. Въ то же время какихъ-либо ландшафтовъ и художественныхъ аксессуарсовъ у Гл. Успенскаго вы не ищите; въ этомъ отношеніи онъ самый строгій ригористъ, какіе когда-либо бывали въ беллетристикѣ.

Все это различія безъ сомнѣнія не маловажныя, и рѣзко бросаясь въ глаза, они именно и придаютъ этимъ писателямъ видъ двухъ противуположностей. Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ, если вы вглядитесь пристальнѣе въ содержаніе ихъ произведеній, отъ всего этого антагонизма не останется въ вашемъ представленіи почти ни малѣйшаго слѣда, и вы придете къ убѣжденію, что и представляемые этими писателями факты народной жизни, и воззрѣнія ихъ на эти факты почти тождественны. И это очень понятно. Какъ бы ни были различны Гл. Успенскій и Златовратскій по своимъ художественнымъ темпераментамъ, оба они представляются одинаково добросовѣстными наблюдателями и оба наблюдаютъ одинъ и тотъ же предметъ — народную деревенскую жизнь; понятно, что и видѣть въ этой народной жизни они должны одни и тѣ же явленія. А такъ какъ оба они люди одного вѣка, одного образованія, то и воззрѣнія ихъ на эти явленія не могутъ представлять существенной разницы.

Чтобы вполнѣ удостовѣриться въ этомъ, возьмемъ «Власть земли» Гл. Успенскаго и нѣкоторые другіе соприкасающіеся съ нею очерки его, а съ другой стороны «Устои» Н. Златовратскаго, какъ произведеніе, наиболѣе полно и всесторонне выражающее воззрѣнія автора на народную жизнь.

II.

По мнѣнію Гл. Успенскаго, быть и нравственность крестьянина опредѣляются не какими-либо отвлеченными идеями, выработанными разумомъ и сознательно проводимыми въ жизнь, а стихійными силами природы, тяготѣющими надъ крестьянскимъ трудомъ и опредѣляющими всю его жизнь и все его міросозерцаніе. Это и есть то, что называетъ Гл. Успенскій *властію земли*.

«Тайна эта,—говоритъ Гл. Успенскій,—по истинѣ огромная, и думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа со тѣхъ поръ и терпѣлива, и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно сильна и дѣтски кротка, словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за искупленіемъ душевныхъ мукъ—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ *власть земли*, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ *невозможность* ослушанія ея *повелѣній*, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ его существованіе... Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобы онъ забылъ «крестьянство», и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустаго человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь. «Иди, куда хошь»...

«У земледѣльца, говоритъ ниже Гл. Успенскій, нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣтъ совѣсти, которые бы принадлежали не землѣ. Онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону изъ-подъ этого ига власти, что когда ему говорятъ: «Чего ты хочешь—тюрьмы или розогъ?», то онъ всегда предпочитаетъ быть высѣченнымъ, предпочитаетъ перенести физическую муку, чтобъ только сейчасъ же быть свободнымъ, потому что хозяинъ его, земля, не дожидается: нужно косить, сѣно нужно для скотины, скотина нужна для

земли. И вотъ въ этой-то ежеминутной зависимости, въ этой-то массѣ тяготы, подъ которой человѣкъ самъ по себѣ не можетъ и пошевелиться, — тутъ-то и лежитъ та необыкновенная *легкость* существованія, благодаря которой Селяниновичъ могъ сказать: «меня любитъ мать сыра земля». И точно любитъ: она забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣликомъ, но за то *онъ и не отвѣчаетъ* ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ *велитъ* его хозяйка земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человѣка, который увелъ у него лошадь—и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступать къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти — онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену—невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ. Словомъ, если только онъ слушаетъ того, что велитъ ему земля, онъ ни въ чемъ невиновенъ; а главное, какое счастіе не выдумывать себѣ жизни, не разыскивать себѣ интересовъ и ощущеній, когда они сами приходятъ къ тебѣ каждый день, едва только открылъ глаза! Дождь на дворѣ—долженъ сидѣть дома, вёдро—долженъ идти косить, жать и т. д. Ни за что *не отвѣчая*, ничего *не придумывая*, человѣкъ живетъ только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращенное въ ежеминутный трудъ, и образуетъ *жизнь*, не имѣющую, повидимому, никакого результата (что выработаютъ, то и съѣдятъ), но имѣющую результатъ именно въ самой себѣ. Для чего растетъ этотъ дубъ? какая ему польза сто лѣтъ тянуть изъ земли соки? Что ему за интересъ каждый годъ покрываться листьями, потомъ терять ихъ и, въ концѣ концовъ, кормить желудями свиней? Вся польза и интересъ жизни этого дуба именно въ томъ и заключается, что онъ *просто растетъ*, просто зеленѣетъ, такъ, самъ не зная, зачѣмъ. То же самое и жизнь крестьянина-земледѣльца: вѣковѣчный трудъ—это и есть жизнь и интересъ жизни, а результатъ—ноль»,

Но не только крестьянинъ въ своей личной семейной жизни, приравнивается Гл. Успенскимъ къ типу чисто растительной жизни, но и общественная жизнь его оказывается созданною не имъ самимъ, а тою же властію земли.

«Если вы поймаете галку, говоритъ Пигасовъ въ разсказѣ «Безъ своей воли»,—и разсмотрите всю ея организацію, то вы поразитесь, какъ она удивительно умно устроена, какъ много ума пожено въ ея организацію, какъ все соразмѣрено, пригнано одно къ одному, нѣтъ нигдѣ ни лишняго пера, ни угла, ни линіи ненужной, негармоничной и не строго обдуманной. Но чей тутъ дѣйствовалъ умъ? Чья воля? Неужели вы все это припишете галкѣ? Вѣдь тогда любая галка — геніальнѣйшее существо, необъятный умъ? Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ... А между тѣмъ, эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ... Неисповѣдимыми путями предуказано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаетъ «пучить», и, въ концѣ-концовъ, получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ милліоны разъ умнѣе и лучше, и талантливѣе выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строеніе, безъ собственнаго ума, а такъ... И народная жизнь, въ огромномъ большинствѣ самыхъ величественнѣйшихъ явленій, удивительна, гармоничка, красива, *просто такъ*».

Общественные порядки, поражающіе изслѣдователей въ крестьянскомъ бытѣ, Гл. Успенскій усматриваетъ и въ рыбьемъ царствѣ:

«Даже у стерлядей,—говоритъ онъ во «Власти земли»,—по свидѣтельству рыболововъ, существуютъ «десятки», которые посылаются стерлядинымъ обществомъ искать мѣста для метанія икры. Волжская рыба—сазанъ, тоже живущая своими сельскими обществами, имѣетъ выборныхъ, и ходоковъ, и депутатовъ; они обыкновенно идутъ впереди «общества» и, подойдя къ заколу, которые ставятъ рыбники поперекъ рѣкъ, начинаютъ пробовать крѣпость его носомъ, потомъ налетаютъ бокомъ, потомъ пробуютъ перепрыгнуть; когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладываютъ обществу; мірской сазаній сходъ съ страшной стре-

мительностью устремляется на заколъ и ударяетъ въ него всѣмъ своимъ коллективнымъ рыломъ. Многіе погибаютъ на смерть, а другіе проскальзываютъ въ брешь и спасаются»...

Однимъ словомъ, и въ общественномъ отношеніи крестьянскій міръ, то, что̀ называется «община», представляетъ собою чисто зоологическій типъ, нѣчто въ родѣ пчелинаго улья или муравейника.

Безъ сомнѣнія подобное отрицаніе сознанія, воли, ума въ крестьянской жизни должно быть принято условно. Слѣпое повиновеніе власти земли не отрицаетъ, конечно, и дѣйствія ума въ извѣстномъ районѣ. Выборъ въ жены хорошей работницы, равно какъ и выборъ хорошаго дерева для рубки, удачная покупка, ловкій торговый оборотъ при продажѣ овса и т. п.—все это требуетъ соображенія, воли. Наконецъ для того, чтобы подчиниться власти земли, необходимо было и самую землю подчинить своей власти: выдумать соху, борону, топоръ, приручить животныхъ и т. п. Но и во всѣхъ этихъ несомнѣнныхъ дѣйствіяхъ человѣческаго разума мы видимъ все-таки два обстоятельства: во-первыхъ, работа крестьянскаго ума и возбуждается, и направляется исключительно властью земли, поглощается ею до такой степени, что внѣ района земледѣльческаго труда, умъ совершенно отказывается отъ всякой работы, и здѣсь для крестьянина наступаетъ царство ночнаго мрака и безсознательности. А во-вторыхъ, что самое главное, въ крестьянскомъ мірѣ традиціонный умъ рѣшительно преобладаетъ надъ личнымъ. Не говоря уже о сложныхъ отношеніяхъ общественныхъ порядковъ, даже и такія элементарныя орудія земледѣльческаго труда, какъ соха, борона, топоръ были изобрѣтены не творческимъ умомъ отдѣльныхъ личностей, а въ теченіе многихъ вѣковъ традиціонной работой тысячъ поколѣній. Традиціонный умъ стремится подчинить въ сельскомъ мірѣ умъ личный не только въ общемъ строѣ быта, но и въ отдѣльныхъ случаяхъ жизни въ родѣ, напримѣръ эпидеміи, падежа, пожара и т. п. Пріѣзжаетъ въ село новое начальство съ новыми требованіями, проводится по сосѣдству чугунка,—и тутъ крестьянинъ, прежде, чѣмъ пустить въ ходъ творчество личнаго ума, ищетъ указаній въ традиціяхъ, въ какомъ-либо аналогическомъ примѣрѣ отцовъ и дѣдовъ.

Вотъ это то преобладаніе традиціоннаго ума и сбиваетъ

съ толку наблюдателей народной жизни. Вѣдь традиціонный умъ все-таки тотъ же человѣческій разумъ, да еще собирательный, массовый, непрестанно дѣйствовавшій въ теченіе вѣковъ. Умъ этотъ отражается въ сознаніи каждаго крестьянина. Мужикъ *сознаетъ*, *разсуждаетъ*, что поступать такъ, а не иначе, дѣлить, напримѣръ, поля по равненію, пристроить сироту въ чужую семью, идти міромъ на помочь ко вдовѣ—значитъ поступать по-Божески, какъ съ поконъ вѣковъ поступали отцы и дѣды; но сознавать не значитъ творить, выдумывать что-либо новое, а сознаніе крестьянина не идетъ далѣе слѣпаго повиновенія традиціи. Традиція же рядомъ съ такими прекрасными вещами, какъ равненія, помочи и т. п. внушаетъ крестьянину и звѣрскіе поступки въ родѣ убійства конокрада, насильственнаго брака по хозяйственнымъ разсчетамъ и т. п. Въ концѣ-концовъ и выходитъ, что крестьянинъ какъ будто и разсуждаетъ, а какъ будто и совсѣмъ не разсуждаетъ, а только слѣпо повинуется. Подобное же преобладаніе традиціоннаго ума дѣлаетъ крестьянскій міръ еще болѣе похожимъ на улей или муравейникъ, гдѣ производятся поразительныя вещи, въ свою очередь однимъ слѣпымъ повиновеніемъ традиціоннымъ инстинктамъ.

И нельзя сказать, чтобы, констатируя подобные факты, Гл. Успенскій открывалъ намъ новую Америку. Вѣдь что такое представляетъ собою наша крестьянская община? Это сохранившійся типъ первобытнаго общества. Исторія свидѣтельствуетъ намъ, что всѣ народы начинали съ общиннаго быта. Но этого мало: у всѣхъ народовъ, въ началѣ ихъ исторіи, мы видимъ преобладаніе традиціоннаго ума надъ личнымъ. У всѣхъ народовъ сохраняются миѳы о золотомъ вѣкѣ, когда человѣкъ былъ чистъ и невиненъ душою, ни о чемъ не заботился, а только слѣпо и кротко повиновался завѣтамъ отцовъ и дѣдовъ; не было тогда на землѣ ни ссоръ, ни кровопролитій; всѣ люди соединялись въ общемъ союзѣ мира, любви и гармоническаго согласія. Замѣчательно, что рядомъ съ такими преданіями существуютъ другія, совершенно противуположныя, которыя рисуютъ намъ этихъ самыхъ ангеловъ золотаго вѣка хищными, звѣроподобными, кровожадными титанами, окруженными легендарными чудовищами, и въ свою очередь похожими на этихъ чудовищъ. При всей

своей противуположности, подобные миѳы одинаково справедливы, основываясь на памяти народовъ о тѣхъ временахъ, когда человѣкъ, слѣпо повинуясь веленіямъ природы и традиціи, подобно крестьянину Гл. Успенскаго совершалъ въ одно и тоже время и высокіе подвиги любви и братства, и безчеловѣчныя злодѣйства, былъ и ангеломъ золотаго вѣка, и звѣремъ эпохи титановъ.

Освобожденіе личнаго ума изъ-подъ ига традиціи, появленіе на сцену героя и своевольнаго человѣка,—и есть то, что въ миѳахъ представляется въ видѣ паденія золотаго вѣка. Какъ только дерзкій умъ человѣка возмутился противъ завѣтовъ старины, первобытная гармонія золотаго вѣка рушилась, начались смуты, кровопролитія, порабощенія. Однимъ словомъ началась *исторія*, но вмѣстѣ съ тѣмъ началось и смягченіе нравовъ—*цивилизація*; люди перестали быть ангелами золотаго вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ перестаютъ быть и звѣрями.

III.

Теперь обратимся къ «Устоямъ» г. Златовратскаго. Здѣсь передъ нами исторія одной крестьянской общины:—«Волчьяго поселка». Основателемъ ея является Мосей Волкъ, мужикъ, по словамъ автора «идейный», у котораго вся жизнь была осуществленіемъ «идеи», и пока онъ ее не выполнилъ, онъ не успокоился. Что же это была за идея? А заключалась она въ томъ, что влюбился Мосей въ молодую, веселую, березовую барскую рощу на спускѣ рѣчки и упросилъ барина поставить его въ сторожа къ рощѣ. Когда же онъ «узналъ, что баринъ хочетъ продать рощу, загрустилъ, упалъ на колѣни передъ бариномъ и сталъ просить отпустить его на сторону», съ тѣмъ, что черезъ пять лѣтъ онъ вернется и купитъ рощу. Черезъ пять лѣтъ вернулся: сапоги кувшинные, на плечахъ сибирка, бурмистръ его въ передній уголъ садитъ. Гдѣ пропадалъ, откуда и какъ нажилъ денегъ, чтобъ заплатить барину за рощу, Мосей не любилъ разсказывать.

Безспорно эта была «идея», но идея вполнѣ крестьянская, въ духѣ все той же «власти земли». Сколько было потрачено энергіи, принято грѣха на душу,—и все это изъ-

за березовой рощицы. Развѣ это не тотъ же мужикъ Гл. Успенскаго, готовый съ мужествомъ Муція Сцеволы перенести всяческое истязаніе, лишь бы сѣно было во время скошено? Это идея пчелиной матки, которая въ выборѣ излюбленнаго мѣстечка для улья безъ сомнѣнія въ свою очередь руководствуется своими утилитарными и эстетическими соображеніями. Движимые наслѣдственными инстинктами, животныя вьютъ гнѣзда, ни мало не размышляя, что мѣсто поселенія можетъ быть эксплуатировано другимъ существомъ въ иныхъ цѣляхъ: пчелы устраиваютъ въ дуплѣ стараго дерева улей, не подозрѣвая, что придетъ лѣсникъ и срубитъ это самое дерево. Не лучше поступилъ и Мосей съ своей излюбленной рощицей. Онъ заплатилъ за нее барину деньги и вообразилъ, что этимъ дѣло и покончено; ему и въ голову не пришло, что при крѣпостномъ правѣ крестьянинъ не имѣлъ права купить ни пяди земли у своего барина, такъ какъ и самъ онъ, и вся земля принадлежали помѣщику. Понятно, что послѣ воли излюбленная рощица снова оказалась барскою. Положимъ, что старый баринъ былъ человѣкъ честный и добрый, помнилъ совершенную продажу и не хотѣлъ обижать мужика, но совсѣмъ другое пошло, когда пріѣхала въ имѣніе барыня совсѣмъ другаго закала.

Въ незапамятныя времена, когда много земли, никому не принадлежавшей, лежало впустѣ, общины выдѣлялись одна изъ другой такимъ же естественнымъ путемъ, какъ и пчелиные ульи. Переполнится община отъ нароста населенія, сдѣлается тѣсно, являются выселки, и изъ нихъ образуются новыя общины. Такъ образовался и «Волчій поселокъ». Купивши у барина землю, Мосей ушелъ въ свою излюбленную рощицу, построилъ въ ней малую избу; близъ этой малой избы запустилъ улья, пригласилъ къ себѣ ходить за пчелами старую бобылку «Ѳеклушу» и «ушелъ отъ жизни», «отрѣшился». Семью же свою, состоявшую изъ трехъ женатыхъ сыновей и дочери, оставилъ въ «Дергачахъ» на прежнемъ положеніи, сдѣлавши своимъ сыновьямъ заказъ «не только проситься, ниже помышлять объ отходѣ въ столицы, пока Господь Богъ грѣхамъ терпитъ и голодомъ не гонитъ», потому что въ столицахъ «грѣха много». Затѣмъ Мосей, вѣрный своимъ общиннымъ инстинктамъ, явился въ Дергачи на сходъ и заявилъ, что часть пріоб-

рѣтенной имъ, вмѣстѣ съ рощей, въ пустошахъ пустопорожней земли, прилегавшей къ деревнѣ, онъ отдаетъ въ пользованіе міру, который въ землѣ нуждается, а ему съ ней дѣлать нечего,—и при первомъ же передѣлѣ Мосей самъ сдѣлалъ на свою землю жеребьи и вмѣстѣ съ другими вынулъ жеребій для своихъ сыновей.

Но вотъ, въ настоящемъ случаѣ не путемъ естественнаго прироста населенія, а вслѣдствіе внѣшнихъ обстоятельствъ, дергачевская община оказалась въ стѣсненномъ положеніи. Пріѣхала, какъ мы выше говорили, барыня, затѣмъ землемѣръ и, при помощи исправника, ввели въ отношеніи мужиковъ къ барину «порядокъ» и опредѣленность, которые сразу заявили себя передъ дергачевцами повышеніемъ податей и урѣзаніемъ пользованія землею до $1^1|_2$ дес. надѣла, въ который оказался врѣзаннымъ даже одинъ клочекъ земли, уступленный Мосеемъ общинѣ. Когда дергачевцы протестовали противъ послѣдняго обстоятельства, имъ сказали, что земля эта барская, такъ какъ Мосей, во время крѣпостнаго права, не смѣлъ покупать землю на свое имя. Дергачевцы только крякнули, а Мосей и совсѣмъ боялся слово пикнуть, чтобы и послѣднюю землю съ рощей не взяли. Между тѣмъ къ этому времени семья Мосея Волка «набрала въ себя большую силу»: съ самимъ Мосеемъ она считала уже 10 душъ,—5 мужскаго и 5 женскаго пола. Такая огромная семья должна была, конечно, поглощать значительную долю общественныхъ земельныхъ жеребьевъ. Такъ или иначе, нужно было выселиться. Первымъ дѣломъ предстояла настоятельнѣйшая необходимость поскорѣе «осѣсть» на свою землю, чтобы хотя фактомъ заселенія укрѣпить ее за собой; а вторымъ дѣломъ, односельцы прямо заявили Мосею, что «какъ-никакъ, а тебѣ съ семьей въ собственники идтить надоть, потому у васъ земля есть своя, а у міра и безъ васъ дѣлать нечего,—разсуди по-божьи».

И вотъ переселился Мосей въ свою излюбленную рощицу со всѣми своими чадами и домочадцами. Вокругъ этой семьи, поселившейся въ четырехъ избахъ, какъ вокругъ ядра или сердцевины, и начала мало-по-малу наростать новая община, подобно тому, какъ наростали подобныя общины и въ стародавнія времена. Первымъ дѣломъ дерга-

чевскій міръ упросилъ Мосея дозволить переселить на его землю мужика Сатира Криваго.

За Сатиромъ Кривымъ, и полгода не прошло, дергачевскій міръ опять билъ челомъ Мосею, чтобъ онъ взялъ на свою землю вдову солдатку Сиклетею съ безчисленнымъ количествомъ дѣтей. За солдаткой Сиклетеей такимъ же порядкомъ былъ переселенъ въ Волчій поселокъ старый, сгорбленный заштатный пономарь Ѳеотимычъ. Затѣмъ самъ-собою пришелъ и поселился неизвѣстный, безродный человѣкъ, Иванъ Забытый. И вотъ такимъ образомъ создалась община, и потекла въ ней та тихая, спокойная, зоологическая жизнь, какая испоконъ вѣковъ текла въ деревенскихъ общинахъ, началась идиллія золотаго вѣка, заставившая дергачевскаго старосту воскликнуть:

— О, дуй васъ горой! Что это у васъ за жизнь въ выселкѣ! Ей-Богу! Кажись, только денекъ пожилъ бы, тутъ бы и умеръ отъ удовольствія!.. Да ежели здѣсь недовольство можетъ быть, такъ ужъ это, выходитъ, Господа Бога въ конецъ изобличать!.. Да тутъ, други мои, до скончанія вѣка, надъ вами благодать Господня ненарушимо будетъ!..

Но, увы, эпоха золотаго вѣка давно минула, и аркадская идиллія, въ родѣ той, какую представлялъ собою «Волчій поселокъ», возможна нынѣ лишь какъ мимолетный призракъ, какъ мелькнувшее на одно мгновеніе воспоминаніе о временахъ давно минувшихъ и безвозвратно канувшихъ въ вѣчность. «Какъ ни привлекательна была, говоритъ Златовратскій: фантазія Макридія Сафроновича, тѣмъ не менѣе, когда прошелъ порывъ всеобщаго «благодушія», всѣ какъ-то еще яснѣе почувствовали, что на мирную жизнь поселка наплываетъ что-то «новое», что-то «чуждое». Въ чемъ состоитъ это «новое», опредѣлительно сказать никто бы не могъ; только чувствовалось, что въ жизни мужика не бываетъ идиллій, что суровая мужицкая судьба не преминетъ заявить о себѣ.

IV.

Это «новое», «чужое», начавшее наплывать на мирную жизнь поселка, является ни чѣмъ инымъ, какъ именно про-

бужденіемъ личности человѣческой, стремленіемъ ея освободиться отъ традиціонно-стихійнаго прозябанія, однимъ словомъ, здѣсь мы видимъ то же самое явленіе, какое характеризуетъ собою паденіе всѣхъ золотыхъ вѣковъ, какіе только бывали въ исторіи.

Начать съ того, что вся эта идиллія только и могла имѣть мѣсто въ тѣ незапамятныя времена, когда земли было много, а людей мало, и дергачевцамъ ничего не стоило выселять на новыя мѣста всѣхъ несостоятельныхъ членовъ общества въ родѣ Сатировъ кривыхъ или Сиклетей. Но и въ тѣ времена, стоило произойти какой нибудь неурядицѣ, бѣдствію въ родѣ пожара, голода или падежа, или личному несчастію въ родѣ болѣзни и смерти большака въ страдную пору,—и гармонія нарушалась—являлось неравенство,—съ одной стороны голытьба, обнищалые, отбившіеся отъ ржанаго поля бобыли, съ другой—богачи міроѣды. Правда, въ то время люди богатѣли и бѣднѣли только отъ земли и землею, какъ выражается Гл. Успенскій въ своей «Власти земли». Счастье, такая то удача, равно и неудача были земледѣльческія, понятно было богатство, понятна бѣдность, и никто ни передъ кѣмъ не былъ виноватъ. Но и тогда уже люди разбогатѣвшіе выдѣлялись изъ темной массы, какъ представители умственной силы, старались жить своимъ умомъ, не только не подчиняясь міру съ его зоологической традиціей, но сами при случаѣ пытаясь подчинить міръ своей непреклонной волѣ; и тогда уже они порою совсѣмъ отрѣшались отъ міра и уходили въ города.

Но нарушеніе традиціонной гармоніи и выдѣленіе личности получили еще болѣе мѣста въ послѣднее время, послѣ освобожденія крестьянъ, когда всѣ стародавнія условія землевладѣльческаго быта нарушились, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ крестьянскій міръ нахлынула масса новыхъ, чуждыхъ элементовъ въ видѣ даровыхъ наживъ всякаго рода, городскихъ нравовъ и воззрѣній. Въ то время, какъ дергачевцы получили въ надѣлъ всего по полъ-десятины, въ среду этихъ нищенскихъ надѣловъ затесались новые собственники, пошла черезполосица, поземельныя отношенія достигли страшной, невообразимой путаницы, начались передѣлы, «судьбища», все это, само по себѣ разорявшее дергачевскій міръ, сопровождалось потоками мірскихъ попоекъ, приводившихъ къ еще

большему разоренію да еще и спаиванью другъ друга. При такихъ условіяхъ мірское дѣло со всѣмъ его традиціоннымъ ритуаломъ перестало внушать въ себѣ въ дергачевцахъ священное уваженіе; напротивъ того, оно сдѣлалось тяжестію, на него начали посматривать съ презрѣніемъ и враждебностью, какъ на агломератъ общественной неурядицы и отсутствіе всякой правды. Люди «умственные» начали сторониться отъ него, повторяя слова Св. Писанія: «блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ». Понятно, что тутъ-то и началось выдѣленіе личнаго элемента уже не спорадическими случаями, а какъ эпидемія.

Н. Н. Златовратскій приводитъ намъ нѣсколько формъ выдѣленія личнаго начала. Таковъ напримѣръ типъ Сысоя Строгаго. У Строгаго была здоровая, «желѣзная» натура и здоровый мозгъ. Этотъ мозгъ, во-первыхъ, хотѣлъ мыслить, во-вторыхъ—мыслить самостоятельно. Онъ былъ одиночка и женился на дочери богатаго мужика. Когда тесть умеръ, къ нему перешла мельница. Они были бездѣтны, для полевыхъ работъ по лѣтамъ они держали или работника, или работницу. Мельница давала имъ такое обезпеченіе, что ни самъ Строгій, ни его жена никогда не чувствовали необходимости «тянуть изъ себя жилы», а работали столько, сколько требовалось это общимъ складомъ деревенскаго труда. Самъ Строгій постоянно былъ на мельницѣ, въ особенности по осени; помощниковъ себѣ въ этомъ дѣлѣ онъ не любилъ. Напротивъ, онъ любилъ даже хвалиться тѣмъ, что одинъ всю мельницу правилъ. За-то по зимамъ и весной онъ пользовался извѣстнымъ досугомъ. Въ это время его миръ начинали одолѣвать разные вопросы—и вотъ онъ пускался за поисками «умственнаго человѣка и умственной бесѣды», ѣхалъ къ попу, дьякону, писарю, учителю, раскольничьему начетчику, а въ городѣ у него завелось знакомство съ однимъ казеннымъ, некрупнымъ чиновникомъ. Впрочемъ, ко всѣмъ этимъ лицамъ Строгій не высказывалъ ни особой любви, ни особаго довѣрія. Всѣхъ ихъ опредѣлялъ онъ однимъ словомъ: «труха». Въ этомъ понятіи соединялъ онъ всѣ качества этихъ людей: легковѣсность, непостоянство, разладъ дѣла и слова и крайнюю умственную мѣшанину. Въ свою очередь, всѣ эти «умственные» люди звали Строгаго «меланхоліей», хотя въ немъ похожаго на настоящую меланхолію

и слѣда не было. «Меланхоліей», по ихъ мнѣнію, была та умственная «блажь», которая одолѣла Строгаго. А эта «блажь» имѣла результатомъ то, что Строгій неожиданно пришелъ къ слѣдующему выводу: «надо быть справедливымъ, потому—всѣ виноваты. А всему причиной вино: и тотъ виноватъ, кто пьетъ, и тотъ, кто пить даетъ». И вотъ, когда пришли къ Строгому о Рождествѣ и причтъ, и писарь, и учитель, то водки имъ, къ изумленію гостей, не онъ подалъ, а сталъ говорить о возвышенныхъ предметахъ. Затѣмъ, послѣдовательно развивая свою «меланхолію» и подъ ея давленіемъ, онъ выработалъ совершенно своеобразные взгляды на весь деревенскій обиходъ. Прежде всего онъ вдругъ пересталъ ходить въ церковь: когда начиналась служба, онъ надѣвалъ свой новый синій кафтанъ, выходилъ на зады своей избы, становился на холмъ, и здѣсь, молясь на сверкавшій на солнцѣ крестъ колокольни, выстаивалъ всю обѣдню.

Затѣмъ началъ Строгій отрѣшаться и отъ мірскихъ дѣлъ и пересталъ участвовать въ «мірскихъ чаяхъ», въ «мірскихъ четвертяхъ и полуведрахъ». «Не товарищъ,—говорилъ онъ,—пущай безъ меня опаиваютъ народъ-то, съ вами здѣсь не споешься, а сопьешься» и т. п. Тогда родные начали совѣтовать ему уходить въ городъ или въ монастырь; онъ и самъ началъ подумывать объ отъѣздѣ въ городъ. «Мелонхолія» его развилась въ какой то тупой индиферентизмъ ко всему. Чѣмъ больше бѣдствовали дергачи, чѣмъ больше запутывались они въ какія-то клейкія, но неуловимыя и тонкія паутины «мірскихъ дѣлъ», тѣмъ Строгій все больше и больше уходилъ отъ «міра».

«Замежуетесь и не размежуетесь во вѣки вѣковъ», говорилъ онъ и бросилъ обработывать свой надѣлъ, передалъ его въ аренду своему сосѣду, чтобы окончательно отойти отъ міра. Мужики на это совсѣмъ осердились и стали Строгаго донимать систематически, начали навязывать ему различныя общественныя должности. Тогда онъ совсѣмъ рѣшился уѣхать въ городъ и записаться тамъ въ мѣщане.

Рядомъ съ типомъ Строгаго стоитъ передъ нами другой типъ отрѣшенія отъ міра въ видѣ сына Пимана, Бориса. Еще при крѣпостномъ правѣ, когда Борисъ былъ мальчикомъ, отцу Пиману какимъ-то образомъ удалось научить своего сына грамотѣ, и вотъ онъ билъ челомъ барину, желая

избавить сына отъ очереди и чтобъ баринъ взялъ Бориса въ контору. Баринъ согласился, парень ему понравился, и въ деревнѣ составилось тогда же мнѣніе, что Борисъ «пойдетъ теперь далеко», что онъ при своемъ умѣ «барина самаго завертитъ», и пророчество это сбылось: умный, но нестолько проницательный, сколько талантливый и бойкій, Пимановъ сынъ «пошелъ далеко»: черезъ два года онъ уже вполнѣ сдѣлался довѣреннымъ добраго барина, а еще черезъ два года, едва ему минуло двадцать семь лѣтъ, вся Вальковщина была въ его рукахъ; и не только Вальковщина трепетала передъ нимъ, передъ нимъ трепеталъ самъ управляющій и даже управляющіе и бурмистры сосѣднихъ помѣстій. Онъ не былъ ни на сторонѣ богатыхъ, ни на сторонѣ бѣдныхъ, не грабилъ ни мужиковъ, ни барина; если былъ иногда суровъ, то былъ также неожиданно и щедръ, милостивъ и справедливъ. Вальковщина стала приносить барину неслыханные прежде доходы. Борисъ вдругъ поднялъ на ноги всю тысячедушную, мирно прозябавшую цѣлый вѣкъ Вальковщину. Цѣлыми сотнями, не разбирая богатыхъ и бѣдныхъ, гонялъ Борисъ народъ на работы: то заведетъ по всѣмъ деревнямъ общественныя запашки, — и въ одинъ въ два дня громадные стоги сѣна и скирды хлѣба уже стояли на поляхъ; то сгонитъ народъ въ лѣсъ, и цѣлыя вереницы возовъ потянутся изъ него съ хворостомъ, буреломомъ, сучьями, прежде гнившими безъ толку; то цѣлые мѣсяцы заставлялъ всю Вальковщину стоять по поясъ въ водѣ, въ болотѣ, копая канавы на протяженіи пяти верстъ, заставляя тоже дѣлать всѣ сосѣднія помѣстья, грозя затопить ихъ луга и поля, спустивши воду съ своихъ болотъ. Вѣчно веселый, бодрый, Борисъ съ какимъ-то запоемъ отдавался этой дѣятельности. Онъ страстно любилъ смотрѣть, какъ эти толпы, покорныя одному его слову, поднимали невѣроятные труды, а въ одинъ-два дня совершали такія дѣла, какихъ хватило бы на цѣлые десятки лѣтъ. Онъ чувствовалъ одно, что отданная въ его руки тысячедушная масса сама выносила его на какую-то высоту, гдѣ закруживалась голова. Онъ самъ весь захлебывался этой массовой поэзіей. Денегъ — не грабилъ, не припрятывалъ,—онъ не зналъ имъ счета: послѣ каждаго новаго предпріятія скоплялось у него ихъ столько, что онъ могъ отдавать ихъ также безъ счета барину, какъ безъ сче-

та бралъ себѣ самъ. Борисъ завелъ любовницъ, тройку лошадей, тарантасъ, посадилъ на козлы ямщика, съ павлинымъ перомъ въ плисовой безрукавкѣ, и рыскалъ по сосѣднимъ селамъ и городамъ ухорскій, беззавѣтный, встрѣчаемый всюду съ изумленіемъ и невольнымъ страхомъ и уваженіемъ. Добрый баринъ гордился и даже хвалился на дворянскихъ выборахъ «своимъ министромъ»... Вся Вальковщина все больше и больше начинала ощущать одно — ужасъ, страхъ непонятный, гнетущій передъ какой-то силой, перепутавшей всѣ вѣками установленныя, опредѣленныя отношенія. Наконецъ Вальковщина рѣшилась бить барину челомъ: «Убери, ваша милость, убери его отъ насъ!.. Боимся мы его... Жить не стало отъ страха!..» взмолились всѣ въ одинъ голосъ.

— Чѣмъ же мы виноваты?.. Коли боятся, значитъ есть за что, проговорилъ на спросъ барина Борисъ и улыбнулся.

Баринъ внимательно взглянулъ ему въ лицо.—А! Теперь я знаю... въ чемъ ты виноватъ! сказалъ онъ, и къ изумленію всей Вальковщины и даже сосѣднихъ помѣщиковъ и крестьянъ, добрый баринъ, ратовавшій за освобожденіе, высѣкъ своего собственнаго бурмистра... Говорили, что баринъ на другой же день раскаялся за невольный порывъ гнѣва и думалъ было наградить Бориса, но Бориса уже не было въ Дергачахъ: онъ бѣжалъ изъ нихъ съ женою и дѣтьми.

«Спустя лѣтъ пять или шесть, когда уже не было въ живыхъ ни стараго барина, ни прежнихъ порядковъ, Борисъ вернулся въ Дергачи въ красной рубахѣ, въ плисовой поддевкѣ и штанахъ, сдѣлавшійся старше, серьезнѣе. Отдѣлился отъ родныхъ, выстроилъ избу на удивленіе всей Вальковщинѣ, но крестьнскаго хозяйства не заводилъ, а къ Рождеству неожиданно забилъ окна избы тесинами, — и снова исчезъ изъ Дергачей съ женою и съ сыномъ. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе десяти лѣтъ, онъ разъ пять по прежнему неожиданно являлся въ свою заплѣснѣвелую избу,—то съ женой и сыномъ, то съ однимъ сыномъ,—расколачивалъ окна,—и вотъ вся изба вдругъ наполнялась шумомъ, весельемъ и гамомъ. Отецъ и сынъ въ плисовыхъ шароварахъ, казакинахъ и кумачевыхъ рубахахъ ходили по деревенскимъ улицамъ, грызя орѣхи, угощаясь и угощая народъ по кабакамъ и у себя въ избѣ; если дѣло было зимой, они закупали статнаго жеребца со всей сбруей и санями, рыскали по всей

Вальковщинѣ, изумляя ея мирныхъ обывателей, и пускали, что называется, пыль въ глаза всей дергачовской знати. Послѣ мѣсячнаго кутежа, лошадь и сбруя спускались опять за безцѣнокъ, — и странная семья исчезала года на два. Много, конечно, ходило о Борисѣ разсказовъ по Вальковщинѣ, иногда невѣроятныхъ; болѣе правдоподобны были тѣ, которые повѣствовали о томъ, что встрѣчали Бориса то въ Астрахани откупавшимъ огромные рыбные участки, собиравшаго артель до 200—300 человѣкъ рыбаковъ, то видѣли его подъ Самарой, вытаскивавшаго потонувшій пароходъ; то сплавлявшаго цѣлые «караваны» съ хлѣбомъ, и все это непремѣнно во главѣ огромной массы рабочаго народа, — который опять сгоняли въ лапы отца съ сыномъ словно какакія-то невидимыя силы... А отецъ съ сыномъ ухорски и беззавѣтно царили надъ нею... Часто послѣ одной изъ такихъ «операцій» въ ихъ рукахъ скоплялись огромнныя суммы денегъ. Тогда Борисъ распускалъ эти массы, пропоцвъ на нихъ чуть не половину денегъ и возвращаясь доканчивать съ другою половиною въ родные Дергачи».

Оба эти типа, какъ Строгій, такъ и Борисъ, не представляютъ въ сущности ничего новаго собою; это—два вида первоначальнаго, элементарнаго, такъ сказать, выдѣленія личнаго начала, и вы можете встрѣтить ихъ во всѣ времена русской исторіи. Строгіе населили русскіе города и были родоначальники всѣхъ купеческихъ родовъ, какіе только существуютъ на Руси, Борисы породили массу удалыхъ головъ, начиная съ новгородскихъ ушкуйниковъ и понизовой вольницы и кончая атаманами разбойничьихъ шаекъ и героями «Мертваго дома» Достоевскаго.

Совершенно въ иномъ видѣ представляется третій типъ введенія личнаго начала, представителемъ котораго является Петръ Вонифатьевичъ Волкъ, внукъ Мосея, главный герой «Устоевъ» Н. Златовратскаго. Это типъ совершенно уже новый, небывалый доселѣ въ дергачевской жизни. Онъ не отрѣшается отъ «міра», не дѣлается чуждымъ элементомъ, а стремится встать во главѣ своихъ односельчанъ, внести въ жизнь ихъ новыя начала «умственности», сознанія своего человѣческаго достоинства. Это въ своемъ родѣ герой времени, которымъ дергачевцы гордятся, отъ котораго ждутъ спасенія, и онъ сознаетъ свое призваніе спасти дергачев-

скій міръ и весь живетъ этимъ сознаніемъ. Вотъ этимъ-то героемъ мы теперь и займемся.

V.

Когда Петръ былъ еще мальчикомъ и жилъ у отца въ Волчьемъ поселкѣ, у него былъ другъ Филаретка, мальчикъ грамотный и большой любитель книгъ; получившій изъ разсказовъ своего отца, стараго дворецкаго, очень радужное представленіе о нравахъ ученыхъ и благородныхъ людей. Обольстительно рисовалъ онъ Петру всю прелесть «пинжака» и знанія законовъ, которые непремѣнно защитятъ ихъ и ихъ отцовъ, и братьевъ, и дядьевъ отъ всякихъ «прижимокъ», колотушекъ, обидъ. Но Филаретка былъ натура увлекающаяся, легко мѣнялъ предметы своего увлеченія и скоро утѣшался въ несбыточныхъ мечтахъ. Не то былъ Петръ. Онъ слушалъ Филаретку и молчалъ, смотря на него исподлобья своими пытливыми карими глазами. Самолюбивый и недовѣрчивый, онъ рѣдко дѣлился своими мыслями даже съ Филареткой. Но что разъ западало въ его душу, то утрамбовывалось въ ней плитою. И въ отношеніи къ ближнимъ они были различны: Филаретка былъ вообще добродушный, любящій; когда обижали деревню—ему было *жалко*, Петру—было *стыдно*. Филаретка соболѣзновалъ и плакалъ объ обиженныхъ и негодовалъ противъ притѣснителей, грозя имъ въ будущемъ «пинжакомъ» и «законами». Петръ негодовалъ и на тѣхъ, и на другихъ,—и на притѣсняемыхъ, пожалуй, больше, чѣмъ на притѣснителей; за притѣсняемыхъ онъ *стыдился*, краснѣлъ за ихъ «рукосуйство», безотвѣтность, приниженность и за этотъ *стыдъ* онъ платилъ имъ почти презрѣніемъ, хотя и готовъ былъ выместить обиду за нихъ на притѣснителяхъ.

Впослѣдствіи Петръ подпалъ подъ вліяніе своего крестнаго отца Строгаго, который взялъ крестника къ себѣ въ городъ и потомъ 16-ти лѣтъ отвезъ его въ Москву, гдѣ пристроилъ подручнымъ мальчикомъ при фирмѣ торговаго дома Башмаковыхъ и К°. И вотъ, живя въ Москвѣ, въ подвальномъ этажѣ, въ артели своихъ земляковъ, съ длинными нарами, съ тараканами, съ запахомъ капусты, прѣли, чернаго

хлѣба и полушубковъ, съ коренастыми и горластыми мужиками въ ситцевыхъ рубахахъ и посконныхъ штанахъ, нѣкогда мечтавшій въ деревнѣ о прелестяхъ столичнаго «благороднаго обхожденія», съ завистью смотрѣлъ Петръ на тѣхъ изъ своихъ сослуживцевъ, которые успѣли завестись «отдѣльными помѣщеніями съ небелью», жили по одному или по двое, въ тихой, благородной бесѣдѣ распивали собственные чаи изъ собственныхъ сервизовъ. И какъ было пріятно ему, когда приглашали его въ свою «тихую, степенную благородную бесѣду за собственными сервизами» его сослуживцы, когда чистота, опрятность маленькаго «отдѣльнаго помѣщенія» съ цвѣтами на окнахъ, съ гитарой, съ платянымъ шкафомъ, съ стариннымъ маленькимъ диваномъ, съ половиками у двери, съ вымытымъ на-чисто поломъ, охватывали все его существо...

Но вотъ прикопилъ онъ деньжонокъ и получилъ возможность нанять «отдѣльную комнатку съ небелью». Съ большою все-таки нерѣшительностью остановился онъ у подъѣзда квартиры, гдѣ отдавалась такая комнатка въ «благородномъ семействѣ».—Не жирно ли будетъ?—повторилъ онъ про себя, смущенный этою надписью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ припомнились ему и часто повторявшіяся слова его крестнаго, Еремея Строгаго: «Не люди мы что ли!» и онъ рѣшился позвонить къ «благородному семейству».

Благородное семейство Ивана Степановича Дрекалова, въ которое попалъ Петръ, было, по словамъ автора, «одною изъ тѣхъ широко распространенныхъ на Руси современныхъ семей, отличительной чертой которыхъ является полнѣйшая ефемерность существованія: ни назади, ни впереди, ни въ настоящемъ нѣтъ у этихъ семей ничего такого, про что они могли бы сказать: «да вотъ это *наше* было — и будетъ; за это *свое* мы ляжемъ костьми; это свое мы нё уступимъ, не продадимъ во вѣки, хоть бы пришлось изъ-за этого страдать». Одно, только одно у нихъ есть *свое*, это—страшная жажда бездѣятельнаго покоя и созерцательной лѣни, за которую они готовы кривить душой, пять разъ продать себя, унижаться, плутовать, лишь бы гарантировать себѣ это право безпечальнаго индиферентнаго существованія».

Тѣмъ не менѣе люди эти были нѣсколько обвѣяны новымъ духомъ времени. Вокругъ двухъ дочерей Дрекалова

группировалась молодежь въ видѣ денежныхъ студентовъ, сибиряковъ и грузинскихъ князей, молодыхъ актеровъ, писателей и т. п. На вечеринкахъ у нихъ то раздавались «возвышенныя» полныя благороднаго, молодаго увлеченія рѣчи, то слышался шопотъ, искренній и умоляющій, зовущій куда-то въ золотую страну высокихъ помысловъ и думъ, то пѣлась «Дубинушка», «*Gaudeamus*».

Петра вся эта молодежь встрѣтила съ распростертыми объятіями, какъ «любопытный экземпляръ», «сына народа», «дитя деревни», «непосредственную натуру» и т. п. Начались развиванія, лекціи, Петръ, не смотря на свою замкнутость, скоро сблизился съ молодыми друзьями. «Онъ вдругъ почувствовалъ какую-то свободу, какъ будто его выпустили изъ какой-то клѣтки, или онъ самъ прозрѣлъ, что клѣтка вовсе не была такъ неразрушима, какъ ему казалось... Всѣ эти «баре», «ученые»—какіе простые, добрые люди. И отчего это прежде онъ чувствовалъ къ нимъ такое недовѣріе, даже страхъ, отчего «сліяніе» съ ними прежде казалось ему такъ невозможнымъ. И что же въ нихъ такого, чего бы стоило бояться? Это все деревня виновата, невѣжественная деревня, которая наболтала про нихъ Богъ знаетъ что». И Петръ дошелъ до такого довѣрія къ новымъ друзьямъ, что отдалъ Дрекалову на сохраненіе скопленные 200 рублей.

Друзья же, не довольствуясь одними своими легковѣсными лекціями, свели Петра къ нѣкоему Пугаеву, полоумному сектанту, создавшему какую-то «новую религію нравственнаго возрожденія человѣчества», и при всѣхъ своихъ разглагольствованіяхъ объ этомъ «нравственномъ возрожденіи», о «просіяніи», отличавшемуся большою нечистоплотностью и разгильдяйствомъ въ своей личной жизни. Пугаевъ сначала затуманилъ Петра своими мистико-философскими и историческими параллелями, а затѣмъ, когда послѣ очень шумно проведенныхъ Святокъ, онъ пришелъ къ философу, чтобы разсѣять туманъ сомнѣній и услышать «хорошее слово», Пугаевъ огорошилъ его слѣдующими рѣчами:

— Юноша, что васъ привело сюда, въ городъ? Что отняло васъ отъ родной земли, отъ благодатной почвы, отъ сохи и бороны? Чья святотатственная рука бросила васъ въ эту коптильню разврата, лжи, лицемѣрія? Я знаю, я знаю, что мнѣ отвѣтятъ. Мнѣ отвѣтятъ: здѣсь умъ, знаніе,

богатство, сила, цивилизація, право... Пустыя, громкія слова! Печальное, горькое заблужденіе!.. Это несчастнѣйшіе, безумнѣйшіе люди! Ихъ терзаетъ вѣчная жажда неудовлетворенія, тоски, и чѣмъ больше стараются они залить въ себѣ огонь этой жажды, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе она загорается... Знаешь ли, юноша, что вотъ мы, — мы ученые, образованные, богатые, сильные, мы проклинаемъ свою жизнь, мы мученики нашего ума, мы несчастные страдальцы, бѣжимъ изъ городовъ къ *вамъ*, туда, къ твоимъ терпѣливымъ, смиреннымъ и сильнымъ отцамъ и дѣдамъ. Да, вотъ гдѣ мы хотимъ найти нравственное успокоеніе для себя, миръ для своей души, любовь для сердца и истинныхъ воспитателей нашихъ дѣтей и т. п.

Эти рѣчи Пугаева были до такой степени неожиданны для Петра, что произвели впечатлѣніе испуга. Онъ вдругъ почувствовалъ, что у него изъ-подъ ногъ начинаетъ исчезать почва. «Что это такое?... Вдругъ на все, что съ самыхъ юныхъ лѣтъ онъ понималъ ясно, опредѣленно, во что вѣрилъ беззавѣтно, на чемъ покоились его смутныя, но возвышавшія и оживлявшія его надежды и упованія, вдругъ на этотъ свѣточъ, такъ ярко озарявшій его собственную душу, на этотъ свѣтильникъ, осмысливавшій передъ нимъ всю сложную жизненную процедуру и освѣщавшій ему твердый, прямой путь, вдругъ на этотъ свѣточъ дунули—и онъ потухъ»...

Петръ бросился было въ дергачевскую артель, но тамъ наткнулся на безобразнѣйшую сцену пьяной потасовки и полицейской расправы. Кинулся онъ къ Дрекаловымъ, но и тамъ было не до него: онъ встрѣтилъ пошлѣйшее сватовство одной изъ барышень съ господиномъ сомнительной репутаціи, когда-то сброшеннымъ съ лѣстницы торговаго дома Башмаковыхъ. Онъ сразу почувствовалъ себя чужимъ, лишнимъ, въ которомъ болѣе не нуждались и поспѣшили указать ему надлежащее мѣсто въ «благородномъ семействѣ». Онъ захворалъ послѣ всѣхъ этихъ потрясеній, и Ѳедосьѣ было строго наказано не подавать барской посуды Петру: боялись заразы отъ больнаго мужика, «который могъ, Богъ знаетъ что, принесть съ собой». Онъ потребовалъ своихъ денегъ, и послѣдовала дикая сцена, закончившаяся тѣмъ, что Петръ подрался съ женихомъ, попалъ въ кутузку и былъ приговоренъ къ тремъ днямъ ареста при полиціи за буйство... Сескъ

ренно, не говоря ни слова въ оправданіе, выслушалъ онъ постановленіе, но подъ видимымъ смиреніемъ затаилъ въ душѣ своей тайную, глубокую злобу ко всѣмъ, ю всѣмъ имъ...

И вотъ послѣ всѣхъ этихъ мытарствъ возвратился онъ въ Волчій поселокъ совершенно переродившимся, новымъ человѣкомъ деревни, не имѣвшимъ ничего общаго съ своими земляками, рѣзко отличавшимся отъ нихъ по самой своей внѣшности.

Едва показался онъ въ деревнѣ, какъ уже успѣлъ съ достоинствомъ обрѣзать высокомѣрную наглость мѣстнаго кулака Маркова, на благородную дистанцію поставить отъ себя мѣстнаго землевладѣльца и адвоката Кораната Львовича съ его фамильярнымъ залѣзаніемъ въ душу мужика и отдалить отъ себя Филаретушку съ его наивною болтливостью и простоватостью. Идеалы, которые принесъ онъ съ собою въ деревню, были весьма немногосложны: это было поставленіе выше всего, съ одной стороны, «умственности» въ отличіе отъ пассивнаго разгильдяйства и темноты людей традиціонной рутины, съ другой—сознанія личнаго достоинства въ противность смиренія и приниженія. На каждомъ шагу у него такъ и срывались съ языка фразы въ родѣ: «Умному человѣку вездѣ хорошо, а дуракамъ и въ столицѣ плохо!» «Умному человѣку вездѣ ходъ!..» Въ то же время, на слова тетушки Ульяны, которой онъ привезъ въ подарокъ шаль, что «куда намъ, старикамъ эти форсы», онъ отвѣчалъ:

— Я такъ полагаю, тетенька, что пора бросить смиренство-то да приниженье.... Тоже и мы люди! Чѣмъ мы другихъ хуже! Нужно тоже и свою гордость имѣть!..—и сказавши это, Петръ весь вспыхнулъ.

Но съ особенною ясностью высказались эти идеалы въ его разговорѣ съ двумя дергачевцами, которые пришли въ Волчій поселокъ посмотрѣть на пріѣзжаго изъ столицы паренька, облекшись, по осеннему времени, въ валеные сапоги и полушубки, и забавлялись тѣмъ, что, какъ малые ребята, «баловались», сидя на землѣ и перетягивая друга друга за палку.

«Петръ давно ужъ замѣтилъ мирную компанію, но когда онъ разглядѣлъ, чѣмъ эта мирная компанія занималась, ему вдругъ стало ужасно стыдно. Ему хотѣлось обойти ихъ, отвести мимо и своего пріятеля, москвича, но обойти было

нельзя. Притомъ же его примѣтилъ и тянувшійся за палку бородатый дергачевецъ, бывшій замѣтно навеселѣ.

— Петру Ванифантьичу! Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались! закричалъ онъ ему на встрѣчу.—А мы, вотъ не утерпѣли... Сами явились. Полюбопытствовать, выходитъ,— прибавилъ онъ,—когда подошелъ Петръ.

— Интереснаго мало проворчалъ Петръ.

— Помилуйте... Какъ, можно-съ! Вѣдь у насъ такіе люди на рѣдкость! Столичное поведеніе, такъ скажемъ... Совсѣмъ, значитъ, особая статья...

— На палкѣ не тягаемся—это вѣрно! опять отрывисто замѣтилъ Петръ.

— Ну, вотъ, вотъ! Какъ есть! Вѣдь это наше дурацкое поведеніе. По чему что какъ лѣсовые дураки, выходитъ! заговорилъ задѣтый за живое дергачевецъ.

— А онъ, братцы, у насъ изъ дѣловыхъ, иронически замѣтили другой дергачевецъ:—не даромъ съ москвичемъ-то друженъ... не успѣлъ роднымъ честь сдѣлать, да ужъ и за дѣло.

— Въ дѣлѣ грѣха нѣтъ...

— По коммерческой части, продолжалъ рыжебородый дергачевецъ:—смотрите, какъ бы и васъ заживо не запродали, подмигнулъ онъ дядьямъ.

— Ни о чемъ не думая, скорѣй себя запродашь, а умный человѣкъ еще другихъ закупитъ, отвѣчалъ Петръ, лихорадочно постукивая себя пальцами по борту кафтана и стоя въ полъ-оборота къ присутствовавшимъ.

— Такъ, какъ... Неравно продавать будете, такъ спросить не забудьте. Можетъ кто и не согласится еще!

— Отъ счастья люди не отказываются.

— Какъ знать? Мы вѣдь деревенскіе дураки! Можетъ, по глупости и счастья не признаемъ...

— Случается. Подъ носомъ не видятъ. До старости по боямъ ходятъ, на палкахъ тянутся, на птицу охотятся. А тѣмъ временемъ на спинахъ-то горбы выростаютъ, а на этихъ горбахъ только лѣнивый не катается. Други да пріятели послѣ самимъ-же въ глаза нахохочутъ! А тамъ, малое время года, фиглярить начнемъ! За рюмку водки хоть наплюй въ ликъ-то Божій...

Петръ говорилъ, ни на кого не смотря, и только блескъ

его глядѣвшихъ сердито изъ подлобья глазъ, да порывистыя движенія руки по борту кафтана выдавали его волненіе.

— Такъ, такъ! подтвердилъ дергачевецъ: это, братъ, что вѣрно, то вѣрно! Эту самую нашу судьбу расписалъ ты чудесно... А съ пріѣздомъ, братъ, поздравиться надо бы! прибавилъ онъ, утеревъ бороду.

— Этой безхарактерностью мы не занимаемся! круто закончилъ Петръ и, замѣтивъ подходившихъ отца и москвича, зашагалъ къ своей избѣ.

VI.

Не правда ли, въ какомъ непривлекательномъ видѣ рисуется передъ нами фигура этого новаго человѣка деревни? Тѣмъ не менѣе Петръ является однимъ изъ героевъ, которыхъ можно немало встрѣтить въ европейской исторіи. Постоянно, когда въ темныхъ массахъ являлось стремленіе къ освобожденію личности изъ-подъ ига традиціи и пробуждалось чувство человѣческаго достоинства, являлись на сцену подобные мрачные, надменные герои, равно озлобленные и противъ возвысившейся культуры, и противъ приниженныхъ массъ, во имя идеала «умственности» готовые отрицать и своихъ, и чужихъ. Но хуже всего было въ этихъ герояхъ то, что одностороннее стремленіе освободить личность и даровать ей безграничный просторъ приводило ихъ къ отрицанію въ старыхъ порядкахъ не только отжившаго и гнилаго, но и живаго, здороваго, составлявшаго корни самого существованія. Этимъ именно людямъ Европа обязана тѣмъ, что въ продолженіе послѣднихъ 200 лѣтъ, во имя царства разума и освобожденія личности отъ средневѣковыхъ традицій были искоренены послѣдніе остатки общиннаго быта въ землѣдѣльческихъ классахъ.

Такимъ же прямолинейнымъ, одностороннимъ и слѣпымъ отрицателемъ является и Петръ по отношенію къ своей деревнѣ. Ему-то и обязанъ былъ Волчій поселокъ уничтоженіемъ своей идилліи. Первымъ дѣломъ его «умственности» было поправить ошибку Мосея и закрѣпить за собою купчею крѣпостью Волчій поселокъ. Купивши его снова у законной владѣлицы и сдѣлавшись настоящимъ владѣльцемъ дѣдовскихъ

земель, Петръ потребовалъ, чтобы поселкомъ владѣли одни его родные, а всѣхъ чужихъ и пришлыхъ, начиная съ Сатира и кончая Иваномъ Забытымъ, чтобъ и духу не было. «Какія земли-то вокругъ насъ,—развивалъ онъ картину новой жизни въ Волчьемъ поселкѣ передъ Строгимъ,—приволье! А ежели бы Господь далъ собрать ихъ въ однѣ-то руки, къ одному мѣсту—это-ли-бы разоренье было? Въ барскомъ бы домѣ всѣ сообща поселились, фундаменты подъ него подвели бы, крыши желѣзомъ вывели, скотные дворы бы открыли... А тамъ, глядишь, пошли бы по Окѣ наши барки... Сами бы провожать ихъ стали, вплоть до Рыбинска! Флаги распустимъ! Каюты съ рѣзьбой! Лоцмана въ кумачевыхъ рубахахъ! А дядья бы дома были, каждый при своей части. А тетки на скотномъ дворѣ пусть хозяйничаютъ съ сестренкой. Зятя умственнаго въ домъ введемъ».

Но дядья и тетки, вѣрные своимъ традиціоннымъ, общиннымъ порядкамъ, всѣ возстали противъ такихъ «умственныхъ» нововведеній Петра, потребовали раздѣла, началась раззорительная тяжба, которая кончилась тѣмъ, что Петръ одинъ съ отцомъ сдѣлался владѣльцемъ Волчьяго поселка, а всѣ родные его вновь поселились въ Дергачахъ, отказавшись отъ всѣхъ его предложеній и проклявши его.

Но не смотря на то, что вѣрные хранители дѣдовскихъ уствоевъ отшатнулись отъ Петра, слава и популярность его все болѣе и болѣе росли въ дергачевскомъ мірѣ. Послѣ же того, какъ онъ пріобрѣлъ заброшенную барскую усадьбу, обзавелся хозяйствомъ, сошелся съ «хозяйственными» мужиками и женился на дочери Пимана, Аннушкѣ, онъ забралъ такую силу, что тестя его Пимана избрали волостнымъ старшиною; но настоящимъ заправителемъ волости сдѣлался Петръ въ качествѣ волостнаго писаря. И тутъ онъ далъ разгуляться своей «умственности» на полной волюшкѣ. Во имя своего прямолинейнаго идеала онъ оказался необузданнымъ и безжалостнымъ деспотомъ, какого не видали мужики со времени барства. Несчастнымъ, свихнувшимся бѣднякамъ, запьянствовавшимъ и раззорившимся не было отъ него никакой пощады; по слухамъ, онъ даже сѣкъ ихъ. Онъ дошелъ до такой дерзости, что землю, которую онъ «высудилъ» для міра при помощи непремѣннаго члена Валентина Петровича, онъ не далъ дѣлить по прежнему и дѣлать равненіе,

а захотѣлъ разбить ее на участки давать во временное пользованіе только «настоящимъ» хозяйственнымъ мужикамъ. Тогда въ Вальковщинѣ поднялось волненіе: противъ Петра встала чернота и бѣднота подъ предводительствомъ Бориса. Къ чернотѣ присоединились всѣ старинные люди общинники. Прежніе кулаки-грабители, сначала было сробѣвшіе, теперь подняли голову и черезъ Бориса вошли въ союзъ съ чернотою, начали поить ее водкою. Строгость Петра перешла тогда всѣ границы. Набросился онъ съ кулаками даже на отца, когда тотъ заявилъ, что хочетъ жениться на бѣдной солдаткѣ, у которой трое дѣтей и съ которой онъ живетъ уже давно. Его не могли при этомъ остановить ни жена, ни Пиманъ, ни его работникъ—и только когда бѣдная солдатка крикнула: «Ахъ ты безстыжій, безстыжій... Мы думали, онъ человѣкъ, а онъ *какъ мужикъ* дерется!..» Петръ усмирился.

Наконецъ, возмущенный «продажной», какъ онъ называлъ, чернотой, вошедшей въ союзъ съ грабителями, Петръ присталъ къ Пиману съ требованіемъ, чтобы тотъ выхлопоталъ мірской приговоръ о ссылкѣ сына своего Бориса въ Сибирь. Собравшійся волостной сходъ вызвалъ на объясненіе Пимана и Петра; Пимана обругали «старымъ дуракомъ», но ничего отъ него не добились. Петръ же, когда ему передали вызовъ на мірской судъ, сказалъ, что еще не было видимо, чтобы судъ дураковъ умныхъ людей судилъ. Сходъ жаловался въ уѣздное присутствіе. Услыхавъ объ этомъ, Петръ обозвалъ весь міръ «дураками», и пораженный поднявшейся общей безтолочью, въ которой онъ не понималъ, какъ разобраться, отказался отъ дѣлъ и самовольно уѣхалъ въ Москву...

VII.

Если-бы наша жизнь шла тѣми же путями, какъ и жизнь Европы, то впередъ можно было бы предугадать, къ какимъ печальнымъ результатамъ могли бы привести ее «умственные люди» въ родѣ Петра. Освободивши личность отъ средневѣковыхъ традиній во имя царства разума, т. е. той же «умственности» Петра, западно-европейскіе герои оставили ее одинакою и безпомощною въ отутѣ жизни, лишенною какихъ

бы то-ни-было нравственныхъ и матеріальныхъ устоевъ. Въ концѣ-концовъ, удививши міръ чудесами умственности и хозяйственности, разнузданная и потерявшаяся личность тщетно ищетъ опоры и съ отчаяніемъ оглядывается на тѣ золотые вѣка, когда она была сыта и нравственно дисциплинирована подъ властью земли. И вотъ на смѣну односторонней, черствой правды надменныхъ героевъ «умственности» выступаетъ опять на сцену старая, здоровая правда власти земли, но уже не въ прежнемъ зоологически-традиціонномъ видѣ, а освѣщенная свѣтомъ разума,—и разнузданная личность жаждетъ вновь подчиниться авторитету этой правды, подобно тому, какъ блудный сынъ ищетъ пути къ родительскому дому.

Наши культурные классы представляютъ собою совершенно такое-же явленіе разнузданной и потерявшейся личности, какъ и въ Западной Европѣ, съ тою еще разницею, что тамъ освободившаяся личность все-таки можетъ указать на тѣ успѣхи цивилизаціи и промышленности, какими ознаменовалось XIX столѣтіе, а у насъ и этого нѣтъ. Съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права, которое одно только доставляло культурной личности матеріальную поддержку и вмѣстѣ съ тѣмъ вкладывало жизнь ея въ извѣстные традиціонныя рамки,—личность увидала себя въ состояніи полнаго банкротства и матеріальнаго, и нравственнаго. Что такое Дрекаловы съ ихъ страшнымъ эфемернымъ существованіемъ сегодня на 200 р., данныхъ имъ на сохраненіе мужикомъ-жильцемъ, завтра чуть-что не на фальшивые векселя,—какъ не наглядный примѣръ, до какого отчаяннаго положенія дошла культурная личность. Этимъ и объясняются всѣ тѣ хаотическія безалаберныя шатанія, какія-только замѣчались въ послѣднее время въ интеллигентной средѣ: и мистическое сектаторство въ великосвѣтскихъ кругахъ, и попытка заняться земледѣльческимъ трудомъ, все, вплоть до эпидеміи самоубійствъ, являющихся прямымъ результатомъ отчаянія, вслѣдствіе потерянности и безпомощности культурной личности. А съ другой стороны, изъ этого же вытекаетъ и то чуть ли не религіозное поклоненіе, которое не одни Пугаевы, а вся наша литература высказываетъ по отношенію къ деревенской общинѣ. Возьмите вы хотя бы того же самаго Златовратскаго съ его «Усто-

ями». Чѣмъ же объяснить этотъ восторженный паѳосъ, эти гекзаметры, какъ не скорбью души по утраченному раю. Изъ подъ каждой строки Н. Златовратскаго проглядываетъ томительная, скорбная зависть безпомощной личности, одинокой и потерянной въ толпѣ подобныхъ же личностей, разнузданныхъ и несвязанныхъ никакою солидарностью интересовъ. Такимъ образомъ въ нашей жизни мы видимъ два совершенно противоположныхъ теченія: въ средѣ народа—стремленіе къ обособленію личности и возвышенію ея надъ зоологическою непосредственностью, въ интеллигентной средѣ, наоборотъ, стремленіе къ обузданію личности и новому разумному дисциплинированію ея. Въ то время, какъ Петръ въ своемъ «умственномъ» протестѣ противъ зоологической глупости и рутинности дергачевцевъ готовъ всю цѣпь дергачевскаго міра разъединить на отдѣльныя звенья, при чемъ выбросить и, если можно, совсѣмъ искоренить половину негодныхъ звеньевъ, Пугаевы наоборотъ только и мечтаютъ о томъ, какъ бы связать эту цѣпь навѣки нерушимо разумною связью, да и самимъ какъ-нибудь прицѣпиться къ этой цѣпи. Которое изъ этихъ двухъ теченій побѣдитъ, отъ этого конечно зависитъ все наше будущее. Въ «Устояхъ» Н. Златовратскаго побѣждаетъ пока узкая правда Петра. Лиза Дрекалова, сдѣлавшись учительницей сельской школы въ Дергачахъ, встрѣчается съ Петромъ въ качествѣ попечителя школы, и напрасно старается она уничтожить обаяніе, какое Петръ производитъ на ея учениковъ: они чуть не молятся на Петра, какъ на новаго героя деревни.

«Вы вѣроятно ожидали, что встрѣча моя съ Петромъ,—пишетъ она къ Пугаеву,—не обошлась безъ какого-нибудь чрезвычайнаго столкновенія... Нѣтъ, ничего больше не было; ни я, ни онъ мы не сказали другъ другу ни слова, не глядѣли одинъ на другаго... И тѣмъ не менѣе, добрый мой, состязаніе совершилось. И бѣдное сердце вашей бѣдной Лизы разбито, и развѣяно по вѣтру, какъ дымъ, все, во имя чего она пришла сюда. И побѣдилъ ее здѣсь тотъ «смѣшной волченокъ», тотъ «хорошій паренекъ», которымъ она когда-то такъ игриво играла и забавлялась. И ничто не спасло ея здѣсь. Что такое она, со своей любовью, со своей жертвой, со своими больными и тревожными думами передъ этимъ смирнымъ, добродушнымъ, робкимъ старикомъ, попав-

шимъ за «міръ» въ острогъ, и передъ этимъ низенькимъ, худощавымъ, полуграмотнымъ молодымъ «умственнымъ» мужикомъ, который до чего-то самъ дошелъ своимъ умомъ? За ними стоитъ все, а за мною?...»

Положимъ, что по одной Лизѣ съ ея тщедушною, хилою, чахоточной натурою и эфемернымъ воспитаніемъ трудно судить о побѣдѣ той или другой правды. Положимъ, что и черствая, односторонняя правда Петра во многомъ зависитъ отъ того, что въ своемъ соприкосновеніи съ интеллигентною сревою онъ не встрѣтилъ никого лучше и состоятельнѣе Дрекаловыхъ и Пугаева. Если бы вся интеллигенція поголовно исчерпывалась подобными личностями, конечно Петру только и оставалось, что, дѣйствуя своимъ умомъ, идти по старой европейской дорогѣ. Но такъ ли это?

---

3 2044 050 675 5

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.